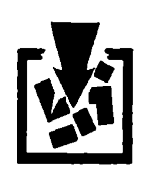


БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ

РАССКАЗЫ О ПОДВИГЕ

БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ



РАССКАЗЫ О ПОДВИГЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С БОЛГАРСКОГО

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

И(Болг)
Р24

*Состав сборника подготовлен
Государственным объединением издательств
Комитета по печати при Совете Министров
Народной Республики Болгарии*

Рисунок на суперобложке художника
А. ТАРАНА

Оформление художника
В. САВЧЕНКО

Р $\frac{70304-064}{028(01)-76}$ 165-76

ГЕОРГИЙ КАРАСЛАВОВ

ТАНГО

I

Новоиспеченный богач, некий господин Каев, экспортер консервированных фруктов и овощей, устраивал торжественный прием по случаю дня рождения дочери. Господин главный прокурор Йоргов твердил про себя имя этого свежевылупившегося софийского парвеню, и глубокая, неукротимая злоба душила его. Кто он такой, этот Каев? Что из себя представляет? Йоргов всей душой ненавидел этих вчерашних лапотников, которые явились в столицу из самых глухих деревушек Болгарии в грубой домотканой одежде, ютились в полуразвалившихся лачугах, питались жалкими остатками овощей — теми, что не удалось сплавить на рынке, и медленно, но неуклонно, зубами и локтями пробивали себе путь. Каждый из них бился с остервенением, покуда ему не удавалось дорваться до золотой жилы экспорта-импорта. Тут он начинал наживать миллионы. А на эти миллионы воздвигал хоромы или приобретал роскошные апартаменты, отдыхал в изумительных загородных виллах, расположенных в самых красивых местах самых фешенебельных курортов, разъезжал в машинах новейших марок, красота и скорость которых заставляли окружающих тайно вздыхать от зависти.

В самом деле, почему, на каком основании эти субъекты загребали все жизненные блага? По какому праву? Какими талантами или трудами достигались эти фантастические коммерческие успехи? Многие из этих нуворишей, запутавшись в нечистых сделках, представали в конце концов перед прокурором. Поэтому Йоргов их хорошо знал. С трудом владея четырьмя правилами арифметики и справляясь с таблицей умножения только при помощи десяти пальцев, они нанимали высококвалифици-

рованных бухгалтеров; не умея составить простейшего делового письма в три строки, они держали секретарей с высшим образованием, а корреспонденцию с иностранными фирмами вели у них за нищенское жалованье молодые люди, много лет обучавшиеся за границей... Они вытесняли с рынка потомственные фирмы, пользовавшиеся безупречной репутацией, благодаря своим капиталам доводили до банкротства старые торговые дома и с помощью миллионных приданых роднились с самыми видными семьями столицы...

Сам Йоргов был родом из такой вот старинной купеческой семьи, обладавшей своими навыками и традициями, своими нравственными правилами и прочными связями,— семьи, которая за многие десятилетия обрела чувство какой-то аристократической гордости. И, быть может, именно из-за этой гордости дела старого Йоргова стали приходить в упадок, и фирма постепенно прекратила существование. Обе дочери были замужем за офицерами, сыновья закончили высшие учебные заведения, старики родители умерли, и семья распалась. Как грустная память о былом величии остался только двухэтажный дом в центре города. Некогда дом этот находился не в центре и гордо возвышался над всеми окружающими строениями. Теперь же он словно съежился, стиснутый богатыми особняками и огромными массивами многоэтажных доходных домов — облезший, выцветший и жалкий. Соседи продали свои дома и дворовые участки ловким предпринимателям, получив взамен одну-две квартиры в так называемых «поэтажных застройках». Братья Йорговы еще упорствовали, но племянники все настойчивее требовали, чтобы старый дом был продан на слом. Главный прокурор занимал две комнаты на втором этаже. Он считал себя старым холостяком и с трудом выносил соседство одной из племянниц. Младший сын в семье, главный прокурор в свое время был баловнем родителей. Долгие годы он жил с мыслью, что он богатый наследник и что благополучие его обеспечено навек. Но после того как он окончил юридический факультет в Софии и проучился два года в Германии, от всего отцовского состояния остались ему лишь две прокуренные комнаты. Теперь он жил только на жалованье, а в эти годы жить на жалованье, будь то даже жалованье главного прокурора, было делом нелегким. А тут какой-то полуграмотный торгаш закатывает бал по случаю дня рождения дочери!..

Йоргов представлял себе этого новоиспеченного богача: неотесанный мужлан, дерзкий, наглый, не умеющий держать себя в обществе, но здорово набивший руку на рискованных, темных сделках. Йоргову казалось, что у него должна быть изборожденная морщинами физиономия простолюдина, усеянная огромными омерзительными бородавками, бесформенный красный нос, низкий лоб и жесткие, торчащие, как кабанья щетина, волосы. Этот новоявленный богач, наверно, растягивает в улыбке свои толстые синие губищи не только потому, что его распирает самодовольство, но еще и для того, чтобы все увидели, как сверкают у него во рту золотые коронки, надетые на здоровые зубы как свидетельство богатства и образованности.

К этой-то деревенщине приглашен сейчас в гости главный прокурор. Обидней и неприятней всего было то, что приглашение пришло, так сказать, из вторых рук. Позвонил по телефону Хаваджиев.

— Как же так? — удивленно и даже чуть рассерженно спросил Йоргов, по привычке дунув в решетчатое отверстие бакелитовой трубки.— Приглашение от имени человека, с которым я незнаком.

— Да полно тебе, Гаврил! — фамильярно возразили на том конце провода, и главный прокурор явственно увидел небрежную и ленивую усмешку Хаваджиева, с которым свел знакомство за несколько месяцев до того.— Что за предрассудки? Каев сочтет это для себя честью. — И так громко переведя дух, что главному прокурору это было отчетливо слышно, с напускной досадой заключил: — Я тебя приглашаю, я!.. И Катя очень просит!..

Йоргов слегка побледнел; рука, державшая телефонную трубку, дрогнула. Он испугался, как бы не сказать того, чего не следовало, и потому секунду помолчал. Затем, уже не колеблясь больше, бросил:

— Ну, ладно... Что с тобой будешь делать... Приду.

Потом он опомнился, и мучительные колебания вновь охватили его. Не в силах взять себя в руки, он трясся как в лихорадке и курил сигарету за сигаретой. Название улицы, которое сообщил ему Хаваджиев, до боли врезалось ему в мозг. Он хорошо запомнил и номер дома — до того хорошо, что цифра точно плясала у него перед глазами. Йоргов попытался заняться рассмотрением одного из дел, но мысль все время возвращала его в ту маленькую улочку, где вечером будет Катя. Досадуя на себя за это мальчишеское увлечение, как он сам его называл, сты-

дясь слабости, которой никогда не проявлял прежде, Йоргов несколько раз нажал кнопку звонка на своем письменном столе.

В щель приоткрывшейся двери просунулась покорная физиономия рассыльного. Он смотрел на начальника, ожидая приказаний. Главному прокурору приказать было нечего, и, боясь выдать себя перед самым скромным из своих служащих, он принялся его отчитывать. Рассыльный переступил порог, и в расширенных его зрачках было видно нечеловеческое усилие понять, чего от него хотят. Но главный прокурор, продолжая орать, велел ему убираться с глаз долой, и бедняга выкатился из кабинета, растерянный и жалкий.

После этого Йоргов откинулся на спинку стула и решительно произнес: «Не пойду!» В этом восклицании была какая-то злая, упрямая ожесточенность. Йоргов кусал губы, потому что знал: он пойдет. И в ушах все еще словно потрескивала проклятая мембрана телефонной трубки: «И Катя очень просит...»

Йоргов считал себя покорителем женских сердец. И гордился тем, что ни одной женщине еще не удалось по-настоящему его увлечь. Он привык чувствовать себя в тысячу раз выше всех женщин на свете, привык сознавать, что с легкостью достигает того, что для многих мужчин является единственным и незабываемым событием в жизни. И вдруг, когда возраст и общественное положение, казалось, достаточно вооружили его жизненным опытом и трезвостью, он встретил Катю Хаваджиеву. Эта женщина сразила его с первого же взгляда. Он даже не пытался понять, как и почему это произошло. Он знал только, что хотел бы быть к ней как можно ближе, хотел бы любой ценой заслужить ее благосклонность. Он не успел сказать с нею и двух слов, как привычная уверенность в себе куда-то испарилась. Его остроумие, блестящая, непринужденная речь — все исчезло. Каждое слово, произнесенное им в присутствии этой женщины, казалось ему банальным и глупым. Йоргов сдался без боя, не оказав ни малейшего сопротивления. Он был готов при ней на любую мальчишескую выходку, на любое унижение. Правда, потом ему удалось взять себя в руки, и собственные слова уже не казались ему такими шаблонными, плоскими. Но в сердце продолжало трепетать то беспокойное чувство, которое испытывают только впервые влюбившиеся гимназисты.

По вечерам, ложась спать, Йоргов спрашивал себя: «Как это все случилось?» И вынужден был признать, что в Хаваджиевой есть что-то покоряющее. Красива ли она? Да, очень красива. Но дело не только в красоте. Было в ней еще что-то неуловимое, чего не определишь, не назовешь словами. Йоргов встречал на своем веку немало красивых женщин и со многими имел связь — иногда мимолетную, иной раз продолжительную, но ни одна женщина еще не производила на него такого впечатления. Эта женщина не давала человеку опомниться, защититься,— удар, наносимый ею, был неожидан и силен, как удар молнии. Ее глаза обладали какой-то гипнотической силой. Она завораживала улыбкой, блеском глаз, крутой линией бровей, всем выражением своего лучезарного, сказочно прекрасного и властного лица. Но на всех ли действовало оно так ошеломляюще? Да, он был уверен, что на всех без исключения. И ему казалось, что, если он не поспешит объясниться с ней и покорить ее, кто-нибудь более смелый и настойчивый ее у него отнимет.

Перед тем как отправиться к Каевым, главный прокурор два часа кряду брился, натирался кремом и опрыскивал себя духами, словно ему предстояло выйти на сцену. Надел новенький, с иголочки, темно-синий костюм, который сидел безупречно, но тем не менее поверг его в отчаяние, потому что немного отдавал нафталином. Перемерил штук пятнадцать галстуков, пока не остановился на одном, в тон костюму. Галстук был усеян белыми крапинками, похожими на крохотные жемчужинки. Минут пятнадцать легкими прикосновениями пальцев прилаживал он тончайший белый платок в кармашке пиджака. И, запасшись сигаретами, с колотящимся сердцем, словно шел на первое в жизни свидание, Йоргов направился на маленькую тихую улочку в центре города, куда должна была прийти и она, Катя.

С первой минуты знакомства с ней Йоргов ломал себе голову и не мог понять, как могла такая изумительная женщина достаться этой скотине Хаваджиеву. Хаваджиев был довольно темной личностью — юрист по образованию, с большим адвокатским стажем, но без диплома, совладелец нескольких фирм и участник многих, сомнительного свойства, операций, в которые ему, однако, очень ловко удавалось вовлекать довольно видных политических деятелей. В сущности, в этом-то и таился секрет его успехов на поприще коммерции,— он втягивал в свои аферы

людей, близких к правительству и в особенности ко двору, а затем хитро щурился, расплывался в любезнейших улыбках и мурлыкал про себя какую-нибудь модную песенку. Он быстро, с необыкновенной легкостью завязывал знакомство со всеми, кто был ему нужен. И обладал изумительной способностью, становясь своим, близким человеком с нужными ему людьми, при этом не выглядеть слишком навязчивым и не набиваться на интимную дружбу.

Хаваджиев был умен, но распущен и ленив. Гимназистом, полистав разные справочники, он изрядно нахватался разрозненных и бессистемных знаний. В университете, прежде чем остановиться на юриспруденции, он сменил несколько факультетов, в память о которых у него остались студенческие книжки с отметками о посещении лекций. На медицинском он даже готовился к экзаменам. И с тех пор умело пользовался своими случайными познаниями, чтобы поражать собеседников. Из курса римского права он усвоил несколько латинских изречений. Из химии, знакомство с которой у него было весьма поверхностным, он вынес кое-какие сведения о свойствах «царской водки» и нежности «батавской слезы», а года три-четыре тому назад еще мог написать длинную и сложную формулу получения индиго из нафталина. Любил рассказывать о странных повадках угрей, объяснял, в чем состояла ошибка Кювье в его споре с Сен-Илером, не прочь был обронить словечко-другое о диковинных обычаях эскимосов и якобы слово в слово цитировал речь Наполеона перед египетскими пирамидами. Доказывал «вполне научно», что дважды два не есть четыре, и умел довольно ловко показывать фокусы с картами, цепочками, монетами, носовыми платками... Когда представлялся случай, он с особым пафосом приводил примеры эксплуатации в мире животных и растений и из этого заключал, что подобное положение вещей — нечто совершенно логичное, естественное, оправданное и закономерное также и в человеческом обществе. Его с восторгом слушали и дамы из высшего общества, и коммерсанты-простолюдины. Они давали ему наилучшие рекомендации и охотно приглашали к себе, а он использовал это для своих темных делишек и планов. Главный прокурор понимал, что и с ним Хаваджиев свел знакомство из каких-то корыстных побуждений, но мирился с этим ради его жены.

И теперь, когда всего несколько ступенек лестницы отделяло его от этого дурацкого празднества, он думал о том, как ему все это противно и вместе с тем необходимо... Однако что из себя представляет этот дом? Новехонький и, если судить по парадной двери, по перилам и оштукатуренным стенам — один из тысяч подобных спекулянтских зданий, выстроенных тупыми и алчными предпринимателями, с дешевыми тонкостенными квартирами, где кухоньки такие, что не повернуться, а ванны и туалетные комнаты запихнуты в тесные, сырые углы. Судя по узкому фасаду, квартиры в доме были не слишком велики. Где же тогда этот новоявленный богач собирается принять столько гостей? Наверно, в какой-нибудь узкой маленькой гостиной без окон, заставленной старыми диванами.

К единственной двери, выходившей на площадку второго этажа, была привинчена маленькая эмалированная табличка, гласившая «Манол Каев, экспорт-импорт». Главный прокурор остановился, взволнованный. Значит, здесь! Он нажал кнопку электрического звонка и нетерпеливо, с колотящимся сердцем, сердясь на себя и в то же время испытывая какое-то любопытство, долго всматривался в четкие, черные буквы на белой эмали, показавшейся ему почему-то похожей на сгусток жирной сметаны...

Скромно одетая женщина с добродушным лицом крестьянки сдержанно, но любезно пригласила его войти в узкую, длинную прихожую и взяла у него пальто. Она не была похожа на хозяйку дома, но и за прислугу ее тоже принять было нельзя. Она умудрилась повесить его пальто поверх множества других на перегруженной вешалке и, приветливо улыбнувшись, открыла стеклянную дверь, за которой раздавались громкий говор и смех. Когда Йоргов переступил порог, сердце у него сжалось от смущения и беспокойства. Ему и без того было не по себе, потому что он не знал, как держаться с женщиной, которая отворила ему дверь,— как с прислугой или как с хозяйкой дома. В лицо ему ударила волна едкого табачного дыма. Он неловко огляделся и чуть было не начал протирать глаза,— ему показалось, что у него галлюцинация. Перед ним была вовсе не крохотная, тесная квартирка с тесной прихожей и тремя-четырьмя комнатушками, а сверкающий зал, довольно просторный, с каким-то любопытным срезом стены на другом его конце. Пол был

устлан красивыми пестрыми персидскими коврами. Три огромных матовых шара и множество бра щедро разливали мягкий свет. По залу были расставлены несколько столиков, вокруг каждого по четыре кресла и чуть в сторонке несколько банкеток. На столиках — большие хрустальные пепельницы и коробки сигарет, деревянные ящички с сигарами, спичками. У западной стены, возле двери, находился прелестный шкафчик с радиолой. Низ шкафчика состоял из нескольких отделений, где были не только пластинки легкой музыки, но и записи произведений Бетховена, Моцарта, Шуберта, Вагнера, Листа, Грига... Йоргов, ожидавший встретить типичную мещанскую обстановку с ее отчаянной безвкусицей, не знал, что и думать...

Хаваджиев, который, по-видимому, с нетерпением ожидал его прихода, подбежал к нему, подхватил под руку и потащил за собой,— в северной части зала находился небольшой бар, устроенный богато и со вкусом. Около изящной стойки толпились мужчины и дамы и, как во всех современных столичных заведениях, пили и ели стоя, поглощенные шумной беседой, шутками и спорами.

Йоргов помрачнел. Ему было бы в тысячу раз легче, попади он в самом деле в мещанскую обстановку. Тогда бы он хоть ощутил свое духовное превосходство. А теперь? Как может он выразить презрение к невежеству этих парвеню? Ведь перед ним была гостиная, которая не оскорбила бы вкуса даже самого взыскательного европейского дипломата.

Йоргов, конечно, понимал, что хороший вкус здесь тоже куплен за деньги. Своим убранством гостиная была обязана какому-нибудь талантливому, но нищему художнику. Хозяева не вложили ни грана собственного понимания, опытный глаз легко различал за блеском и роскошью некоторые упущения— результат небрежности наемного специалиста по красоте.

Хаваджиев увлек прокурора к самой стойке и наклонился к его уху:

— Я познакомлю тебя с хозяевами. Милые, простые люди...

Прежде всего он представил его г-же Каевой-старшей, высокой худощавой женщине с усталым, измученным лицом. Так как дочь велела ей не открывать рта, чтобы не обнаруживать перед гостями своего деревенского невежества, хозяйка только улыбалась кстати и некстати

и как-то неопределенно хмыкала. Невозможно было понять, соглашается она с вами или не соглашается. А в остальном она выглядела вполне прилично — одета соответственно возрасту и имущественному положению. Но в каждой складочке дорогого платья темно-оливкового шелка были видны труд и вкус портнихи, а не ее собственный.

Пока Йоргов глядел на напудренное лицо г-жи Каевой, не зная, о чем с ней говорить, потому что она, казалось, не понимала ни единого его слова, Хаваджиев нырнул в группку горячо о чем-то рассуждавших мужчин и чуть ли не силой вытянул оттуда низкорослого человечка с угодливо улыбающимся личиком и робкими, скованными движениями — он как будто ежесекундно ждал удара за какое-то невольное прегрешение. У Йоргова глаза на лоб полезли, когда он понял, что это и есть хозяин дома. Эта маленькая, плешивая, шарообразная головка, этот жалкий, ничтожный человечишка не имел ничего общего с тем здоровенным, грубым и дерзким мужланом, каким он его себе представлял. И так как Йоргов был убежден, что увидит непременно огромного, неуклюжего купчину, ему почудилось, что Хаваджиев шутит; не может быть, чтоб это был Каев. Хаваджиев представил хозяину высокопоставленного гостя, дважды подчеркнув, что это главный прокурор. Человечек приятно удивился и раскрыл свой маленький рот, в котором не только не было ни единой золотой коронки, но даже зияли черные дыры — на нижней челюсти один клык и два коренных сгнили до корня.

Дурацкая церемония знакомства с хозяином не затянулась благодаря тому, что рядом оказалась дочь хозяина — «виновница торжества», по выражению одной из приглашенных дам. Когда Хаваджиев схватил ее за руку, она вздрогнула, но, узнав его, заулыбалась так, как улыбаются своему человеку в доме.

— Полегче, Лёли, не проходи мимо своего счастья,— произнес он своим обычным тоном — чуть лениво и фамильярно.

— Мне на роду написано «счастья не видать»,— непринужденно ответила она.

— Ба, кто знает! — лукаво прищурился Хаваджиев и указал на гостя: — Господин Йоргов, главный прокурор... Холостяк и кандидат на роль идеального возлюбленного... Но,— и он предостерегающе поднял указательный

палец,— считаю своим долгом предупредить столь милую барышню, что это человек без будущего, потому что...— Хаваджиев на мгновение зажмурился.

— Почему без будущего? — удивилась девушка, немного сконфузившись.

Тогда Хаваджиев, ожидавший этого вопроса (он нарочно к нему подвел), закончил свою мысль:

— Потому что ему всего лишь тридцать два года, а он уже всего достиг... Будь он несколькими годами старше, он был бы уже министром... Ну, да с божьей помощью и это придет...

Хозяева, осклабясь, смотрели на человека, который всего достиг и со временем станет даже министром, уверенные в том, что перед ними один из бесчисленных претендентов на руку их дочери. Однако дочка, уже привыкшая к ухаживаниям высокопоставленных особ, к которым она причислила и господина главного прокурора, делала вид, будто не обращает на него внимания.

Хаваджиев предложил выпить по бокалу вина, и Лёли Каева воспользовалась этим, чтобы, небрежно кивнув, избавиться от докучного общества родителей. Но Йоргов этого даже не заметил. Он сгорал от нетерпения, но, сколько ни оглядывался вокруг, Кати Хаваджиевой не было видно. Уже с налитым бокалом в руке он обернулся еще раз, чтобы окинуть взглядом зал. Но и на этот раз не увидел ее. «Не пришла! — вздохнул он про себя.— А может быть, она ничего даже и не подозревает!» Ему стало тяжело, обидно, горько. «Ловушка! Хитрость этого пройдохи Хаваджиева! — подумал он.— Хотел меня представить этим простофилям,— наверно, попали в какую-нибудь передрягу и рассчитывают с моей помощью предотвратить обвинение в спекуляции!.. Ну нет, погодите! Я так поверну дело, что вы меня долго будете помнить! И этот жулик тоже! — мысленно пригрозил он Хаваджиеву.— Сторицей за все отплачу!..»

Осушив одним духом бокал, Йоргов снова обернулся, стараясь проникнуть взглядом во все уголки гостиной. Комната была прекрасно обставлена. Ничего вульгарного, все очень красивое, дорогое, все к месту, во всем чувство меры, изящество и простота. Да, здесь прошлась рука мастера! Об этом свидетельствовали картины на стенах — они были отлично подобраны, правда, на выставках только одного, истекшего сезона. Ведь для настоящей художественной коллекции нужны не только деньги и вкус,

но еще и время. За спиной у главного прокурора какая-то дама заходилась от восторга: она уверяла, что в жизни не видела более красивых обоев.

— Небось из самого Мюнхена,— надменно пояснила госпожа Каева, на этот раз не опасаясь, что скажет что-нибудь невпопад, потому что знала, что обои действительно были выписаны из Мюнхена.— Уж ежели Манол что-нибудь вздумает... В полмиллиона нам стали...

— Подумаешь, полмиллиона, зато какая красотища! — вступил в разговор краснощекий человек, тяжело отдуваясь из-за толщины и непрестанного курения.

А Йоргов кусал себе губы.

«Сторицей отплачу! — мысленно грозил он Хаваджиеву, все больше и больше ожесточаясь.— Чего я жду? Зачем торчу здесь? Ну ничего, ничего, он еще увидит, кто из нас двоих останется в дураках».

Главный прокурор одним махом осушил второй бокал, который ему успели уже наполнить, и собрался было под каким-либо предлогом удрать, когда Хаваджиев, как всегда улыбающийся, довольный, спокойно-ленивый, взял его под руку и куда-то повел. Они шли медленно, словно сами наслаждаясь своей размеренной и важной походкой. Хаваджиев что-то болтал, но Йоргов не слушал, погруженный в мысли о Кате, о том, что Хаваджиев обманом завлек его сюда. Однако куда он его ведет? В глубине зала рядом с огромным, во всю стену, окном находилась небольшая площадка для оркестра. Площадка была переносная и, хотя никаких музыкантов сейчас не было, ее не убрали. Должно быть, некуда было деть.

Но за ней, в небольшом углублении, которого со стороны двери и бара не было видно, стояли, как и в передней части гостиной, столик, кресла и банкетки. Несколько гостей, расположившись вокруг столика, оживленно беседовали. Среди них была и Хаваджиева. Заметив точеную ножку, обтянутую светлым чулком-паутинкой, Йоргов ахнул от неожиданности. Сложная смесь противоречивых чувств — радости, смущения, ревности — вспыхнула в нем. Что за люди окружали ее? Был ли это просто флирт, или же ее связывали с кем-нибудь более прочные узы? Почему она предпочла этот уединенный уголок гостиной? Чтобы спрятаться от любопытных и завистливых взглядов?

Множество вопросов, один другого мучительней, заворочались в мозгу главного прокурора. Ему казалось, что

каждый, кому она хотя бы мимоходом оказывала какое-то внимание, гораздо достойней, чем он. И это причиняло ему ужасные страдания.

Хаваджиев, развязный, беспечный, со своей неизменной улыбочкой, представил его присутствующим. Один из них был студентом-медиком, другой владельцем уксусной фабрики и членом акционерного общества по экспорту-импорту, третий — важный господин с блестящими, гладко прилизанными волосами — чиновником министерства иностранных дел. Хаваджиев успел шепнуть Йоргову, что у него большие связи с влиятельными людьми из дворцовых кругов и что его ждет пост посланника. Йоргову почему-то показалось, что именно этот будущий посланник и есть самый опасный соперник, что Хаваджиева к нему неравнодушна. Поэтому с первой же минуты знакомства Йоргов возненавидел его и не упускал случая его уколоть. Мучительная подозрительность и тоска завладели им. Ему померещилось, что Хаваджиеву ничуть не обрадовал его приход. Она небрежно кивнула ему и даже не пригласила сесть. Самый подходящий момент повернуться спиной, уйти и порвать раз и навсегда с этой надменной особой. Но главный прокурор не нашел в себе для этого сил. Он стоял и смотрел, мучаясь ревностью и сознанием собственной беспомощности.

Хаваджиев, отошедший за сигарой к соседнему столику, стоявшему возле площадки для оркестра, взял за локоть одного из кельнеров, специально нанятых на вечер, и с фамильярностью, которая в подобных случаях прикрывает высокомерие, сказал:

— Притащи, голубчик, нам, старикам, по стульчику.

Когда кельнер принес две банкетки, он усадил Йоргова рядом со своей женой и знаком велел кельнеру не уходить.

— Да вы еще ничего не пили? — осмотрел он столик.— А? Так не годится. Катя, ты что будешь пить? — нежно спросил он жену.— Винца или пива?

— Что-нибудь покрепче,— не повернув к нему головы, бросила та, по-прежнему чем-то недовольная или раздосадованная, минутами просто грубая. Никто из ее знакомых еще никогда не видел ее такой замкнутой и сердитой. Обычно она бывала очень любезной, веселой, разговорчивой, остроумной. Йоргов все спрашивал себя — уж не его ли появление так ее раздосадовало? Он искоса

следил за тем, как белые ее зубки покусывают чувственные, ярко накрашенные губы, и ему почему-то казалось, что тому причиной он, только он. Она его не выносит, ей ненавистно его общество.

— Господа? — Хаваджиев ждал, пока каждый сделает заказ.

И вскоре он уже суетился у бара, продолжая сыпать шутками и остротами.

— Осмелюсь спросить — отчего вы нынче в дурном настроении, сударыня? — Главный прокурор, охваченный волнением и трѐвогой, улучил удобную минуту и вполголоса, чуть не шепотом обратился к своей соседке. Он нервно барабанил пальцами по колену и ждал ответа с таким же напряжением, с каким ждут приговора подсудимые — жизнь или смерть.

Она слегка повернула голову и сдержанно улыбнулась:

— Нет... ничего... так, немного расстроена.— И огляделась вокруг, словно ища кого-то.

Йоргов перевел дух. Луч надежды, пусть еще смутной и далекой, приободрил его. Ему дарована жизнь. Она не испытывает к нему ненависти, и не его приход привел ее в дурное настроение.

Хаваджиев вернулся в сопровождении кельнера, нагруженного бутылками и бокалами.

— Дай мне сигарету, — попросила Хаваджиева мужа.

Он неторопливо полез в карман за портсигаром, но главный прокурор и будущий посланник с молниеносной быстротой протянули ей свои. Так как главный прокурор не успел открыть свой портсигар, Хаваджиева, явно польщенная их любезной поспешностью, сделала вид, будто колеблется, и, никак не выказывая своей благодарности или признательности, взяла сигарету из портсигара главного прокурора. Будущий посланник, ничуть не обескураженный, с той же фантастической быстротой достал зажигалку, ловко щелкнул и изящным жестом поднес ей. Бледный огонек, похожий на язычок новорожденного младенца, лизнул кончик сигареты. С видимым наслаждением вдохнув ароматный дым, Хаваджиева откинулась в кресле. Она положила свою красивую голову на спинку и задумчивым взглядом следила за белыми кольцами табачного дыма, которые лениво растягивались и медленно таяли в воздухе.

Кельнер, расставив бокалы, застыл в ожидании приказаний, похожий в этой позе на огромную черную скобу. Хаваджиева взглянула на него краем глаза.

— Что прикажете, сударыня? — почтительно изогнулся перед ней кельнер.

— А что у вас там? — с какой-то досадой протянула Хаваджиева, словно этот вопрос давно ей наскучил, как наскучили все эти изысканные напитки.

— Ликер? Бенедиктин? — настойчиво-любезно продолжал спрашивать тот.— Быть может, коктейль?

— Сливовую водку,— приказала Хаваджиева.

— Послушай, любезный,— обернулся к кельнеру будущий посланник,— налей-ка мне тоже сливовицы.— Когда кельнер исполнил приказание, он торжественно поднял рюмку и с легким, подчеркнуто любезным поклоном произнес: — Приветствую ваш выбор, сударыня. Это и называется хороший вкус,— он кивком указал на полную рюмку,— чистое, натуральное, наше, болгарское — словом, что надо!

В углу, возле кресла, на котором сидел будущий посланник, на высоком массивном столике орехового дерева зазвонил телефон. Студент-медик снял трубку. Все разом замолчали и повернулись к нему.

— Да, да,— утвердительно кивнул студент,— два — сорок три — тридцать четыре. Но только вы ошиблись! Нет, пожалуйста. Здесь контора артели жестянщиков.— Он положил трубку и фыркнул.— Спрашивают Каева... Насчет каких-то бочек... Ну, я им закрутил мозги...

— Быть может, хозяин ждет этого звонка? — озабоченно заметил владелец уксусной фабрики.

— Ба! — небрежно передернул плечами будущий посланник.— Когда зовут гостей, не назначают деловых разговоров.

— Глупая шутка! — отрывисто и сухо бросил Йоргов.

Хаваджиева неприязненно взглянула на будущего посланника и тем вернула главному прокурору уверенность в себе. Значит, ей нравится, как он ведет себя с этими господчиками. Главный прокурор уже был рад, что пришел на этот дурацкий прием. Ему хотелось теперь заговорить о чем-нибудь чрезвычайно интересном и серьезном, чтобы поразить ее, привлечь ее внимание, заинтриговать, зажечь. Он хотел, чтобы она стала оживленной, веселой — более оживленной и веселой, чем всегда. Но он не знал, с чего начать. Обычно эта женщина обращала к со-

беседнику ясный, счастливый взор, безмятежную, довольную улыбку. Сегодня она была резкая, расстроенная, злая. Тонкие брови, тщательно выщипанные и чуть удлиненные карандашом, нервно сдвинуты. Чем она расстроена? Поссорилась с мужем? Нет, он был с ней такой же, как всегда,— небрежно-фамильярный и вместе с тем чрезвычайно любезный. Правда, любезность у него наигранная, показная. Но так было всегда.

Возле углового столика показалась та женщина, которая встретила главного прокурора при входе. Видом и одеждой она настолько отличалась от разряженных дам в гостиной, что все сидевшие в этом укромном уголке невольно обратили на нее внимание.

— А это кто такая? — вполголоса спросила Хаваджиева мужа.

— Наверное, тетушка хозяина,— шепнул тот в ответ. — Семейная реликвия. Полновластная диктаторша верхнего этажа.

Тетушка вела сына Каева, ученика немецкой школы, но тот отстал, и она остановилась, поджидая его. Она чувствовала, что привлекла к себе внимание этих незнакомых людей, и это ее стесняло. Когда мальчик наконец подошел, она строго его отчитала:

— Идем же, Спиридон! Тебя завтра не добудишься!

Тетушка дотронулась до стены как раз напротив главного прокурора, и мгновенно в стене открылся прямоугольник размером с одностворчатую дверь. Тетушка повернула выключатель, и неяркая лампа осветила крутые ступеньки, устланные пестрым деревенским рядном. Лестница вела на третий этаж, что было для всех полной неожиданностью. Один лишь Хаваджиев ничуть не удивился. И когда дверь плотно вошла в стену, Хаваджиев удовлетворенно кивнул.

— В этом доме порядок,— сказал он.— Вот это я понимаю — дисциплина: кому положено гулять — гуляй, кому положено спать — иди спать.

— М-да...— покачал головой главный прокурор, словно отвечая самому себе,— теперь ясно, почему весь этот этаж отведен под гостиную. Значит, спальни, кухня — все наверху.

— Неплохая идея,— мечтательно пробормотал будущий посланник, выпустив несколько колец дыма. Он зажмурился и сквозь прозрачную дымовую завесу бросил хищный взгляд на белую, грациозно изогнутую и сильно

напудренную шею Хаваджиевой.— Низ — для гостей, верх — для домашних.— И, помолчав, добавил, слегка тряхнув головой: — Умно!

— Не слишком много нужно ума, чтобы, имея деньги, купить две квартиры одну над другой и соединить их обыкновенной лестницей,— сухо, с подчеркнутой неприязнью заметила Хаваджиева.— Любой плотник может такое соорудить.

Смущенный этим вызывающим тоном, будущий посланник глупо улыбнулся, достал из внутреннего кармана пиджака маленькую расческу и зачем-то провел ею по гладко прилизанным волосам. Йоргов с наслаждением, с чувством глубокого душевного удовлетворения затянулся, выпустил несколько колец дыма и, прищурив глаз, проводил их взглядом. Так щурился он, когда во время судебного заседания председатель или кто-нибудь из членов суда задавал удачный вопрос подсудимому-коммунисту.

Никто не знал, как нарушить неловкое молчание, наступившее после резкой реплики Хаваджиевой, когда вдруг показался Каев, чрезвычайно торжественный, с бокалом в руке. Сухонькое его личико, которому он пытался придать какую-то особенную важность, смешно раскраснелось, лысое темя лоснилось под ярким светом люстры. Он расшаркался во все стороны и, выпятив свою узкую, как у цыпленка, грудь, на которой сверкала золотая цепочка, высоко поднял бокал.

— Дамы и господа! — воскликнул он с чрезмерным, фальшивым пафосом, не сообразив, что среди присутствующих всего лишь одна дама.— Имею удовольствие сообщить вам радостную весть: только что по радио передали, что немцы вернули себе два города.

— Как это «вернули»? — сердито спросил Хаваджиев, подчеркнуто протянув последнее слово и бросив на неказистого хозяина дома убийственный взгляд.— Кому и когда удавалось занять немецкие города, чтоб немцам нужно было их себе возвращать?

Маленький человечек помертвел.

— Но ведь... они русские... города-то русские, но немцы их теперь взяли сызнова,— испуганно и неуверенно пробормотал Каев. Он знал — один слушок о том, что он усомнился в победе немецкого оружия, и вся его коммерция пойдет прахом.

— Господин Каев прав,— вмешался будущий посланник,— то, что немцы раз взяли, то уже немецкое... Но на войне как на войне — иной раз, как бы ты ни был силен, приходится кое-что и уступить...— И он украдкой посмотрел на Хаваджиеву, которая откинулась в кресле, до боли прикусив свою нежную, чувственную губку.

— Именно, именно...— усердно закивал Каев, с надеждой и благодарностью воззрившись на своего неожиданного заступника. От растерянности он забыл о бокале, который держал в руке и который обычно осушал залпом, нагнулся и расплескал вино.— Как раз это я и хотел сказать... Что немцы раз взяли, то уж ихнее... А как же иначе?

— Следовательно, вернули два своих города на оккупированной восточной территории,— тоном знатока изрек главный прокурор, подчеркивая каждое свое слово, словно диктуя заключение по делу.

— Вот именно... именно... в самый раз,— с жалким, умоляющим выражением на лице повернулся к нему хозяин.— Ихние города... и по радио так говорили...

— Но под Сталинградом дело что-то застопорилось,— вскользь заметил студент-медик.

Никто не обратил внимания на его слова. Только Хаваджиева вздрогнула, будто ее ударило током, и какая-то злая тень мелькнула в ее красивых, ясных глазах. Она насторожилась, надеясь услышать еще что-нибудь о Сталинграде, но никто не поддержал ненароком оброненной реплики студента. Хаваджиева — в свое время она окончила французский колледж и прожила некоторое время в Германии — читала не только бульварные романы и иллюстрированные немецкие журналы. Поздно ночью, в самые тихие, спокойные часы, когда ее самодовольный супруг, устав от своих сложных и темных сделок, спал блаженным сном, удовлетворенно посапывая, она, лежа на оттоманке возле приемника, слушала хорошую музыку и ждала передачи новостей на французском и немецком языках из Лондона, Берна, Стокгольма, Москвы... Поначалу она ловила передачи из Москвы просто так, для разнообразия, для того чтоб насладиться слабостью тех, кого она ненавидела каждой клеточкой своего нежного, ухоженного, прекрасного тела. Но новости, передававшиеся оттуда, становились все более интересными и все более тревожными. Тревожными потому, что все, что говорила Москва и что немцы пытались опровергать криками

и громкой, рассчитанной на запугивание фразеологией, со временем подтверждалось — постепенно, планомерно, неумолимо. Дочь одного из карателей Моравской области в первую мировую войну, Хаваджиева была воспитана в духе германофильства и смертельно ненавидела коммунистов. Она была глубоко убеждена, что у них нет души, что ими движут вовсе не высокие идеи, а дикие, варварские инстинкты. И ей казалось, что, если коммунисты будут разбиты и уничтожены все до последнего, человечество возродится и над миром воссияет новое солнце... Она давно уже следила по радио за ужасающей битвой под Сталинградом, но считала, что сопротивление, которое оказывают там большевики, — это предсмертные судороги. Она не сомневалась в том, что Красная Армия вводит в бой свои последние танки, последние самолеты, последние орудия. А потом большевикам не останется ничего иного, как удирать за Урал. Один весьма культурный и интеллигентный немецкий генерал убедительно растолковал ей, что американцы и англичане, если б и хотели, не могли бы дать русским такой техники, которая необходима для сколько-нибудь серьезного сопротивления бронированной немецкой армии. А кроме того, как подтвердил интеллигентный немецкий генерал, англичане и американцы и не желают оказывать помощи своим красным союзникам... Но откуда же тогда это сопротивление под Сталинградом? И чем объяснить победы красных? Армия Паулюса окружена. Это подтверждалось радиостанциями всех нейтральных стран. И это страшно — даже если окруженным немецким войскам удастся вырваться, как это было под Старой Руссой. Ведь окружить такую огромную и мощную армию под силу только армии еще более огромной и мощной... Хаваджиева ни с кем не делилась своими тревожными думами о Сталинграде. Даже мужу, который жил, не ведая тревог, со слепой верой в германский гений, она ни словом не обмолвилась о тяжелом положении под Сталинградом. Расстроенная дурными известиями, подавленная тяжелыми предчувствиями, утомленная бессонницей и нервным напряжением, она только нервно кусала губы и курила сигарету за сигаретой.

Хаваджиев встал. Он уже подвыпил, и его просто распирало от желания поболтать.

— Господа! — немного волнуясь, сказал он особым,

доверительным тоном.— Вы можете быть уверены в том, что мир скоро явится свидетелем таких чудес, которые нам еще даже не снились.— Он затянулся, обвел слушателей взглядом, чтобы проверить, какое впечатление произвело на них это не совсем обычное начало, и, многозначительно прищурившись, медленно поднял голову.— Мне известно из достоверного источника,— он взмахнул сигаретой и по слогам повторил «до-сто-вер-но-го источника»,— что все приготовления для по-след-не-го наступления на Восточном фронте уже закончены, ожидают только приказа фюрера. Новое оружие изготовлено и доставлено на места. — Он поставил свой бокал на столик и причмокнул. — Но-вое о-ру-жие! Немцы предупредили большевиков, что, если к определенному сроку те не подымут руки кверху, рейх слагает с себя ответственность за последствия... Новые немецкие «икс-снаряды» уничтожают все живое в радиусе сорока двух километров...

— Мне надоели разговоры об этом вашем новом оружии! — с досадой процедила Хаваджиева.

— Как? Неужели ты не веришь, Катя? — Муж удивленно и с укоризной взглянул на нее. Она сидела, положив ногу на ногу, опираясь локтем на обольстительное, округлое колено и стиснув сигарету тонкими, длинными пальцами.

— Во что я должна верить? — Поджав губы, она окинула своих собеседников вызывающим, презрительным взглядом.

— Ты не веришь, что немцы предъявили такой ультиматум? — все так же изумленно смотрел на нее муж.— Но ведь ты знаешь, что немцы — народ культурный, гуманный, они не хотят ненужного кровопролития... А там ведь не все коммунисты. Зачем же гибнуть ни в чем не повинным людям?..

— В Красной Армии позади солдат идут коммунисты с нагайками в руках,— сказал будущий посланник таким тоном, будто на кого-то сердился...— Они силой гонят людей в бой.

Хаваджиева скрипнула зубами, шея ее залилась краской, глаза совсем потемнели. Она нервно погасила недокуренную сигарету и, снова откинувшись на спинку кресла, покачала головой.

— Как я их ненавижу, этих коммунистов! — проговорила она тихо, как бы про себя, но в голосе ее звучали

такие глубокие, необычные, страстные нотки, что даже муж взглянул на нее с удивлением.— Но они, они хоть... словом, я уважаю их больше, чем таких героев, как вы, потому что они-то сражаются за торжество своих варварских идей, а вы и пальцем не шевельнете ради спасения цивилизации и только похваляетесь чужой храбростью.

Задыхаясь от волнения, она закурила новую сигарету и, жадно глотая ароматный дым, подняла затуманенный взгляд к потолку. Представляя себе общество будущего, общество «скотского равенства», по выражению ее отца, она каждый раз приходила в бешенство и отчаяние. Мысль о возможности материального благополучия и духовного развития для всех даже не приходила ей в голову. На ее взгляд, культура потому и является культурой, что только небольшая, избранная часть общества всегда сыта и имеет доступ к великим творениям искусства. Что это будет за жизнь, если любой деревенский мужик будет слушать и понимать «Лунную сонату» или часами любоваться загадочной улыбкой Джоконды? А у этих слюнтяев, самодовольных трусов и карьеристов нет и грана воображения, они не могут представить себе, что произойдет, если коммунисты победят... Между тем на Восточном фронте происходит что-то ужасное. Немцы терпят поражение. Из шведских и швейцарских передач она поняла, что это вовсе не случайность. Здесь наивные люди, обманывая себя, утверждают, будто немцы спокойны. Но она знала от отца — они и в прошлую войну сохраняли спокойствие вплоть до последнего дня, до самой капитуляции.

Заиграл патефон. Начались танцы. Хаваджиев посмотрел на часы.

— Ого! — удивился он.— Как летит время!— Он поднял бокал и допил свое вино, потом отступил назад и тяжело поклонился.— Примите, господа, и прочее. Желаю покойной ночи и приятного времяпрепровождения. Прошу прощения, но у меня кое-какие неотложные дела, надо идти. — Он сделал еще один общий поклон и повернулся к жене: — Катя, когда устанешь, позвони по телефону и вызови машину.— Хаваджиев пожал руку хозяину дома и исчез в толпе.

Будущий посланник встал, негромко прищелкнул каблуками своих лакированных туфель, церемонно склонился перед Хаваджиевой и с улыбкой посмотрел на нее.

— Мерси,— сказала она и с досадой отвернула свою красивую голову. Будущий посланник посмотрел вокруг, но на этот раз вид у него был сконфуженный и улыбка похожа на гримасу. Плавно изгибаясь, словно поясница у него была резиновой, будущий посланник отошел к площадке, возле которой уже кружились пары.

Главный прокурор облегченно вздохнул. Этот молодой человек, липкий и наглый, смертельно ему надоел. Его удивляло, что, несмотря на явное пренебрежение и даже враждебность со стороны Хаваджиевой, тот продолжал ей навязываться. А главному прокурору почему-то казалось, что именно в этот вечер все решится, и он мечтал остаться с красавицей Хаваджиевой наедине. Он постарается прощупать почву, понять, может ли он рассчитывать на взаимность либо же должен проглотить горькую пилюлю и молча затаить свое горе. Но следовало смотреть в оба — она была женщина с характером и острым язычком. Главный прокурор пытался понять, заученное ли это остроcловие, или оно зиждется на широкой культуре. В голове его одни предположения сменялись другими. «Быть может, она просто хорошая актриса на сцене жизни?..» — спрашивал он себя. Быть может, все то, что так властно привлекало его, было лишь маской ловкой авантюристки? Он догадывался, что при желании она умело скрывает, что у нее на уме. Иной раз, когда она улыбалась, бывало трудно понять, отчего она улыбается,— оттого ли, что ей хорошо известно то, о чем идет разговор, или оттого, что она не имеет об этом ни малейшего представления... Было в ней что-то загадочное, и это еще больше его раззадоривало.

В последние свои встречи с ней он научился по голосу угадывать ее настроение. Когда она что-то скрывала, голос у нее был высокий, а когда вкладывала в свои слова душу, говорила искренне, голос приобретал какой-то особый, теплый, грудной тембр. Сегодня Йоргов особенно отчетливо ощутил эту забавную ее особенность.

Заиграли танго. Главный прокурор оживился. По телу его, в такт музыке, прошло какое-то движение. Хаваджиева это заметила. До сих пор она видела его только каким-то застывшим, деревянным и считала его сухарем, службистом. Она знала от мужа, что он прекрасный юрист, знаток своего дела. И теперь его непроизвольный порыв, его способность поддаться ритму этого

действительно дивного танго заинтересовали ее и словно бы даже обрадовали. До той поры она относилась к Йоргову с уважением и немного побаивалась его. Теперь же впервые ощутила в нем человека, с которым можно найти общий язык.

— Вы любите музыку? — спросила она. В голосе ее была неподдельная искренность и интерес.

— Да.

Он был счастлив, что она его понимает.

— Музыка — это сама жизнь,— вполголоса, но горячо проговорила она.

— Есть вещи, которые действуют на меня просто неотразимо,— признался он тоном обласканного ребенка и указал рукой туда, откуда доносились звуки патефона.— А это мое любимое танго.

— Любимое — и только? — Она задорно взглянула на него, и глаза ее снова зажглись прежним глубоким, радостным блеском.— Да вы не на шутку взволнованы! Преклоняюсь перед глубокими чувствами, страстными увлечениями. А танцевать вы любите?

— Как когда. Но это танго...

— В таком случае?

Она привстала в кресле, пристально глядя ему в глаза.

Йоргов протянул ей руку.

— А что скажет ваш сосед, которому вы отказали? — шутливо поддразнил он ее, обнимая за талию.

Глаза у нее слегка помрачнели.

— Юный маньяк, который светит отраженным светом.

Йоргов понял, что она хотела сказать,— этот будущий посланник имел значение лишь постольку, поскольку у него были связи при дворе. Да, она знала от мужа, что у него есть такие связи. А может быть, это муж узнал через нее?

Танцующих становилось все больше, кружащиеся пары становились все оживленней. Некоторые из них о чем-то перешептывались, сияя счастливыми улыбками. «Виновница торжества» тоже танцевала с каким-то юным кавалером, осторожно склонив к нему на плечо свою завитую головку. Мимоходом она поддела отставного старика генерала, который подстерегал одну молодую даму: он ждал, чтобы танец прервался хоть на миг, чтоб подлететь и пригласить ее, и в ожидании поправлял галстук и одергивал пиджак.

Хотя близилась полночь, многие еще осаждали бар. Любители хороших вин и крепких напитков стояли, облокотившись о сверкающую стойку, и бросали время от времени равнодушные взгляды на танцующих, словно говоря: «И охота же так бессмысленно тратить время!»

— Какой скучный вечер!— прошептала Хаваджиева, на этот раз грудным, низким голосом.

— Замечание, надо полагать, относится и ко мне,— лукаво заметил главный прокурор, и сердце его тревожно забилось, потому что от ее ответа зависело дальнейшее.

Она дружелюбно улыбнулась.

— Будь это так, я бы вам не сказала.

Слова звучали просто и искренне.

— Иной раз слово вырывается против воли...

— Я еще не утеряла способности ориентироваться в таких элементарных вещах,— ответила она. И спокойно, решительно добавила: — Если бы не вы, я бы вообще сюда не приехала.

— Благодарю вас,— произнес он, весь залившись краской и даже растерявшись от неожиданной радости. — Если б вы знали, как я счастлив... Как бы я хотел, чтоб этот вечер длился бесконечно!..— Он сбился с такта и чуть было не наступил ей на ногу. И, не зная, что еще сказать, пробормотал: — В таком случае о скуке не может быть и речи...

Это выражение показалось ему сухим и банальным, но уж дела не поправишь...

Хаваджиева ответила не сразу.

— Я имею в виду все это окружение,— проговорила она, когда они немного отдалились от остальных танцующих.

— Оно не имеет никакого значения.

— Даже когда оно так неинтеллигентно? — сказала она ему почти на ухо.

— Для человека умного и счастливого это должно даже представлять особый интерес.

— Да, пожалуй...— Она слегка вздохнула, словно сожалея о чем-то.— Но это зависит от характера... Я ненавижу этих людишек — таких глупых, таких убийственно одинаковых...

Когда они оказались неподалеку от бара, она сказала:

— Я хочу пить.— И слегка отстранилась от него.

Оживленные и в то же время чем-то немного смущенные, они заказали по стакану легкого вина с содовой.

Чокнулись молча, но обменявшись теми быстрыми взглядами, что красноречивее слов, отпили по глотку, мгновение помедлили и уже тогда осушили свои бокалы до дна. Отставной генерал, затертый между стойкой бара и спиной толстого экспортера консервированных фруктов, неожиданно вырос перед Хаваджиевой и отвесил ей почтительный поклон. Но она, не ответив, резко, с отвращением отвернулась. Старик сконфузился и, сникнув, удалился.

Патефон умолк. В ожидании следующей пластинки танцующие повернули к бару и столпились у стойки. Перед главным прокурором и Хаваджиевой остановилась Лёли, преувеличенно запыхавшаяся и преувеличенно восторженная. С ней был молодой архитектор, сын известного в Софии подрядчика. Девушка приветливо кивнула главному прокурору, а к Хаваджиевой так и прилипла с тем непритворным доверием и любовью, с какими молодые девушки обычно относятся к женщинам старше и опытнее себя, которых считают своим идеалом.

— Танцуете? — ласково погладила ее по щеке Хаваджиева и немного покровительственно привлекла ее к себе. — Это танго расшевелило даже стариков и старушек. — И она наклонила голову, давая понять, кого она имеет в виду.— Правда?

— Ах! — сощурила свои накрашенные ресницы Лёли.— Волшебное танго!

— Любимое танго господина Йоргова,— глазами указала на него Хаваджиева.— Вы знакомы? Господин главный прокурор.

Йоргов объяснил, что Хаваджиев уже представил его всему семейству, а Лёли и архитектор тем временем заказали по стакану лимонада и поспешили выпить, потому что патефон заиграл вальс. И когда юная пара влилась в круг вальсирующих, Хаваджиева проводила Лёли взглядом женщины, которая считает, что вправе радоваться со стороны счастью молодых.

— Милая девочка, не правда ли? — обернулась она к Йоргову. И легонько дотронулась до его локтя.— Пойдемте отсюда — не могу я больше выносить этот...— Она хотела сказать, что не выносит этот сброд, но так как окружающие могли ее услышать, сказала: — этот шум.

Их столик в уединенном уголке гостиной был уже занят. Но рядом стояли несколько разрозненных банкеток и два стула, принесенные, по всей вероятности, с верхнего этажа. Из прежней компании здесь остался только сту-

донт-медик. Он толкнул локтем одного молодого человека, сидевшего в кресле Хаваджиевой. Молодой человек проворно вскочил, уступая даме место. Главный прокурор отошел к стене, закурил и оперся о столик с телефоном.

Хотя появление Йоргова и Хаваджиевой несколько смутило молодую компанию, оживленный разговор, который они вели перед тем, не оборвался. Шел спор о том, могут ли немцы с помощью новых и еще никому не ведомых лучей разом истребить всю Красную Армию, либо это только фантазия. Защитником молниеносного удара посредством новых, неизвестных лучей был юный инженер-путеец, весьма самонадеянный и не менее словоохотливый. Остальные молодые люди, хоть и верили в сказочные возможности немецкой техники, хоть и допускали, что в отдаленном будущем такие лучи будут изобретены, пока что сомневались в их реальности.

— Могу смело заверить вас, уважаемые дамы и господа,— возбужденно и категорически заявил инженер тоном человека, который дал слово хранить тайну, но в силу исключительных обстоятельств и сознавая, что это ничем не грозит делу, готов открыть людям истину, имеющую историческое значение для человечества,— что это не только не фантазия, но что аппараты со смертоносными лучами уже доставлены на Восточный фронт и в ближайшие дни мир будет потрясен, увидав воочию, что такое немецкая наука и немецкая техника! — Он произнес всю эту тираду одним духом, словно заучил ее наизусть, и, взмахнув кулаком, театрально ударил по столу.

Уверенность этого знатока приятно изумила компанию. Даже главный прокурор смотрел на него с удивлением. И только Хаваджиева усмехнулась, демонстративно, с горьким презрением. «Вот,— думала она,— этот болван вещает тем же тоном и даже теми же словами, что и мой супруг. И откуда берутся эти басни, которые только убаюкивают нас, заставляя закрывать глаза на страшную опасность? В первую очередь их разносит наша идиотская пресса, тем самым притупляя сознание необходимости бороться с этим варварским коммунизмом...» О, как она презирала этих холеных маменькиных сынков за их «геройскую» болтовню!..

— Значит, в ближайшие дни можно ожидать краха русских на Восточном фронте? — осведомился наследник главного держателя акций общества «Болгарские фрукты». Осведомился не для того, чтоб узнать что-то новое,

а чтоб еще раз услышать то, чего с нетерпением ожидал и во что слепо верил.

— Да ведь как только большевистская Россия будет сломлена, другим только и останется, что поднять руки кверху! — подал голос молодой, начинающий спекулянт.

— А что же тогда Англия? — радостно всплеснул руками студент-медик.— Придется коварному Альбиону отвечать за все свои преступления перед историей.

— Англия сдастся на милость победителя! — серьезно, деловито и спокойно добавила тщедушная барышня, которая до тех пор молчала и только раскачивала перед Хаваджиевой свои старинные серьги. Заметив, что на ее,— да, да, именно на ее,— уверенную реплику Хаваджиева ответила недвусмысленной, подчеркнуто-презрительной гримасой, барышня подозрительно взглянула на нее и громко, сердито спросила: — Как, мадам, вы в это не верите?

Хаваджиева вспыхнула. На мгновение ей показалось, что она теряет сознание. Волна долго сдерживаемой боли, подавленной ненависти, глубокого презрения, неудержимого гнева против этих людишек захлестнула ее. Две жилки на тонкой белой шее забились, красивые ноздри расширились. Кому посмело сделать замечание это огородное чучело? Знает ли эта уродина, что Хаваджиева ночи напролет не смыкает глаз не потому, что не верит в победу немцев, а потому, что знает, потому, что видит, как пути к этой победе становятся все более крутыми и узкими, а реальной помощи, если не считать визгливых восхвалений немецкого героизма, — ниоткуда нет. Не желая показать своего гнева, Хаваджиева зажмурилась и не открывала глаз, пока ей не удалось взять себя в руки.

— В мощь Германии я верю,— сказала она с напускным спокойствием, но было видно, что она вся дрожит от волнения, — я не верю в праздную болтовню вдали от фронта, где подлинные рыцари и герои сражаются и отдают жизнь за цивилизацию. Германия не нуждается в таинственном оружии, о котором мелют языки на всех перекрестках, у нее достаточно обычного вооружения для того, чтоб одержать победу, но ей нужны доблестные воины, которые пришли бы ей на помощь! — Все пристально смотрели на нее, смущенные, примолкшие.— И вот еще что,— печально качнула красивой головой Хаваджиева. — Пока наши ресторанные герои распевают «Мы ринемся на Англию», коммунисты у них под носом подрыва-

ют устои нашего общества и государства. И никто пальцем не пошевелит, чтоб хоть поставить их на место...— Она закинула ногу на ногу и потянулась, чтоб взять сигарету из стоявшей перед ней открытой коробки, но, спохватившись, что коробка чужая, отдернула руку, как ужаленная. — Пардон! — И взглянула на главного прокурора, который слушал ее, пораженный, забыв обо всем, не спуская с нее глаз. Он мгновенно протянул ей свой портсигар. Она закурила, выпустила несколько колец дыма и сердито откинулась на спинку кресла. Ее поза, манера держаться, выражение лица и блеск глаз — все говорило: «Презираю вас, вы для меня просто не существуете!»

— А как, по-вашему, нам следовало бы поступить? Чего вы от нас хотите? — спросил инженер-путеец, и его маленькие усики дрогнули, как крылышки черного жука. Тон у него был обиженный. Другие молодые люди также чувствовали себя уязвленными.

— Чего я хочу ?— после короткого молчания метнула на него сердитый взгляд Хаваджиева.— Ничего. Но вы должны исполнить свой патриотический долг, долг просвещенных граждан: выйти на поле брани и драться, а не только восхвалять немецкое оружие, восхищаться немецкой техникой и чваниться храбростью немецкой армии. Даже хороший пулемет, господа, сам собой не стреляет, и самое совершенное оружие попадет к неприятелю, если смелые, решительные воины не будут крепко держать его в руках...— Она глубоко затянулась и добавила: — Подумайте сами,— мы, получившие от рейха больше, чем кто бы то ни было, и получающие от побед немецкого оружия всего больше выгод, только мы одни из всех европейских государств не дали Восточному фронту ни одного добровольца... Позор!

— Мы охраняем Балканы,— неуверенно заметил студент-медик.

— Ничего мы не охраняем! — махнула своей точеной ручкой Хаваджиева.— Мы не в состоянии даже защитить жизнь тех, кто полагается на нашу службу безопасности. Разве не позор, что немецкие солдаты в свой лагерь возле «Дианабада» добираются только группами, иначе их перестреляют в лесу, как зайцев! Сегодня у меня на глазах убили немецкого офицера. Уложили выстрелом среди бела дня на бульваре патриарха Евтимия, и убийцам удалось скрыться. Ни один человек не указал на них. Все притворились, будто ничего не видели и не слышали...

И это в самом центре Софии! — Она вся дрожала в приступе неудержимого гнева, глаза ее стали еще мрачнее. Резким движением повернувшись к студенту-медику, она продолжала: — Вот это вы, очевидно, и называете «охранять Балканы»? — Она снова, словно обессилев, откинулась в кресле и процедила сквозь зубы: — О, как противно слышать одни лишь угрозы и похвальбу... немецким оружием и немецкой храбростью!..

Все смущенно помаргивали и молчали. Ни у кого не нашлось слов, чтоб ей возразить. И никто не мог решить — обидеться ли и протестовать или согласиться с ее справедливыми, от сердца идущими упреками.

— Неужели нет никого, кто был бы способен хоть на один-единственный мужественный поступок! — сказала она печально, с глубокой скорбью и, казалось, обращаясь к самой себе.— Как я мечтаю встретить человека, который не болтает вздора, не бахвалится чужой силой, а скромно исполняет свой гражданский долг и твердой рукой истребляет коммунистов!.. Да,— энергично подчеркнула она, разгорячась от собственных слов,— я мечтаю увидеть такого человека!..— Она закусила губу, и в ее глубоком, низком голосе прозвучал тяжкий, неотвратимый укор.

— Такие люди есть,— глухо и словно бы смущенно отозвался главный прокурор.

— Не вижу! — резко оборвала его Хаваджиева, не поднимая глаз.

Тогда главный прокурор смял недокуренную сигарету в стоявшей на столе пепельнице и поднял телефонную трубку.

— Центральную тюрьму! — тихо произнес он.

Все изумленно посмотрели на него. Краем глаза взглянула на него и Хаваджиева. Что надумал этот человек, лицо которого было сейчас таким напряженным, суровым? Он стоял, прижав трубку к уху, и нетерпеливо ждал.

— Говорит главный прокурор,— сказал он.— Соедините меня с начальником тюрьмы.

Вокруг стола в укромном уголке гостиной воцарилась напряженная тишина. Все с нетерпением ждали, что будет дальше. Наконец в мембране раздался шорох.

— Начальник тюрьмы? — быстро и значительно спросил Йоргов. — Говорит главный прокурор. — Он принял торжественный вид и даже немного выпятил грудь.—

Господин начальник! По делу сельской подпольной организации приговорены к смертной казни трое коммунистов. В четыре часа утра приговор должен быть приведен в исполнение. Отдайте необходимые распоряжения и в четверть четвертого пришлите за мной машину. Повесить всех троих одновременно и ровно в четыре утра. Сверим часы — сейчас без двадцати двух минут час... — Главный прокурор посмотрел на запястье левой руки, потом снова опустил руку. — Что? — Он прислушался. — Да, да, три крестьянских парня, приговоренных к смерти за саботаж. — Потом он сообщил, куда прислать машину, указав улицу, номер дома, этаж, имя владельца квартиры: — Новый дом,— повторил он,— облицованный белым камнем.

Йоргов положил трубку, достал свой портсигар, нащупал пальцами сигарету потверже, щелкнул зажигалкой и закурил спокойно, с наслаждением, как человек, закончивший трудное и важное дело. Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой, даже мельком не взглянул на Хаваджиеву. Но был уверен, что она взволнована и внутренне благодарна ему. Он поддержал ее обвинения против этих пустомель и вместе с тем доказал, что в Болгарии есть еще люди, которые верны своему долгу...

Новость о казни трех коммунистов мгновенно облетела гостиную. Танцы прекратились, парочки распались, гости задвигались, зажужжали. Мужчины, одобрительно кивая, делали вид, будто новость вовсе не такая уж сенсационная,— если суд делает свое дело, то и прокурор должен как следует выполнять свои служебные обязанности. Но дамы были заинтригованы неимоверно. Они суетились, хватали друг друга за руки и, широко раскрыв глаза, спрашивали: «Какой он? Где он? Когда их будут вешать?.. Значит, прямо отсюда и отдал приказ?..» Как же так? Среди них такой интересный мужчина, а они даже не подозревали об этом!.. Вон тот, напротив? Да он еще молодой! И красавец... Слегка волнистые волосы, матовая кожа... А какие выразительные глаза... Настоящий герой!.. Вон тот там... Вон он прислонился к стене... И какая скромность!..

Жены и дочери оптовых торговцев и предпринимателей толпились, вытягивая шеи, чтоб взглянуть на него, глаза у них сверкали от любопытства и удивления. Молодые девицы находили, что он гораздо обворожительнее

новоиспеченного юного капитана и привлекателен, как голливудский актер... А Йоргов и в самом деле стоял у стены и курил в картинной позе киногероя. Многие из молодых дам стали искать, через кого бы с ним познакомиться. Они окружили Лёли Каеву и с нескрываемой завистью расспрашивали, давно ли она его знает, сколько раз он бывал у них, выезжали ли они куда-нибудь вместе... Они узнали, как его зовут, повторяли наперебой его имя и даже разузнали, где он бывает. Но больше всего поразило их, что он, такой молодой, уже занимает пост главного прокурора, что он холост и родом из богатой, именитой семьи.

Йоргов не ожидал, что приказ о казни трех коммунистов — отданный, правда, при несколько необычных обстоятельствах, но тем не менее самый обычный приказ,— вызовет столь необычайный интерес. Он притворился, будто не замечает ажиотажа публики, а сам краем глаза и со все возраставшим волнением следил за тем, как все, в особенности дамы, толпятся, чтоб его разглядеть, и восхищенно указывают на него. Он видел, что Катя чрезвычайно довольна тем интересом, который проявляет к нему общество, и это радовало его еще больше.

— А их в самом деле повесят? — вытягивая круглую напудренную шейку, спрашивала какая-то молоденькая дама свою приятельницу. — Сегодня же ночью?.. Боже, как это интересно! — В голоске ее звучало то легкое недоверие, какое обычно бывает у детей, когда им пообещают что-нибудь забавное и интересное, а они никак не решаются в это поверить, пока не увидят собственными глазами.

Какая-то толстая, расплывшаяся, громко пыхтящая дама налетела на отставного генерала.

— Правда ли, что сегодня будут вешать трех коммунистов? — спросила она его так, будто он обязан был ей отчетом.

— Да, уж их там не погладят по шерстке! — пробормотал тот, вытирая белым шелковым платком потную шею. — Нечего церемониться со всякими изменниками отечества. Раз, и дело с концом.— И, снова оглядев Йоргова, тихо произнес, словно ни к кому не обращаясь: — Ей-богу, этот прокурор мне нравится. Браво...

— Вот и я говорю! — подскочил к нему Каев.— Нужны меры... Суровые меры! Иначе от этих коммунистов не оберешься бед...

— Да, да,— поддакнул молодой архитектор.— Говорят, их и с самолетов сбрасывают, и на подводных лодках доставляют.

— Ничего у них не выйдет,— успокоил их отставной генерал тоном человека, посвященного в тайны государственной безопасности. — Все будут уничтожены, до последнего.— И многозначительно добавил: — Но не в том дело... Плохо, что они компрометируют нас перед немцами.

— Почему же? — пожал узенькими плечиками Каов.— Разве мы с ними не справляемся?

— Справляемся, но... они сильно портят нам дело! — резко ответил отставной генерал.— Раздражают наших союзников, пробуждают в них недоверие к нам. И тем самым задерживают воссоединение Болгарии.

После того как все вопросы, связанные с повешением трех коммунистов, были всесторонне обсуждены и все вдосталь нагляделись на главного прокурора, гости снова отхлынули к бару. И снова завертелся патефон.

В указанное время машина, посланная начальником тюрьмы, прибыла. Шофер, которого допустили в гостиную и которому все уступали дорогу, лично доложился главному прокурору. Йоргов отошел от телефонного столика.

— Казнь состоится ровно в четыре часа,— сообщил он, ни к кому в отдельности не обращаясь, а на самом деле обращаясь к ней одной.— Прошу сверить часы.— Он произнес эти слова громко и значительно. И, поклонившись Хаваджиевой, проговорил: — Прошу вас, ровно в четыре часа поставьте мое любимое танго.

Она подняла на него глаза, прищурилась.

В знак того, что поняла.

II

Перевалило за полночь. Темные дворы-закоулки были погружены в мирный сон. Легкий прохладный ветерок рыскал в ветвях деревьев, глухо шурша сморщенной осенней листвой. Изредка где-нибудь за покривившейся дверью хлева хрюкнет поросенок, отзовутся откуда-то шумные вздохи коров. И, словно подчиняясь давнему бессмысленному, но непреложному повеленью, прокукарекают петухи. Но теперь, когда в поле все работы были завершены и никому больше не было нужды вставать спозаранку, люди уже не слушали их зов. Быть может,

только дед Цеко и бабушка Дара приподнимали головы с подушки, пытаясь уловить малейший шорох во дворе, любой звук в самых отдаленных уголках села. Старики спали в маленькой клетушке рядом с хлевом, и ночь напролет им было слышно, как с ожесточением чешутся волы и коровы, как шумно они ворочаются и стукаются о стену. Но сейчас не это привлекало их внимание. Они прислушивались к грохоту поездов, к пронзительным гудкам, долетавшим со станции. Дед Цеко моргал в темноте маленькими слезящимися глазками, не зная, вставать ли им или полежать еще немножко. Он ворочался, сопел и злился на жену, которая лежала, не двигаясь, сжавшись в комочек. Под конец, не выдержав, он ткнул ее локтем:

— Не пора, а?

Бабушка Дара села в постели, привычно подобрала свои седые, поредевшие косы.

— Почем я знаю? Кабы в поле — так оно чем раньше встанешь, тем лучше. А к поезду... не знаю... Часы там, у Тодора со снохой. Поди глянь...

— Часы! — пренебрежительно просопел дед Цеко. — Пустое это дело, часы ваши... Остановятся, да и собьют с толку. А поезд ждать не станет, уйдет и все. Поди догоняй его тогда.

— Нынче-то в тюрьму пускать будут, нет? — спросила бабушка Дара, хотя вот уже три дня в доме только о том и толковали.

— Говорят, будут,— проворчал старик и выругался. — Никакого порядку, уж какое счастье выпадет...

— А вдруг не пустят? — Старуха так и обмерла при этой мысли. — Покарай, господи, этих иродов треклятых!..

— Пустят, нет ли, а харчи беспременно возьмут! — рассердился старик.— Ванё ждет, там их небось впроголодь держат,— добавил он, тяжело слезая с постели.— Погоди, пойду их разбужу, а то еще проспят...

Старик стал одеваться, громко кряхтя, как будто каждое движение причиняло ему боль. Но вот за дверью послышались знакомые легкие шаги. Старик вытянул шею, удивленно раскрыл рот. «Тодор. Встал уже! — подумал он.— Должно, пора».

Пока старик копошился в темноте, словно не зная, для чего он поднялся в такую рань, бабушка Дара проворно слезла с постели, зябко повела плечами и вышла, на ходу поправляя платок.

— Ты что, мама? — Тодор увидел ее, несмотря на сумеречный свет, и она по голосу его поняла, что он все такой же подавленный, грустный, убитый, каким стал с того дня, когда Ванё приговорили к смерти. — Рано еще, спи.

— Уж какой тут сон,— ответила старуха, пытаясь своим тоном внушить сыну надежду на благополучный исход, хотя сама была в глубоком смятении и горе. — А коли так и так не сплю, хоть соберемся вовремя... Чем тут торчать, подождем на станции... Паровоз — он ведать не ведает, что у тебя приключилось и куда ты путь держишь, загудит и покатит дальше. — И она зашлепала в кладовку за горницей, где они держали в большом, грубо сколоченном шкафу хлеб и другую провизию и где в одном из отделений хранилась мука.

Старуха еще с вечера испекла пирог и собрала в узелок кой-какие гостинцы для внука. От себя, можно сказать, отрывали, последним куском делились, лишь бы ему послать. Продали все, что только можно было. С того дня, как влип парнишка во цвете лет, ничегошеньки — ни для себя, ни в дом — больше не покупали. Дрожали над каждым грошом, и что бы кто ни заработал, все уходило в тюрьму. Да и до обновок ли было теперь! С тех пор как Ивану вынесли смертный приговор, все в доме пошло вверх дном, запустение такое, словно он нежилой. Одна бабушка Дара держалась так, будто ничего плохого не случится, но никто, кроме нее самой, не знал, чего ей это стоило. Сердце сжалось в комок от боли и не отпускало. И втайне от всех старуха молила бога спасти внука. Кусок не шел ей в горло, по ночам подушка была мокрой от беззвучных слез, но на людях она раскисать себе не давала и старалась всех подбодрить.

Куна, сноха, та совсем плоха стала. Последнее время, недели две уже, она еле волочила ноги, а по большей части лежала ничком и громко стонала. Она расхворалась сразу же после того, как Ивана присудили к смерти. Потом, уверенная, что смертный приговор отменят, что Ванё помилуют, она немного оправилась. А в последние дни опять сдала, ослабела, отчаялась. Тодор видел, что она тает, но не знал, как быть, чем ее утешить. Хотя все, что нужно, было давным-давно сделано, она то и дело приставала к мужу, умоляя съездить еще разок к адвокатам и в суд, похлопотать, чтоб сыну отменили приговор. Пусть

хоть на всю жизнь заточат в тюрьму, только бы знать, что он жив, только бы сохранить надежду, что в один прекрасный день она снова увидит его, приласкает, порадуется, на него глядючи. Ей все мерещилось, что Ванё осудили на смерть по ошибке,— ведь не столь уж велика его вина, ведь никого он не убил, за что ж его вешать? Ну, перерезал телефонный провод, поджег стог сена — пускай отсидит за это в тюрьме. Они все свое добро продадут, но заплатят и за провод и за сено, будут отрабатывать, покуда живы... Только б не погубили сыночка, жизни не лишили... Ей казалось, что люди, которые его осудили, не такие уж злодеи. Правда, когда рассматривалось дело, они сидели сердитые, хмурые, но ведь судьям и полагается быть сердитыми. Иначе какие же они судьи! И другие — те, от кого зависит помиловать ее сына, они тоже люди, и ежели им толком объяснить, они поймут, что ошиблись. И Тодорица корила мужа,— мол, не сумел нанять лучших адвокатов, мало ходит по судам и прошение о помиловании написано не так, как следовало бы...

Она требовала, чтоб ее отвезли в Софию и проводили к царскому дворцу. А там она уж сама проберется внутрь, бросится царю в ноги. Она упросит стражу — небось тоже сердце есть, поймут. А если не впустят ее к царю, будет стоять у ворот, дожидаться, покуда он сам не проедет мимо. Она упросит его, разжалобит. Он войдет в ее положение, смилуется и прикажет помиловать ее Ванё.

Тодор кротко и терпеливо втолковывал ей, что все, что только можно по закону, все, что в их силах, уже сделано. Но Куна не верила мужу. «Он человек неученый,— рассуждала она про себя,— хитрости в нем нету, его всяк проведет, только деньги возьмут, и все... Да и не жалеет он дитя свое родное, мужское сердце черствое...»

Не оставляла она в покое и свекра. То и дело донимала просьбами написать царю, рассказать — вот, дескать, во всех войнах участвовал, два раза раненный, крест имеет за храбрость, и за это должны теперь помиловать его внука. Однажды Куна как бы ожила — надумала собрать по селу подписи и отослать судьям,— пускай увидят, что парень у нее смирный, добрый, сроду никого в селе не обидел. Такие подписи собирали, когда уволили учителя Панайотова. Она еле дождалась прихода мужа и, торопясь, задыхаясь, сообщила ему спасительную эту мысль, но он остался равнодушным, помолчал, почесал лоб

и сказал, что подписи эти без толку, потому что суд осудил Ивана не за то, что он плох, а за то, что коммунист...

В будни Куна, с трудом передвигая ноги, делала койчего по хозяйству, и хотя день-деньской не осушала глаз, вечер подступал как-то незаметно. В такие дни и люди казались ей словно бы более близкими, душевными. Куда тяжелее бывало ей в праздники. В праздники людей словно подменяли. Они становились далекими, холодными, равнодушными. Гордо проходили мимо их дома, казалось, говоря: «Чего ваш сын добивался, то и получил!» Попраздничному разодетые парни и девушки напоминали ей о хороших днях, когда и ее сынок, нарядный и веселый, шел на гулянку. И сердце разрывалось от невыразимой, щемящей тоски. Веселые крики парней, переливчатый смех и шутки девчат разрывали ей душу. И она старалась забиться куда-нибудь подальше от всех. Обычно она пряталась у себя в комнате и, приткнувшись возле сундука, где хранились среди прочего и вещи Ивана, рвала на себе волосы и оплакивала его, как покойника. Бывало, что после таких приступов отчаяния она поднимала голову со сбившимися косами, и заплаканное ее лицо вдруг прояснялось,— нет, не повесят они сына, он ведь еще такой молодой! И не какой-нибудь он там ученый, известный человек, чтоб уж так строго к нему подходить. Знают же, что по молодости это, неразумию, и помилуют... Ведь совсем еще ребенок, ну ошибся, так исправится... И, отдавшись мечте, она представляла себе, как суровые судьи призывают ее, чтоб она поклялась вперед удерживать сына от подобных занятий... Она клянется, а те кивают головой, верят ей...

После того как Ивана осудили на смерть, она об остальных своих детях словно и позабыла. Денчо отправили в концлагерь, но он писал оттуда, что жив-здоров,— чего ж о нем думать? Дочь замужем за железнодорожником, живет при станции. Время от времени навещает родителей, но до того занята своим грудным младенцем, что о брате вроде и не очень беспокоится. Зять наведывался к ним еще реже. Но он всегда ее ободрял. Э, кабы всех, кого присудили к смерти, вешали, говорил он, так уж сколько людей было бы на том свете! А на поверку приговор прочитают, потерзают людей, помучают, а потом и помилуют. Зять приходил как раз накануне вечером. И на этот раз был веселей и оживленней обычного. Так как он все время ездил, а в Софии иной раз виделся

с большими людьми, то всегда привозил какую-нибудь интересную новость. Положение, по секрету сообщил он, теперь сильно улучшилось. Русские окружили немцев под Сталинградом и скоро перебьют их до последнего. Наше правительство в большом беспокойстве и собирается не только помиловать всех осужденных на смертную казнь, но даже вообще дать им амнистию. Один инженер сказал начальнику станции, что Красная Армия быстро наступает. И по радио тоже о том говорили. Люди даже примечают, что на софийском вокзале поприбавилось немецкого багажу, — отправляют их, немцев-то, на Восточный фронт, не хватает у них силенок русских остановить. При таком положении дел, сказал зять в заключение, наши фашисты еще хорошенько подумают, прежде чем вздернуть кого-нибудь на виселицу. Теперь всем приговоренным к смерти непременно выйдет помилование, в этом и сомнения нет.

Пока зять сидел рядом и рассказывал ей такие приятные новости, Куне немного полегчало. Но после его ухода черные мысли опять зашевелились в голове, и она снова пала духом. Россия ведь далеко, и пока Красная Армия дойдет сюда, фашисты могут погубить ее сына. К вечеру пришел Тодор и подтвердил, что немцы под Сталинградом окружены. В корчме, в закусочной только и разговору что об этом.

Свидания с приговоренными к смерти давали редко и нерегулярно. По правилам, пускали раз в месяц. Но по произволу тюремного начальства тех, кто приходил на свидание со «смертниками», иногда отправляли обратно. И тогда несчастные родители, братья, сестры и близкие осужденных оставляли узелки с принесенной едой и уныло возвращались домой. И только чуточку успокаивало их то, что хоть передачу-то приняли. А вдруг когда-нибудь и ее вернут?

С письмами дело тоже обстояло плохо. За все время они получили от Ивана лишь две маленьких открыточки — всего несколько строчек. Две недели тому назад какой-то незнакомый человек принес Тодору длинное письмо — кому-то из заключенных удалось тайком вынести из тюрьмы. Они долго утешались этим письмом. Иван писал, что живут хорошо, все живы-здоровы и надеются, что смертный приговор заменят пожизненным заключением. Подробно описывал, сколько раз в день и чем их кормят, как выводят на прогулку и какие они шутки выдумыва-

ют, чтобы время проходило быстрее. Писал, чтоб не печалились за него, потому что печалься не печалься, а чему быть — того не миновать. Все, что они могли для него сделать, они сделали.

Эти последние слова растревожили Куну, расстроили. Несколько дней и ночей она так плакала, словно Ивана уже и впрямь нет в живых. Но потом, когда потянулись один за другим обычные дни с наведением справок о заключенных, с ожиданием писем, с хлопотами о свидании, к ней вернулась прежняя безмолвная грусть.

В конце письма Иван посылал всем приветы и говорил, что не сожалеет ни о чем, кроме того, что много дней потратил впустую, не ценил время, и если выйдет из тюрьмы цел и невредим, то теперь уж будет знать, как надо жить на свете.

— Так, так,— одобрительно кивала бабушка Дара.— Пусть выбросит из головы проклятую свою политику и живет, как все люди...

— Да вовсе он не о том, мать,— поправил ее Тодор. — Он хочет, если выйдет на волю, еще пуще уйти в политику...

Старуха поглядела на него в изумлении.

— Боже милостивый,— перекрестилась она,— неужто ему мало того, что случилось? Неужто не взялся еще за ум?

Дни, когда разрешали свидания обыкновенным заключенным, а передачи принимали для всех, были для Куны самыми тяжелыми и тревожными. Она места себе не находила и то и дело вглядывалась в даль — не идет ли Тодор, и какой он возвращается — уж не убитый ли горем, уж не везет ли обратно передачу; либо вид у него спокойный и в руках мелкие покупки для дома.

В дни, когда принимали передачи, Тодор тоже был сам не свой, ноги отнимались, голова шла кругом от страшных мыслей, предположений, предчувствий. Пока доберется до места, пока примут передачу да пока вынесут квитанцию с подписью Ивана, он задыхался от волнения, и сердце, казалось, останавливалось. Равнодушные надзиратели медлили с приемом передач, и эти минуты бывали самыми страшными. Ноги подкашивались, рябило в глазах. Выходя из приемной, он смотрел на холодные каменные стены тюрьмы, взглядывал исподтишка на зловещие вышки по углам, где стояла стража, и спрашивал себя —как, с какой вестью в следующий раз выйдет он

из этих выщербленных дверей, в которые входили и выходили тысячи и тысячи людей и перед которыми всегда толпилось в ожидании множество мужчин и женщин... Тодор старался успокоиться, не думать о самом страшном, но мысль упорно возвращалась к тюрьме и тюремной камере...

Иногда в памяти непрошено всплывало одно мрачное воспоминание. Было это в Македонии в первую мировую войну. Пригнали их присутствовать при расстреле. Трое солдат были прикручены к трем колам. Трое обыкновенных, простых солдат. Тощие их тела дрожали от холода. Перед столбами был выстроен взвод их же товарищей с заряженными винтовками. Послышалась команда, раздался залп, и Тодор зажмурился, а когда открыл глаза, три тела уже висели на столбах. Как все это было просто и как страшно! Потому и страшно, что просто. У расстрелянных были родные, близкие, которые в этот момент ни о чем не подозревали и тешили себя надеждой, что в один прекрасный день увидят и обнимут их... С годами страшная картина расстрела «в назиданье остальным» побледнела и постепенно стерлась из памяти. До прошлого года Тодор вроде бы больше и не вспоминал о ней. Но с тех пор, как сына приговорили к смерти, ужас, испытанный при расстреле солдат, вновь выплыл из глубин сознания. И тщетно пытался он не думать о повисших на кольях телах, по которым пробегала дрожь, словно им еще было холодно. Это воспоминание до того одолевало Тодора и он так настойчиво пытался его отогнать, что иной раз пойдет за чем-нибудь в погреб, а глядь, забрел вовсе в хлев. И только когда волы, переступая с ноги на ногу, уставятся на него своими большими влажными глазами, он придет в себя и поспешно повернет назад...

Иногда, правда, приходили ему на ум мысли и более обнадеживающие. Немцев на востоке остановили. Красная Армия уже начала оттеснять их, перешла в наступление. А теперь вот целую немецкую армию взяли под Сталинградом в окружение. Ежели эту армию разгромят, тогда и в Болгарии задуют иные ветры. Только бы не успели до той поры привести приговор в исполнение. «А, собственно, зачем его приводить-то? — утешал сам себя Тодор. — Кто они такие,— что Иван, что его дружки? Простые деревенские парни, не заводилы какие-нибудь или видные коммунисты. Да и вреда особенного они не причинили — кабель разрезали и несколько стогов сена

подожгли,— велика беда! Должно, подержат их еще немного в камере смертников и, как увидят, куда клонится дело, заменят пожизненным заключением, а там и вовсе выпустят... Да и эти бандиты в управлении — небось не век им там сидеть... Конец не за горами, скоро они получат свое... Только бы ребята живы остались... Верно говорится: «Горька неволя, а все лучше смерти — там хоть надежда есть».

То погружаясь в тяжкие думы, то теша себя надеждой на благополучный исход, Тодор бродил по дому точно потерянный. Иной раз принимался громко, в голос, разговаривать сам с собой, а когда к нему обращались, не сразу понимал, в чем дело, и все поглядывал на входную дверь. Все казалось ему, что вот сейчас кто-то войдет, принесет какую-то важную весть...

По утрам он с нетерпением ждал газет. Покупал все, какие только были, и, бледный, как мел, дрожащими руками разворачивал большие шелестящие страницы. Лихорадочным взглядом пробегал заголовки, заметки о происшествиях, судебную хронику. Иногда там сухо и безразлично сообщалось о приведенных в исполнение приговорах. Потом, вернувшись домой, он проглядывал все газеты, столбец за столбцом, и только тогда немного успокаивался — до следующего утра. Куна, не понимавшая, для чего муж накупает этакую прорву газет (он не говорил ей, зачем часами сидит над ними, что выискивает), часто укоряла его:

— Эх, Тодор, Тодор! Нету у тебя сердца! У нас крыша над головой горит, а ты газетки почитываешь.

А он боялся признаться, что заставляет его так прилежно читать все эти газеты. И молчал.

Тодор покружил по двору, заглянул в кладовку. Мать и Куна давно уже все приготовили, уложили, но продолжали еще суетиться и хлопотать, чтоб за работой немного отвлечься. По многу раз перекладывали с места на место одну и ту же вещь, спрашивали друг у друга, что уже положено в узелок; развязывали, проверяли, все ли на месте, и каждый раз совали еще что-нибудь. Вынут из узла хлеб, положат в сторонку, а вложить позабудут, и опять разворачивают, развязывают узел,—такая бестолковщина, что даже дед Цеко выходил из себя, на это глядя. Он обычно вертелся возле, наблюдал за ними, но рта не раскрывал. И только оставшись один, опасливо оглядевшись вокруг, давал выход горю и глухо говорил:

— Ох, подкосили нас! Ох, погубили, разрази их господь!

Но когда женщины начинали плакать, он сурово им выговаривал:

— Будет вам! Простят их, помилуют. Не видите, что ль, дело-то пустяковое... Такие уж сейчас времена — подержат за решеткой, да и выпустят...

— Скоро Германии конец,— сказал Тодор, когда старик в который раз принялся утешать женщин.— А с ней заодно сгинут и наши бандиты.— Тодор был полон глубокой веры в будущее, но невольно оглянулся — не слышит ли его кто чужой.

Дед Цеко метнул в него хмурый взгляд.

— Ты...— он запнулся и махнул в его сторону рукой,— такие слова... даже перед своими произносить не смей... Не приведи господь, дойдет до их ушей и... Ведь дите твое у них в руках!..

— Э... больно он думает о своем дитяти! — подхватила Куна, воспользовавшись случаем укорить мужа.— Уткнется носом в газеты и сидит, шагу не сделает, чтоб вызволить парня.

Тодор от обиды только рукой махнул. Не мог же он объяснить ей, для чего читает газеты, а она, дурья башка, как завела одну песню, так только ее и знает.

— Только б в живых его оставили, сиротинушку! — бормотала бабушка Дара, встревоженно глядя на них.

После таких разговоров в доме обычно наступало смертельное уныние. И теперь тоже Куна забилась в угол и заплакала-заскулила. Временами плач переходил в протяжный и страшный вой. Старик вывел сына за порог и принялся бранить:

— Молчал бы лучше! Погубишь бабу. Зачем такие слова говорить... Эх ты! До старости дожил, а ума не нажил...

— А что я сказал? — оправдывался Тодор.— Я только дома... Кому тут услыхать?..

Хотя дед Цеко и старался всех подбодрить, сам он дрожал от страха, как бы внука в самом деле не повесили. Он прошел через три войны, в политике кое-что смыслил, понимал, в какое время живет, и знал, что суд в таких случаях шутить не любит. По ночам он стонал и ворочался в постели, часами не мог сомкнуть глаз. Днем, успокоив немного домашних, он пробирался в хлев якобы затем, чтоб присмотреть за скотиной, а сам садился куда-

нибудь в уголок и, подавленный, ослабевший, убитый горем, долго сидел там, горестно покачивая головой и глухо, тяжело вздыхая. Волы время от времени кротко поглядывали на него своими большими светлыми глазами, словно дивясь его одиночеству. Старик глубоко вдыхал теплый аромат прелой соломы, острые запахи хлева, и то, среди чего он прожил всю жизнь, вливало в него какую-то неведомую силу. Он тощал день ото дня, лицо все больше сморщивалось, редкие волосы над ушами совсем побелели. Тело словно с каждым днем усыхало, но от этого он становился только живей и неутомимей. Дед Цеко умудрялся быть всюду, где мог понадобиться,— толковый, разумный, предусмотрительный.

И только в канун тех дней, когда принимали передачи или давали разрешение на свидания со «смертниками», он становился беспокойным, места себе не находил. Все ему казалось, что они сделают что-то не так, опоздают на поезд и Иван будет напрасно дожидаться передачи. А уж чем их кормили там, в тюрьме, старик судил по тому, что даже здесь, в селе, хлеб пекли с отрубями,— часу не пройдет, а уж он кислый. На рынке ни маслица, ни сальца не сыскать... Без передач из дому парень помрет, даже если выйдет ему помилование.

В тот день, когда предстояло ехать в город, дед Цеко уже спозаранку дрожал от страха, что они провозятся и опоздают на поезд.

— Остальные-то готовы? — спрашивал он Тодора.

Тодор бормотал что-то в ответ, ему не хотелось говорить.

— Поди поторопи их,— настаивал отец.

Тодор, для которого каждая минута в эти часы тоже казалась вечностью, отвечал, что времени еще полно и пусть он не лезет не в свое дело, а это очень сердило старика.

— Иди, говорят тебе, поторопи! — настаивал тот.— Небось ноги не переломятся...

Тодору и самому было невтерпеж оставаться дома, слушать, как женщины всхлипывают, завязывая сверток с передачей, но и шататься ни свет ни заря по селу тоже не хотелось. И чего ходить торопить, что он им — нянька, что ли? Сами небось не маленькие...

Но старик не оставлял его в покое. И под конец Тодор нехотя, медленно выбрался на темную, пустынную и холодную улицу.

Прежде всего он зашел к Ило Митовскому. Толкнув скособоченную плетеную калитку, он вошел в темный тихий дворик. В глубине притулился горбатый старый домишко, в одном из окошек которого уже горел свет. Тусклый, мерцающий огонек не поднимался выше стрехи и бессильно таял в густом мраке. Откуда-то выскочила маленькая собачонка и с отчаянным лаем бросилась на Тодора, но так как это не произвело на него впечатления, она умолкла, попятилась, потом нерешительно подошла, ткнулась мордой ему в ноги и завиляла хвостом. Тодор постучал в окошко. Серая занавеска отодвинулась, и в окне показалась сонная, нечесаная Иловица. Она знала, что в этот день и час Тодор Проев обычно заходит за ними, чтоб их поторопить, а все же не была уверена, что это он. Он нагнулся, окликнул ее, велел поскорей собираться и повернулся было уходить, но Иловица отворила окошко и крикнула, чтоб погодил.

— Поди-ка сюда, не торопись! — позвала она.— Ило поговорить хочет.

— Ну, не теперь же... в этакую рань...— с досадой пробормотал Тодор, зная, что опять начнутся ахи да охи. Однако, делать нечего, остановился.

Ило вышел во двор. Это был человек седой и морщинистый не по годам, суровый, хмурый, скупой на слова. Он, видно, только что вылез из постели и зябко кутался в старое пальто из грубого домотканого сукна. Ило попросил Тодора захватить в Софию посылочку для его Бориса — немного еды и чистую рубаху. Не бог весть какая тяжесть,— притом они принесут сверток прямо в вагон. Неизвестно, сказал он, дадут сегодня свидание или нет, а коли и дадут, так у них в Софии есть родные — сходят, проведают Бориса. Не все ли равно? Коли нет уверенности, что к сыну пустят, не к чему и ехать, деньги переводить. В Софии жили двое его старших сыновей.

— Вы заезжайте к Стояну,— советовал Ило.— И передохнете малость, и переждете время, как в тюрьму идти. Вместе и разрешение на свидание выхлопочете.

Тодор смекнул — так даже лучше будет. Может, Стоянчо сам сходит за разрешением, а они тем временем отдохнут. А то пришлось бы на вокзале перемогаться.

В окне снова показалась Иловица. Она крикнула, что все готово, сию минуту вынесет. Но Тодор сказал, что зайдет еще к Милановым, а на обратном пути захватит посылку,— незачем Ило тащиться на станцию. Ило одоб-

рительно хмыкнул и пошел в дом. Коли так, нечего тут больше прохлаждаться. В дверях кухоньки, где Иловица складывала в старую плетеную кошелку передачу для сына, Ило увидел сноху. Не сумев укачать ребенка, разбуженного неурочным шумом в доме, и услыхав во дворе голоса, она подхватила младенца и прибежала узнать, в чем дело. Ей так хотелось самой поехать в Софию! Может, нынче дадут свидание. А не дадут, так она пойдет с деверем к прокурору, попросит. Одно только свидание — ну что в этом такого? Но свекор не пускал ее в город. «Может, его и не будет, свидания-то,— хмуро говорил он,— только деньги на ветер бросать. На поезд, на трамвай, туда, сюда, глядишь, и двумя сотнями не обернешься»,— высчитывал он, сумрачный, холодный. Она знала, о чем думал свекор в этот момент. О том, что дело Бориса уже и так обошлось в сорок тысяч левов. А это сумма нешуточная. Человек он небогатый, откуда их взять, этакую прорву! Один лишь адвокат содрал двадцать пять тысяч. И не грех так, до последней нитки обирать? Мошенник. У него, мол, влияние, связи, шибко, мол, образованный, со всеми судьями знаком, с прокурорами — друг-приятель. Так-то распинался, обещал все уладить и, уж во всяком случае, жизнь парню отхлопотать. А на поверку... И деньги пропали, и... Словом, после того как ухлопали такую уйму деньжищ, Ило больше не давал ни единого лева. Нравом стал еще круче и несговорчивей. И уж если он в чем отказал, никто не смел попросить еще раз. «Только зря разводить волынку»,— ворчал он сердито и глухо, словно про себя. Да и, правду сказать, взять ему было больше неоткуда. Все, что можно было продать, он уже продал и в долги залез.

Сноха взяла у матери пятьсот левов, но не решалась признаться, что у нее есть свои деньги. Если свекор проведает, рассердится. И поэтому она только умоляла отпустить ее повидаться с мужем, а о деньгах и не заикалась...

Из маленького чуланчика, где было темно и тесно, как в могиле, раздался голос бабушки Станы. Старуха уже несколько лет жаловалась на ноги, а как присудили Бориса к смерти, то и совсем занемогла. И вот уж с месяц лежала в лежку и стонала, всеми забытая и заброшенная. Кому-нибудь бы поддержать ее, помочь подняться, да некому. У всех в доме хлопот полон рот, все суетятся, вздыхают, плачут, ссорятся, проклинают все на свете.

Только когда засыпал маленький Илчо, его мать, улучив минутку, пробиралась в чуланчик к бабушке и безутешно рыдала у нее на груди. Старуха уговаривала ее уповать на доброту людей, от которых зависела участь Бориса, и на милость божью. Но сноха не верила в пустую болтовню. Знала, что война становится все ожесточенней, и все надежды возлагала только на Красную Армию. Если Красная Армия перейдет в наступление, фашистские правители испугаются и отменят казни. Вот вчера она услыхала, что советские войска окружили немцев под Сталинградом. И до того ей хотелось повидаться с Борисом, хоть пальцем коснуться его через решетку и сообщить радостную весть — беззвучно, одним движением губ. Но свекор упорный, не подступись...

Чуть раздастся в доме малейший шум, чуть скрипнет дверь — бабушка Стана просыпалась, настораживалась. И в это утро она слышала шаги и голоса, понимала, что пришел кто-то посторонний, и тяжко страдала из-за того, что нет у нее сил подняться и посмотреть, что происходит.

— Найда, кто это там пришел, девонька, а? — окликнула она молодую сноху. И так как та не отозвалась, бабушка Стана подумала, что это Иловица, и позвала ее.— Кто это там, а? Вела! — Ребенок заплакал. Он было задремал на руках у матери, но крики и громкий говор снова разбудили его, и он зашевелился, расхныкался.— Найда, ты это, внученька? — умоляюще звала бабушка Стана.

— Я, бабушка, я,— показалась в дверях Найда.— Чтоб ему пусто было! — ругалась она, сердясь неизвестно на кого.— Тодор Проев приходил, провалиться б ему в тартарары! Напомнить пришел, будто мы сами не знаем, какой нынче день... И отец сказал, раз уж он все равно едет, чтобы заодно отвез провизию Боре и рубаху...

— А Ило сам-то разве не поедет? — удивленно и жалостливо поглядела на нее бабушка Стана.

— Нет,— сквозь глухие рыдания ответила Найда. Услыхав предостерегающий, укоризненный вздох старухи, она рухнула на колени и, придерживая одной рукой ребенка, положила голову ей на грудь.— Бабушка,— простонала она тихо, но с такой мольбой, что старуха ласково погладила ее по голове,— скажи ему, чтоб отпустил меня в город... Попроси, чтоб и мне тоже поехать. Тебя-то

он слушает... Тебе он никогда слова поперек не скажет... А денег мне от него не надо, бабушка, миленькая, у меня свои есть... Скажешь ему, бабушка, скажешь?

— Скажу, милая, отчего не сказать, по послушает ли, злодей этакий... Видишь, вон какой ходит. Мрачнее тучи... Тю-ю! И с чего оп такой сделался! Кабы я не обезножела, уж я бы ему показала, а так-то... Хоть бы господь поскорей прибрал меня к себе, хватит мне горе мыкать...

— Уж замолвь словечко, бабушка,— просила Найда, прижимаясь к пей, а рукой придерживая плачущего ребенка.— Тебя-то он послушает...

Бабушка Стана обещала потолковать с сыном, отругать за черствое его сердце. Долго, протяжно звала она сына из темного чуланчика, но Ило не отзывался. И старуха принялась снова проклинать сына.

Такой уж он с малых лет — немногословный, жесткий, замкнутый, всегда думает о чем-то своем, упрямый как баран. Характером-то не вредный, зла на людей не держал, но в селе его побаивались. И уважали. Человек он был рассудительный, говорил всегда дельно, умно. Местные богатеи, свысока относившиеся к хозяевам победнее, не осмеливались выказывать ему неуважение. Никогда ни к кому он не подольщался, ничего ни у кого не просил, знал свое место и работал не покладая рук. Он рано лишился отца, и потому довелось ему хлебнуть батрацкой похлебки, жил какое-то время с отчимом, ходил на заработки с мастерами-каменщиками. Он был старателен и честолюбив, вынослив и крепок, и ему поручали работу, которая не соответствовала ни годам его, ни оплате. А он никакой работы не гнушался, ни перед чем не отступал. В спор зря не лез, но терпеть не мог, когда кто-нибудь ловчил и старался переложить на него свою работу. Друзьям он был друг, недругам — недруг, с честными людьми — честен и хорош. На обещания скуп, но коль скоро пообещает, то исполнит на совесть и в срок.

Двадцати лет он, по настоянию матери, женился. Мать хотела, чтоб, когда возьмут его в солдаты, остался с ней в доме родной человек. Она опасалась, что если он холостым отслужит службу, то потом уедет куда-нибудь и уж домой тогда не жди. Потому что, обычно такой немногословный, сын то и дело заводил разговор о том, как бы хорошо махнуть годика на два, на три в Америку. Вернулся бы оттуда богачом, и зажили б тогда совсем по-

иному. Женившись, он об Америке поговаривать перестал, но все прикидывал, как бы заработать побольше деньжат, чтоб жить лучше. Была у него думка: после армии, отслужив сокращенный срок, подыскать работу в Софии. Но спустя несколько месяцев после того, как он вернулся со службы, грянула Балканская война. Вплоть до 1918 года он знал лишь казармы, походы да поля сражений. А когда возвратился в родное село, то оказался главою большого, в пять ртов, семейства, совершенно захиревшего без прежнего подспорья — его заработков каменщика. Деньги потеряли цену, люди глядели друг на друга волком, потому что одних война разорила дотла, и они требовали возмездия и справедливости, другие же за это время разбогатели и готовы были ногтями и зубами защищать то, что успели награбить, сидя в тылу. Появилось много новых богатеев, поговаривали даже, что есть и миллионеры. На рыночной площади вырастали новые здания, открывались лавки и корчмы. Центр села, в особенности та часть, что ближе к станции, уже напоминала небольшой городок.

Вскоре после того, как кончилась война, родился уИло еще один сын — Борис. Надо было кормить уже шесть ртов. А килограмм пшеницы подскочил до пятнадцати левов. Каких только занятий не перепробовал Ило, как только голову себе не ломал! В 1923 году, во время сентябрьских событий, его арестовали как коммуниста и продержали в тюрьме. В апреле 1925 года была раскрыта подпольная группа. К этой группе имел отношение и он. Его снова взяли, избили в полиции, отдали под суд вместе с остальными товарищами и осудили. В тюрьме он просидел целый год.

Ило, с виду холодный и необщительный, любил помечтать о будущем. Сидя в одиночестве в минуты отдыха или вечером после работы, посасывая короткий деревянный мундштук, он размышлял о том времени, когда на земле восторжествует социализм. Тогда люди не станут грызться, как собаки, за кусок хлеба, тогда все будут сытые, добрые, трудолюбивые. Как будет устроена жизнь и где окажется он сам, коли доживет до тех дней, какое место будет отведено для таких, как он?

Ило не был скуп, но деньги ценить умел, потому что всю жизнь воевал с нуждой. Детям редко когда перепадала от него монетка на гостинец. «Пускай не приучаются!» — строго ронял он, когда мать просила за них. И так

как он стоял на своем и не произносил больше ни слова, она только руками разводила: «Характер!»

Но когда однажды Борис открыл ему по секрету, что партийная группа проводит сбор денег, потому что нужны средства для ведения более организованной борьбы,Ило, только что выручивший некоторую сумму за картофель, разделил деньги пополам и не моргнув глазом протянул половину сыну.

Борис посмотрел на толстую пачку.

— Неужто столько? — изумился он.

— Для партии и этого мало,— сухо ответилИло и отошел, чтоб положить конец разговору.

Плотник, каменщик, землекоп, грузчик, он всегда был на самой тяжелой, выматывающей силы работе. Два небольших его участка в поле и крохотный огородик обрабатывали мать, жена и дети. Ило привык к тяжелому физическому труду и даже гордился тем, что всю жизнь занимался именно таким трудом. Не в пример другим, он не просиживал вечера в корчме, не имел привычки, как говорится, прополаскивать горло ракийкой. Но раз или два в год по какому-нибудь особому случаю Ило напивался до бесчувствия. Бывало это обычно после целого дня тяжелой работы. Домой возвращался он далеко за полночь, поднимал всех на ноги, чтоб ублажали его, прислуживали, глядел зверем, отчаянно размахивал руками и осипшим голосом кричал:

— Проклятая жизнь! Спалил бы все на свете к чертовой матери!

Так твердил он до тех пор, пока, выбившись окончательно из сил, не заваливался на постель и не засыпал мертвым сном. Спал он долго, будто разом отсыпаясь за все ночи и дни. А наутро, протрезвев, стыдился смотреть матери и жене в глаза, а если они ненароком спрашивали его о чем-нибудь, что и отношения никакого не имело к вчерашнему, он, потупившись, говорил:

— Хорош же я был!.. Ну, да с кем не бывает...

Детям он предоставлял полную свободу. И хотя был с ними строг, ни разу пальцем не тронул. «Учи умом, а не кнутом,— говорил он.— Скотина и та доброго слова послушается, а уж дите и вовсе».

Старшие сыновья нанялись на работу в Софии. Там и осели, обзавелись семьями. Дома, в селе, остался один Борис. Борис увлекался механикой, электротехникой, а летом помогал женщинам управляться в поле и на

огороде. Последние годы они и на обоих своих участках, и в огороде сажали картофель, и часть урожая шла на продажу. Варили и по нескольку бочек сливовой водки — так что кое-какие денежки перепадали.

Ило, человек умный, приметливый, понимал, что Борис все больше уходит в политическую борьбу, но ни разу даже не заикнулся об этом, не сделал ни единой попытки остановить его, отговорить. «Парень на правильной дороге,— говорил он себе. — Такие, как он, и изменят жизнь на земле». И когда сына арестовали, даже не охнул ни разу, хоть и знал, что приговор может быть суровым. А после того как приговор был вынесен, он, единственный из родственников осужденных, не поддался панике, не бросился вымаливать царскую милость. Вообще-то хлопотал немало, пожалуй, даже больше других, чтоб обеспечить сыну хорошую защиту и облегчить его участь. Он знал, что борьба обострилась до предела, время тяжелое и смертный приговор вынесли потому, что такова политическая обстановка. Прежде за гораздо более тяжкие провинности давали двенадцать лет или в крайнем случае приговаривали к пожизненному заключению.

Вернувшись после суда домой, глядя, как голосят, заходятся в крике женщины, он сказал:

— Ничего не попишешь, это бой, а в бою противник тоже стреляет — значит, кому-то нужно погибнуть.

Но, несмотря на внешнее спокойствие, невозмутимость, несмотря на все свое благоразумие и суровость, с того дня, как Бориса осудили на смерть, Ило словно бы ссохся, лицо осунулось, сморщилось, глаза ввалились, глядели особенно строго. Он одинаково любил всех своих детей и одинаково обо всех заботился, но где-то в глубине его души таилось особенно теплое чувство к Борису. Младший сын казался ему таким, каким он сам хотел быть в молодые годы: смышленый, самостоятельный, умелый, разбирается в политике. Конечно, время сейчас такое, само наводит бедняцкую молодежь на правильный путь, но все же Борис и складом характера был именно таким, каким отец хотел его видеть.

После того как стал известен приговор, Ило часто садился где-нибудь в дальнем уголке двора, машинально курил, привычно выпуская густые клубы табачного дыма, и думал о младшем сыне. Изболелась за него душа, жаль было парня, и он бы с радостью согласился пойти вместо сына и в тюрьму и на виселицу. Ило знал, что Борис

нужнее для дела, для партии, для борьбы. Он и сейчас с охотой бы его заменил, насколько б хватило сил, с охотой стал бы помогать тем, которые продолжали дело сына, но они не обращались к нему, не просили у него подмоги. И это его очень огорчало. Выходит, он уже лишний... Попробовал он было сам отыскать тех, кто заменил арестованных коммунистов, но либо он не туда толкался, либо те боялись ему открыться, только каждый раз он натыкался на глухую стену... А что работа не прекращалась, было видно хотя бы по тому, что полиция разыскивала еще одного парня, да не тут-то было. Он выскользнул у них из-под самого носа, ушел в подполье. Кабы установить с ним связь, Ило дал бы ему приют, кормил бы и помогал во всем. Но тот не показывался. Отчего?

Ило засыпал поздно, просыпался рано. Но вставал не сразу, а глядел на темные стены комнаты, и какие только мысли не роились у него в голове!

Жене иной раз хотелось спросить его, как обстоят дела с Борисом, она мечтала услыхать хоть слово утешения, но, зная прямоту Ило, его привычку выкладывать все, как есть, она не решалась начать разговор. Дня за два до того она робко заикнулась,— мол, поговаривают о помиловании.

— Что-то не верится,— холодно бросил Ило. И пояснил: — На Восточном фронте немцы терпят поражение, здесь народ поднимает голову, и наши фашисты обязательно должны отправить кого-то на виселицу, чтоб показать свою силу.

Вела зажмурилась, точно ее обухом по голове ударили. Пошатнулась, привалилась к косяку двери. «Должны отправить кого-то на виселицу!..» Как он это сказал! Весь день и всю ночь страшные эти слова огнем жгли ей мозг. Мог бы он быть помягче, позаботливей, как иные мужья, но она и таким любила и почитала его. За что любила, отчего прощала и суровость, и жесткость, и замкнутость — этого она и сама толком не знала.

Вела вышла замуж не по любви. Жених не был ни хорош собой, ни так уж на виду, да и небогат. А она, хоть из бедной семьи, была не из последних невест в деревне. Но мать уговорила ее пойти за него. Единственный сын, все хозяйство ему одному достанется, жить будут без свекра, а свекровь женщина добрая, с ней поладить можно... Молодая девушка — что стебелек: клони его в одну сторону, он и поддастся. Так поддалась, склонилась и Вела.

И, наверно, не пришлось бы ей каяться, кабы не треклятые эти войны. Почти шесть лет она только и знала, что встречать да провожать мужа в солдатчину. И горя хватила, и нужду знала, и тяжкий труд, но все миновало, забылось. Да и нет на этом свете горя, которого нельзя забыть, были б только все живы-здоровы. До той поры, пока не приключилась беда с Борисом, Вела была довольна жизнью. Сыновья выросли, не хворые, не увечные, настоящие мужчины — разумные, хозяйственные, мать чтили, уважали, но... разразилось несчастье, и все пошло прахом... Теперь она ходила сама не своя. Правда, на людях, даже перед свекровью и снохой, крепилась, хотя иной раз и уронит слезу. Но все же в самые тяжкие минуты она старалась их подбодрить, и только она одна знала, что творилось в это время у нее на душе.

Постепенно инстинктивно Вела поверила какой-то своей безотчетной надежде, какому-то смутному предчувствию, что Борис не погибнет. Она не слишком разбиралась в политике, но все же казалось ей, что где-то, она не знала, где именно, есть люди, которым известно, что сын ее честен и добр. Так вот эти люди не дозволят, чтоб его казнили... Вела ни с кем не делилась своей надеждой на благополучный исход, но Найда догадывалась об этом и дивилась ей. Считала свекровь наивной, недалекой и жалела ее.

Так как Найда и Веле рассказала со слезами, как ей хочется поехать на свидание с Борисом, та стала ее утешать:

— Ничего, сношенька! Нынче не позволяет тебе ехать в Софию, а через недельку-другую, бог даст, и позволит... — И по секрету призналась: — Я велела Стояну, когда выйдет свидание, чтоб письмецо мне отписал...

Проводив Тодора Проева, который пошел от них к Милановым, Ило еще несколько раз то выходил из дому, то снова возвращался. Наконец, проходя мимо кухоньки, он услыхал слабый зов старухи матери и заглянул в открытую дверь чулана.

— Это ты, сынок? — с трудом приподнялась старуха.— Позволь Найде поехать в город! А вдруг нынче-то и дадут свидание,— ведь экий грех будет, коли она не повидается с мужем. А не пустят — пускай так проедется, развеет малость тоску. Света ведь белого не видит, бедная...

Ило в ответ — ни звука, словно и не слышал. Заглянул в кухню.

— Живее! — приказал он жене. — Тодор с минуты на минуту обратно будет, дожидаться небось не станет...

У Милановых, как всегда, была суматоха. Они пригласили Тодора в горницу, стали угощать, расспрашивать, что дома, здоровы ли старики, но во всем этом было что-то тяжелое, грустное. Милан изо всех сил старался поддержать разговор, но вдруг умолкал на полуслове, забыв, о чем шла речь, и, неподвижно уставившись на кончики своих башмаков, задумчиво качал головой. Миланица пыталась быть с гостем как можно приветливей, даже улыбалась, но было видно, что она еле стоит на ногах и душа у нее не на месте. Дочери Милана тоже вышли поздороваться с гостем. Две старшие были уже на выданье, младшая еще училась в школе.

— Письмеца какого от вашего Ванё нету ли? — с тревогой и печалью спросила Миланица.

— Две-три строчки, что получили намедни.

— Это когда и наш Юрдан написал,— сказала она, обескураженно уронив руки.

— Ну что, готово там? — обернулся Милан к жене.

— Сейчас, сейчас,— ответила та, словно очнувшись от его сердитого окрика, и опять куда-то ушла.

На свидание к Юрдану ехали Милан, его жена и Лиляна, младшая из дочерей. Старшие сестры собирали вещи, укладывали белье, провизию и завидовали Лиляне, что та едет в Софию к брату. Она повидает его, поговорит, а они должны сидеть дома и тревожиться за него. Из города деревенские обычно возвращались вечерним поездом. Но пока этот поезд придет, пока сестры услышат его гудок, увидят огни, пока по выражению лиц матери и отца поймут, как обстоят дела, они ведь умрут от беспокойства и страха.

Лиляна была в каком-то радостном возбуждении, оттого что ехала на свидание с братом. И в то же время сердечко ее словно клещами сдавило. Мучительная смесь тревоги и печали томила душу. Лиляна была уже большой девочкой, и что-либо скрыть от нее было невозможно. Любимый брат в тюрьме, приговорен к смерти, каждую секунду его могут там убить. Еще в пятом классе она читала о том, как посадили в темницу, судили, а потом повесили Васила Левского. Но в ее представлении Левский был недосягаемо великим. Она даже вообразить не

могла, что и в наше время такое может случиться. Потому что, рассуждала Лиляна, теперь Болгария уже не под турецким игом, ведь русские освободили нас еще шестьдесят четыре года назад! Теперь Болгария свободна, и каждый волен учить людей, как бороться и работать, чтобы жизнь стала лучше. И вот все ее представления о свободе народа Болгарии пошатнулись. Болгарский суд приговорил ее брата к смерти. За что? За то, что он боролся против немцев, которые пришли на нашу землю, которые напали на наших освободителей. Прав ее брат? Прав. Почему же тогда его посадили в тюрьму, почему хотят убить? И в ее голове зашевелились новые мысли. Есть плохие болгары — те, кто сейчас стоит у власти. Они заодно с немцами, помогают им. И они против России, нашей освободительницы. Вот эти плохие болгары — те самые, которые заодно с немцами и которые приговорили брата к смерти, они и есть фашисты. Она и раньше слыхала разговоры о фашизме, но что именно это означает, разобрать не могла. Брат часто называл кое-кого из села фашистами. Но почему они фашисты — до этого Лиляна не могла додуматься. Со слов брата она поняла, что фашисты люди плохие, мерзкие. Но тех, кого он называл фашистами у них на селе, она хорошо знала, иные из них даже доводились им родней или были соседями — и, на ее взгляд, люди они были неплохие. Почему же тогда брат так их называл? И вот теперь она поняла. Теперь она знала, что эти люди помогают немцам. А все, кто помогает немцам, люди плохие, фашисты. И она, как могла, проклинала фашистов, потому что это из-за них вот уже сколько месяцев в доме слышны только вздохи и плач. Вся семья жила в напряженном ожидании чего-то ужасного. И поэтому Лиляна тоже всегда была настороже. Тоже с болью в сердце, с тоской ждала ужасного известия. Она знала, что, если случится самое страшное, ей сразу не скажут,— считают ребенком. А она уже не ребенок, она пытливо приглядывается к взрослым. О многом хочется их спросить, но она не смеет. Боится, что только выбранят в ответ. Она, например, не могла понять, почему отец и мать всегда громко вздыхают, всегда укоряют и клянут Бориса Митовского. По словам отца выходит, что это Борис погубил ее брата. Но как же так? Ведь самого Бориса Митовского тоже приговорили к смерти? Ведь он коммунист, не фашист ведь? Ведь это фашисты виноваты, что брату грозит смерть? Мать говорит, что если

бы Юрдан не связался с Борисом, не слушал бы его, то был бы сейчас на свободе. А почему Ивана Проева тоже приговорили к смерти? В этом тоже виноваты и фашисты, и Борис Митовский?

Вот какие трудные и тяжкие мысли не давали Лиляне покоя.

Поначалу было очень плохо. Мать плакала, не осушая глаз. Потом немного успокоилась. Но то и дело так тяжело вздыхала, качала головой с таким отчаянием, а иной раз с такими стонами рвала на себе волосы, что Лиляне это казалось куда страшнее слез. Отец толковал о помиловании, об амнистии, и от этих разговоров все в доме словно оживали. Но ненадолго. Ведь даже когда они ехали к брату на свидание и собирали для него всю еду, какая только была в доме, и тогда никто не знал, жив он еще или нет.

Девочка глубоко прониклась этим вечным страхом, этой тревогой взрослых. Побледневшая, похудевшая, она пристально и озабоченно вглядывалась в людей. Стала не по годам серьезной и рассудительной. Редко выходила на улицу поиграть; ей казалось, что, если она заиграется, фашисты непременно убьют ее брата. И училась она теперь с превеликим трудом, потому что буквы прыгали перед глазами, а мысли настойчиво возвращались к нему — милому, драгоценному Юрдану. Бывало, что она, хорошая ученица, память такая— во всей школе поискать, прочитывала каких-нибудь две страницы и не запоминала ни единой строчки. Как и все в доме, за стол садилась без всякой охоты и ела только потому, что заставляли. Мать бросала на нее сердитые взгляды и прикрикивала: «Да ешь ты, ну что ты там давишься? Гляди, на кого ты стала похожа!» Придя из школы, Лиляна забиралась в какую-нибудь из комнат и делала вид, что читает, а на самом деле все думала, думала о приговоренных к смерти. Старалась представить себе, как они живут там, в тюрьме.

Однажды ее взяли с собой в город на свидание, но в тот раз их в тюрьму не пустили. Приняли только передачу, да и то сколько упрашивать пришлось. Тогда она впервые увидела тюрьму. Высокие каменные стены поразили ее. С любопытством разглядывала она угловые вышки. С этих вышек часовые вели наблюдение. Стерегли арестованных, чтоб никто не убежал. Стерегли и брата ее тоже. А он был там, в огромном сером здании. Она стара-

лась себе представить его тесную камеру — на чем он там спит, что ест, как тоскует по воле, по родному селу, по дому. И каждый раз, когда она думала о том, как он сидит в одиночестве — вроде того узника, которого она видела на картинке в одной старой хрестоматии, как он тоскует и вздыхает, как сквозь крохотное оконце ему виден только краешек неба, ей становилось так его жаль, что перехватывало дыхание и по щекам текли глухие, молчаливые слезы.

До ареста Юрдан был такой же, как все парни в селе, так же шутил с девушками, плясал и проказничал, когда молодежь собиралась потанцевать, и так же работал, как работали все в семье. Лиляна видела в нем только старшего брата — и все. Но вот его арестовали, увезли, и в селе и в округе сразу все заговорили об арестованных — о нем и о его товарищах. А когда шел суд, то даже в газетах о них писали. И когда был вынесен приговор — тоже. И вдруг он, деревенский парень, в котором она не видела ничего необыкновенного и которого любила просто потому, что он был ее братом, внезапно вырос в ее глазах и неожиданно для нее самой стал замечательной, важной личностью. Наверно, он очень для них опасен, если они присудили его к смерти. Как Левского. И она дивилась, что, когда он был здесь, рядом, и совершал самые отчаянные и опасные свои дела, она ничегошеньки не подозревала... И чем дальше, тем все более замечательным и недосягаемым казался он ей. Люди поговаривали, что в селе еще много других коммунистов. Но их вот не арестовали. Должно быть, брат ее самый важный из них, раз его не только арестовали, но еще и присудили к смерти...

Много было такого, до чего Лиляна не в силах была додуматься самостоятельно. И она внимательно прислушивалась ко всем разговорам, надеясь ухватить что-нибудь интересное. Родители знали, что девочка она смышленая, разумная и осторожная, и поэтому, не таясь, говорили при ней о политике. Но иногда они переходили на шепот. И вот этот-то их шепот и пыталась расслышать Лиляна. Наверно, тогда они и говорили самое интересное, что ей тоже хотелось знать. В доме постоянно толковали о войне между Германией и Советским Союзом. Отец внимательно следил за наступлением Красной Армии и говорил, что если это наступление будет развиваться, то жизнь Юрдана спасена. Но если война затянется, тогда...

Отец не договаривал и только с отчаянием взмахивал рукой, но все понимали, что он имеет в виду. И Лиляна купила себе карту Восточного фронта. Самые большие сражения шли теперь под Сталинградом. И в газетах только о Сталинграде и пишут. Лиляна смотрела на маленькую точечку на правом берегу Волги и размышляла. Если Сталинград будет взят, жизнь брата в опасности. Если устоит — положение брата улучшится. Она становилась день ото дня нетерпеливее. Почему Красная Армия не наступает быстрее? Лиляна очертила карандашом всю линию фронта и внушила себе, что, если немцы дойдут до Каспийского моря, будет очень плохо. Поэтому она точно знала, какое расстояние отделяет фронт от Астрахани...

На гитлеровских солдат и офицеров, проезжавших мимо села по шоссе и по железной дороге, она смотрела с лютой ненавистью, как на своих личных врагов, нанесших ей жестокую обиду. Прочитав в газете о каком-нибудь успехе немцев, она впивалась ногтями себе в ладони и стонала от горя. У калитки, на улице, в школе или в лавке она вслушивалась в разговоры и отмечала про себя, кто из односельчан радуется победам немцев. И тех, кто этим победам радовался, она считала своими врагами.

Однажды староста явился на какой-то из школьных праздников и стал говорить о победе над Советским Союзом. Прежде Лиляна и внимания не обращала на этого человека. Но теперь она не могла спокойно видеть его багровую физиономию, жирную, ухмыляющуюся и самодовольную. И если случайно встречала его на улице, с отвращением отворачивалась. Она считала, что он тоже повинен в приговоре, который вынесли брату.

Мать чувствовала, что девочка стала чересчур впечатлительной, и это ее иногда тревожило, но на дочь у нее теперь не хватало времени. Лиляна становилась все более молчаливой и скрытной. Она ловко подслушивала разговоры старших сестер, знала все их секреты, но никогда им этого не показывала. Говорила с ними только о том, что узнала нового о положении на Восточном фронте, рассказывала о тех, кто особенно рьяно нахваливает немцев и радуется их победам, о тех, кто утверждает, будто в ближайшем будущем Советскому Союзу придет конец, или же о том, какую речь держал отец Тодор с амвона...

В то утро, когда они должны были поехать в Софию, она раньше всех проснулась, раньше всех встала и раньше

всех собралась в дорогу. Незаметно прокралась в горницу, забилась в угол и не пропустила ни слова из разговора отца с дядей Тодором Проевым. С самого начала она услыхала такое, что чуть не сгорела от любопытства.

— Конец! Это уж точно! — сказал Тодор.— Они в кольце.

— В кольце? — радостно, но немного недоверчиво переспросил отец.

— И агроном то же самое говорит. Он по радио слышал...

— Ну а наши как? Выдюжат? — наклоняясь к нему, спросил Милан, словно хотел сказать: «Ежели сомневаешься, признайся мне одному...»

— Неужто не выдюжат? — с укоризной посмотрел на него Тодор. Он положил руку ему на плечо, и в голосе его была такая убежденность, такая вера, что у Милана радость мурашками пробежала по телу.— Красная Армия — это такая силища, что их как ветром сдует...— Тодор вдруг спохватился, вскочил на ноги.— Как бы нам на поезд не опоздать!

Милан взглянул на часы и скривил рот,— мол, к чему пороть горячку?

— Успеем...— сказал он и снова нетерпеливо взмахнул рукой.— Так, говоришь, выдюжат? Силища, говоришь?

— Огромная, страшная, невиданная! — горячо подтвердил Тодор.

Но по лицу Милана вновь прошла тень сомнения.

— Почему ж они тогда невесть куда отступили? — В голосе его было страдание.

— «Отступили»! — презрительно усмехнулся Тодор.— Разве для такой страны, как Советский Союз, это отступление? Советский Союз — он, брат ты мой, точно море, конца-краю не видать. Плывешь, плывешь, думаешь — твоя взяла, ан глядь! — душа с телом расстается.

— Что в конце концов братушки их одолеют, у меня сомнения нету,— вскинул руки Милан.— Но почему они столько отдали... Почему еще на самой границе не намяли им бока как следует... Все бы тогда по-другому обернулось...

Тодору была близка и понятна его боль.

— Да, тогда бы и у нас все было по-другому...— подтвердил он.

— Тогда б у нас всякая сволочь не подняла бы голову и... с сынами нашими не случилось бы такого...— добавил Милан.

При упоминании о сыновьях Тодор только развел руками и ничего не сказал. Да и что тут скажешь? Да, отступали. Наверно, так нужно было.

Но именно это-то длительное отступление и вселяло в Милана такую тревогу. В душе засело предательское сомнение. Смущала его также непрекращающаяся шумиха в газетах насчет какого-то неведомого, секретного немецкого оружия. Кто их знает, народ хитрый, вдруг сотворят какую-нибудь адскую машину, беспокоился Милан.

Поначалу, когда гитлеровцы напали на Советский Союз, Милан ничуть не встревожился. Где-то далеко шла война — ну и что? До нас не дойдет, нас не сожжет, рассуждал он. Он считал, что для такого хозяина, как он, у которого сотня декаров земли и налаженный дом, это самая разумная позиция. Ясное дело, он желал победы освободительнице Болгарии — России. Но перед самим собой оправдывался тем, что война далеко и помочь России он ничем не может. Так вот и жил он тихо да мирно, в счастье и довольстве, пока не арестовали Юрдана. Этот арест был для него точно гром среди ясного неба. Он полагал, что знает своих детей, был уверен, что те без его благословения и шагу в жизни не сделают, а вышло, что он все проглядел. На суде выяснилось, что Юрдан еще в армии сблизился с коммунистами и уже два года состоит в Рабочей партии. Борис Митовский вовлек его в работу подпольной организации. Из речи прокурора стало ясно, что организаторами заговора и саботажа в селе были Борис и Юрдан.

Когда парней забрали, Милан сначала решил; что это обычный арест за какую-нибудь мелкую, незначительную провинность. Ну, отправят в главное полицейское управление, а может, только подержат какое-то время в околийском управлении полиции. Потом смекнул: дело гораздо серьезнее, но продолжал надеяться, что все это мальчишеские шалости и что судьи — если дело дойдет до суда — оправдают их и все забудется. Но неделя шла за неделей, из главного полицейского управления, куда их отправили, не было никаких вестей, и тогда уж Милан струхнул не на шутку. Но даже и тут он еще не допускал мысли о самом страшном. «Ну, запутались парни, наделали глупостей, влепят им года по три-четыре»,— думал он.

И только когда парней перевели в тюрьму и родные забегали в поисках адвокатов, до него тоже дошло, какая опасность угрожает его единственному сыну. Это было для него настоящей катастрофой. Выбитый из привычной колеи, он в первое время совершенно растерялся и пал духом. Потом, благодаря частым встречам с Ило, Тодором, с родителями других арестованных, он немного пришел в себя, да и адвокат его успокоил. Но он уразумел, что судьба его сына зависит не столько от красноречия защитника, сколько от положения на Восточном фронте. Он начал интересоваться политическими событиями, следить за газетами, обдумывать новости с фронта. Громкие газетные заголовки о гитлеровских победах отпечатывались у него в мозгу. Он стал их сравнивать, сопоставлять. К великому его изумлению, обнаружилось, что газеты открыто и нагло врут. Пышные фразы о победах немцев на Восточном фронте оказались на поверку хвастливой брехней. Гитлер торжественно объявил, что войдет в Ленинград, а застрял на подступах к городу и дальше — ни шагу. Раструбил на весь мир, что его солдаты видят купола кремлевских соборов, а пришлось повернуть назад. Божился, что Сталинград уже пал, а Сталинград продолжает держаться. Вопил, что нет такой силы, которая заставила бы его отступить, а Красная Армия берет в клещи его войска. Милан по собственному опыту, еще с первой мировой войны знал, что немцы — солдаты хорошие, выносливые, драться умеют. Но они были тупы, как овцы. Он сам видел, как упорно они держатся, но в их упорстве не было мысли или чувства. Они стреляли как автоматы, пока их не укладывали на месте одного за другим. Милан считал, что они не умеют ни наступать с умом, ни отступать. В первую мировую войну они тоже орали во всю глотку о своих победах, а под конец отдубасили их за милую душу. И теперь та же повадка — сунулись в воду, не зная броду, не прикинув, на какой нарвутся отпор. Милан был совершенно убежден, что, напав на Советский Союз, немцы поставили себя под удар. Но уничтожит ли их этот удар раз и навсегда, или же обе стороны истощат свои силы и этим воспользуются англичане и американцы?

При всем своем уме и проницательности, при всем недоверии к газетным сообщениям о немецких победах, он все же боялся, что Советский Союз не так силен, как бы ему хотелось. Как-то раз он спросил Ило Митовского,

не пугают ли его победы немцев на востоке. Ило решительно тряхнул головой.

— Было страшно, покуда не началось,— сухо и твердо ответил он.— А теперь я ничего не опасаюсь — Советский Союз победит.

Милан возражать не стал, но ответом удовлетворен не был. Легко сказать — победит, рассуждал он. А как? Этого Ило не сказал. У него была только вера в силу Советского Союза. Но для победы одной веры мало.

Милан считал себя человеком умным, полагал, что разбирается во внешней политике. Ему казалось невероятным, чтобы после такого отступления Красная Армия начала наступать, да еще так стремительно и по всему фронту. Окружение немцев под Сталинградом поистине ошеломило его. Если окруженная армия будет уничтожена, тогда уж точно немцам крышка.

Ошибся Милан и еще кое в чем. Взвесив после суда над Юрданом обстановку в стране и в мире, он решил, что по истечении всех законных сроков приговоры будут приведены в исполнение. Но прошло уже сколько месяцев, а приговоренные продолжали сидеть в тюрьме. В первые недели после суда он совсем лишился сил, исхудал, голова побелела,— ведь изо дня в день он жил ужасом ожидания... Потом понемногу стал успокаиваться. «Кажись, пронесло...» — радовался он про себя. А теперь, узнав об окружении немцев под Сталинградом, он и совсем успокоился. Раз Красная Армия одержала такие победы, жизнь ребят, считай, вне опасности.

В предотъездных хлопотах и суете жена Милана все-таки краем уха прислушивалась к разговору мужчин. Прежде, до суда над Юрданом, никакого интереса к политике у нее не было. Но теперь, чуть только заслышит о Сталинграде, она сразу настораживалась. Русские окружили немцев! Для нее это значило, что сын спасен. Вечером, когда укладывались спать, Милан рассказывал ей о политических событиях, о положении на фронтах, растолковывал все так, как сам понимал. Она считала мужа самым мудрым человеком на свете, верила каждому его слову и никогда не ставила под сомнение правильность его суждений. И никогда не спрашивала себя, откуда у него такие точные и неоспоримые сведения, как не спрашивала себя, кто написал книги, по которым священники служат в церкви и которые она считала непогрешимыми. Только об одном молила она бога и только об

одном мечтала — чтоб сыну отменили смертный приговор, чтоб отсидел он, сколько там положено, и в доме снова стало так же спокойно и радостно, как было, пока его не забрали. И чтоб дочери снова пели-распевали, как раньше...

Старшая дочь сказала, что все готово и пора двигаться. Хозяйка тоже уже собралась.

— Пора, говоришь? — спросил Милан и, взглянув на часы, согласился: — Пора.

Гость тоже поднялся.

— Пойду поскорей. Мне ведь еще вещи захватить надо.

— Успеешь и за вещами,— успокоил его Милан.— Станция-то — рукой подать!

Немного погодя все высыпали во двор, увешанные корзинами, мешками и свертками.

На улице было еще совсем тихо. Село спало глубоким предутренним сном. Путники шли по правой стороне улицы, осторожно ступая и иногда нечаянно наталкиваясь друг на друга. Откуда-то прямо им под ноги выскочила кошка, потом они чуть не налетели на какую-то тощую клячу, которая, притиснувшись к забору, шарила мордой по земле. Со станции доносилось глухое, придушенное пыхтенье маневрового паровозика. Время от времени он испускал пронзительный свист, и этот резкий, прерывистый звук раздавался одиноко и неприятно в сонной тишине безлюдной улицы.

Вдали показалась небольшая площадь. Электрическое освещение доходило только до этой площади и прилегающих улиц. Остальное село еще пользовалось керосиновыми лампами. На площади перед общинной управой в свете электрических фонарей возвышались две величественные сосны. По шоссе протарахтела повозка. Значит, надо поторапливаться к поезду. Они поравнялись с домом Митовских. Ило и Найда вышли им навстречу и немного проводили по улице, Вела вернулась в дом, чтоб не оставлять малыша и старуху одних. Когда пришло время прощаться и поворачивать назад, Найда глухо зарыдала. Ило, как всегда, был хмур и молчалив.

— Когда уходит поезд? — только и спросил он.

— Ровно в четыре,— ответил Тодор и поспешно свернул за угол, чтобы зайти за вещами. Дед Цеко, бабушка Дара и Куна давно уже дожидались его у ворот, досадуя

на то, что отъезжающие так замешкались,— как бы поезд не ушел без них.

Вскоре они пересекли шоссе и молча двинулись по улице, которая вела к станции. При свете электрических фонарей шагалось быстрее, спокойнее и вольнее.

III

После того как всех ненадолго выпускали из камер в уборную и устраивали вечернюю поверку, длинные коридоры тюрьмы постепенно затихали. Наступала глубокая, настороженная тишина, часто взрывавшаяся стуком или криком в какой-нибудь из камер. Негромкие разговоры мало-помалу умолкали, и в коридорах отдавались эхом только чьи-то осторожные шаги по лестницам и галереям, опоясывавшим гигантский круглый проем в центре тюремного здания — его называли «колесо». Огромное серое и мрачное здание погружалось в сон. Откуда-то доносился храп арестантов, и эти нестройные, сдавленные звуки казались предсмертными стонами людей, задушенных сильной, безжалостной рукой.

В коридоре восьмого отделения, или, как его называли, «отделения смертников», было словно еще тише и печальней, чем в остальных отделениях тюрьмы. Доски, прибитые к перилам галерей, придавали еще более сумрачный, устрашающий вид этому этажу в восточном крыле тюрьмы. Доски прилажены были для того, чтобы никто из смертников не бросился с четвертого этажа вниз головой. Могли ведь среди приговоренных к смерти отыскаться и такие, которые захотели бы сократить муки страшного ожидания и тем нарушить установленные правила официального смертоубийства.

Разумеется, с таких отчаянных станет — они могут броситься и в «колесо», загородить которое досками невозможно. Но тюремное начальство приняло меры предосторожности: внизу, над первым этажом, была протянута сетка из толстых веревок — паутина, сплетенная огромным, кровожадным пауком. Даже если бы самоубийца все же бросился с верхнего этажа, в худшем случае он только ушибся бы о сетку, но не сумел бы «сам лишить себя жизни», как выражались чиновники из судебного ведомства.

Тюремное начальство в своей заботе о жизни смертников прибегало и к другим мерам. Так, приговоренный к смерти не должен был иметь под рукой ничего такого, что дало бы ему возможность посягнуть на свою жизнь. Прежде чем ввести заключенного в камеру, надзиратели отбирали у него пояс, перочинный нож, все острые предметы и все, из чего можно соорудить петлю. В камерах смертников не было и коек. Им оставляли только соломенные тюфяки, брошенные прямо на цементный пол. Камера должна была быть совершенно пустой, суровой и унылой.

В такие вот голые, холодные цементные камеры восьмого отделения тюрьмы и посадили Юрдана Миланова, Бориса Митовского и Ивана Тодорова Проева после того, как им вынесли смертный приговор. Они сидели в трех соседних камерах под четными номерами неподалеку от «колеса», и поэтому самые легкие, самые осторожные шаги возле «колеса» отдавались ужасом в их сердцах и казались зловещими. Обычно приговоренных к смерти помещали в камеры-одиночки. Но так как в последнее время и военные и гражданские суды работали без передышки, камеры восьмого отделения были буквально забиты смертниками. Кое-кто был помещен даже в седьмое отделение, занимавшее противоположное, западное, крыло того же этажа. В иное время туда сажали только особо опасных политических преступников.

Чтобы всем хватило места, заключенные укладывались на ночь не в длину камеры, а поперек, в ширину. Ложились вплотную друг другу, как сельди в бочке, и если кому-нибудь надо было встать и подойти к двери, он должен был внимательно смотреть под ноги, чтоб ни на кого не наступить. Перевернуться с боку на бок было делом почти невозможным, и если у кого затекали спина, ноги, он вставал и, прижавшись к стене, стоял так часок-другой. Спящие тут же инстинктивно занимали высвободившееся пространство.

В отделении смертников существовал строгий порядок. Свидание разрешалось только раз в месяц, но порой, если прокурор бывал занят или просто не в духе, то и это единственное свидание отменялось, откладывалось. Передачи принимали тоже раз в месяц. Однако, с разрешения начальника тюрьмы или даже через кого-нибудь из старших надзирателей, еду можно было передавать каждую неделю, в крайнем случае — раз в две недели. Даже пи-

сать и получать письма смертники имели право только раз в месяц. Но писали они чаще. Находились арестанты, которым удавалось тайком выносить письма из тюрьмы. Тайная передача писем на волю была делом рискованным и сложным. Но у смертников и вообще у заключенных было вдоволь свободного времени, чтобы обдумывать самые различные способы, как установить связи с внешним миром.

Даже встречаться с другими заключенными смертники и то не могли. Им разрешались часовые прогулки утром и после обеда в «своем» четырехугольнике — участке двора, отведенном специально для смертников. В эти желанные, самые счастливые часы нескончаемых, томительных суток Юрдан, Борис и Иван наконец могли повидаться, обменяться взглядом, полным глубокого, тайного смысла, и перекинуться несколькими словами, в которые были вложены раздумья долгих часов.

Три новых смертника были озадачены тем, как обращались с ними надзиратели. Несмотря на профессиональную грубость и жестокость, по отношению к смертникам они проявляли какое-то внимание. Юрдану казалось, что к ним относятся с той ласковостью, с какой относятся к жертвенному ягненку в георгиев день. В поведении надзирателей сказывался и страх — страх перед тем таинственным, что следует за казнью, страх и перед самими смертниками. Кто знает, на что может решиться человек в таком безысходном, мучительном, ужасающем положении. Даже при раздаче пищи в камерах смертников не исчезало ощущение мучительной подавленности, и вся процедура походила на какой-то траурный обряд. Дежурный из арестантов и надзиратель, с шумом распахивавшие двери камер, чтоб налить заключенным по ложке похлебки, всем своим видом словно говорили: «Чего зря на вас харчи переводить, все равно не жильцы вы на этом свете...»

Вечерняя поверка служила некоторым развлечением. И хотя она повторялась изо дня в день с удивительным однообразием, смертники нетерпеливо ее поджидали.

Определенный законом срок обжалования приговоров прошел, и трое юных смертников, сидевшие в трех разных камерах в обществе таких же, как они, приговоренных, впервые ощутили, что такое ожидание казни. Те, кто был приговорен к расстрелу, не знали заранее, в какое время суток их выведут и поставят под нацеленные дула

винтовок. Обычно их вызывали якобы на свидание, либо в контору «для наведения справок», либо «в связи с переводом в другую тюрьму». Но приговоренные понимали, для каких «справок» они понадобились, и, уходя, прощались с товарищами. То были невообразимо страшные часы. Вся тюрьма приходила в движение. Крик, в котором сливались протест, клятва верности, обещание продолжать дело погибших товарищей, вырывался из тысячи уст. Сотни деревянных башмаков обрушивались на двери камер, и этот зловещий грохот сотрясал огромное серое здание в оковах из железа и камня.

Иначе обстояло дело с теми, которые были приговорены к смерти через повешение. Их выводили из камер около полуночи, стараясь сделать это как можно быстрее и тише, предварительно связав им руки и заткнув кляпом рот. Кое-кто оказывал сопротивление, и тогда его стаскивали по лестнице избитого, почти без сознания.

Из страха, чтоб их не застали врасплох, приговоренные к виселице обычно не спали далеко за полночь. Потом, устав от постоянного напряжения, забывались глубоким сном, а утром долго протирали глаза, стремясь удостовериться, что они живы и здоровы.

Юрдан, Борис и Иван еще во время предварительного заключения узнали, как и когда совершаются казни, поэтому первую ночь после того, как истек срок кассации и приговоры их вступили в силу, они до самого рассвета просидели без сна. Изнеможенные, осунувшиеся, с воспаленными глазами, встретили они это утро, с ужасом думая о следующей ночи. Доживут ли они до завтрашней зари? Доведется ли еще раз порадоваться свету солнца, проникающему в крохотное тюремное оконце?.. Товарищи, соседи по камере, хотя и сами могли ожидать смерти в любую минуту, старались их подбодрить. Более давние обитатели восьмого отделения уже успели привыкнуть к своему положению, приобрели даже какие-то навыки в этом ожидании конца. К тому же общность судьбы, веселый нрав одних, бесстрашие других, уверенность в торжестве дела коммунизма, за которое они отдавали жизнь,— все это создавало в камере какую-то особую атмосферу. Тут нельзя было предаваться унынию, потому что уныние — это признак политического капитулянтства.

Юрдан сидел в ближайшей к «колесу» камере. Когда его привели туда, там уже было семеро обитателей. К концу недели двоих из них вызвали «для справок».

Юрдан и прежде «провожал» криками и ударами в дверь уводимых на расстрел товарищей, но теперь это оказалось для него жесточайшим потрясением. Быть может, завтра или послезавтра, когда пробьет полночь, товарищи проводят его самого такими же криками и ударами по железным дверям камер. Но поможет ли ему это? Он думал о страшном мгновении, всем своим существом, каждой клеточкой мозга пытаясь придумать, как спастись от петли, разрабатывал какие-то фантастические, неосуществимые планы, потом вдруг вздрагивал, очнувшись, по телу пробегал озноб, и он возвращался к действительности.

Обычно дремота редко одолевала его раньше часудвух пополуночи. Опершись локтями в колени, подперев голову ладонями, он сидел, ловя обострившимся слухом каждый звук, раздававшийся где-то на лестнице. Более тяжелая поступь — поступь подкованных солдатских сапог ударами молота обрушивалась на его барабанные перепонки. Он смотрел на товарищей, которые спали мирным сном, будто не были такими же, как он, смертниками, будто их присудили к пожизненному заключению. Быть может, поначалу они тоже волновались не меньше его. Но со временем привыкли. Только один человек так и не мог привыкнуть, успокоиться — бывший учитель, постоянно разглядывавший карточку своей трехлетней дочки.

Так, в ожидании тяжелых шагов по коридору, Юрдан провел несколько ночей, которых, казалось ему, он не забыл бы, даже если бы жил еще триста лет. Он был уверен, что за ним придут. Сначала ему было страшно — как вынесет он все это, когда щелкнет в замочной скважине ключ, отворится дверь и на пороге появятся надзиратели и солдат с винтовкой и примкнутым штыком. Мысленно проверяя свои душевные силы, он боялся, что не выдержит, расхнычется, потеряет сознание. И он начал обдумывать одну за другой каждую секунду этой страшной процедуры, отмерять каждое свое движение, каждый шаг. И добился того, что поверил: выдержит, не ударит лицом в грязь. А это было самое важное. По крайней мере, умереть коммунистом.

Тщательно все обдумав и решив про себя, как он будет держаться, когда за ним придут, Юрдан словно бы стал немного спокойнее. Успокаивало и то, что прошло уже немало ночей, а никого еще не тронули. Два раза в день на прогулке по четырехугольнику для смертников они все трое встречались, переглядывались, переговарива-

лись и расходились по камерам, настроенные более решительно и бодро. Юрдан начал привыкать к этому распорядку, начал думать, что так оно будет и дальше, так и будет он засиживаться до самой зари, уверенный тем не менее в том, что встретит новый день целым и невредимым...

О чем только не размышлял он в эти часы, проведенные без сна или в сладкой дремоте. Чаще всего думалось о родном селе, о родителях. Он мысленно переносился на оживленные под вечер улицы, когда, покончив с работой, он шел погулять, повидаться с дружками и товарищами. С тоской вспоминал о праздниках. После того как заканчивались танцы и прогулки по шоссе, молодежь делала вид, будто расходится по домам. А вместо этого парочками забирались в укромные уголки, во дворе или в саду, и шептались допоздна. Этот шепот был несмел, наивен, но так дорог сердцу!

Там, в садике у Рилки, за грудами хвороста, принесенного из лесу больше года назад, под тенистыми кронами плодовых деревьев он с замиранием сердца слушал, как воркует его любушка. В отличие от других парней, он рассказывал своей избраннице не только о том, как заживут они после свадьбы, но и о лучшем будущем, которое наступит для всех, когда фашизм будет разбит и уничтожен. Труд будет тогда людям в радость и жизнь станет радостной. Юрдан всегда начинал с рассказов о будущем, а кончал настоящим. Объяснял, как обстоят дела на фронтах, горячо доказывал, хотя Рилка и не думала спорить, что, несмотря на временные успехи немцев, Красная Армия их обязательно разобьет, а это значит, что с фашизмом в Европе будет покончено. Хотя Рилка не больно смыслила в сложностях европейской и мировой политики, она слушала его, не сводя с него глаз, гордясь его умом, и ласково к нему прижималась. И вдруг, словно вернувшись на землю, он крепко обнимал ее и долго, ненасытно целовал. А она то замирала в истоме, то, как птичка, трепетала в его объятиях и отвечала на поцелуи поцелуями. Даже в неясном сумеречном свете он видел, как розовеют ее щечки и как, под конец, все ее миловидное круглое личико вспыхивает огнем, точно в лихорадке... Стоило ему забыться коротким сторожким сном или даже просто задремать, как он вновь переживал эти счастливые минуты любовного свидания, но скоро кто-нибудь из соседей, шевельнувшись во сне, или случайный

шум в коридоре спугивал его забытье. И вновь представала перед ним страшная действительность — битком набитая тюремная камера, спертый воздух, тусклая лампочка, решетка на окне...

После свидания с Рилкой он не сразу возвращался домой. У него вошло в привычку забежать к дружкам, справиться, что слышно нового. Однажды Борис Митовский подозвал его и сказал, что предстоит одно славное дельце. Они пошли задами, соблюдая всяческие предосторожности, неслышно пробираясь через поросшие бурьяном заброшенные огороды в верхнем квартале села. Из-за тополей, что росли возле Ямишевой усадьбы, показался Иван. Втроем они обогнули тополя, залегли за кустами в какой-то меже и тесно придвинулись друг к другу, голова к голове. Борис сообщил, что партийная организация дала задание продумать вопрос о более серьезном, эффективном саботаже. Действовать следует осторожно, продуманно, остерегаться провала. Борис предложил поджечь сено, которое стояло в стогах у станции железной дороги и которое, как им сказали, предназначалось для Германии. У Ивана был с собой полный бидон керосина. Бидон был похищен у немецкой воинской части, квартировавшей в селе в апреле прошлого года.

— На этот раз без арестов, вероятно, не обойдется,— предупредил Борис.— Каждый из нас должен заранее придумать, где он был в то самое время, когда мы подожжем сено. Помните: мы этой ночью не виделись, не встречались, не разговаривали. Никто ничего не видел, не слышал, знать ничего не знает.

Юрдан слушал молча, сердце его тревожно билось. Он понимал, что акция предстоит серьезная. Впервые всем будет ясно, что поджог совершен местными коммунистами, а не какими-то людьми со стороны, как говорилось о прежних, более мелких диверсиях.

Сделав большой круг, они подобрались к сену, старательно облили его керосином и бросили по горящей спичке в каждый из намеченных стогов. Уже через несколько минут буйные огненные струи взметнулись высоко к небу и осветили равнину. На станции поднялась суматоха. Несколько железнодорожников засуетились возле вагонов, не зная, что предпринять. Позвонили в общинную управу, но там никто не отвечал. Начальник станции послал человека за сельским старостой. Борис, понимавший, что такой пожар нетрудно погасить, захватил пачек

десять греческих патронов, которые ни к одной из местных винтовок не годились, и подложил их в сено. А в самый большой стог сунул ручную гранату. Она могла убить кого-нибудь из тех, кто бросится тушить пожар, но пусть пеняют на себя, решил он, нечего соваться, куда не просят. А главное — в другой раз никому не будет повадно тушить пожары. Патроны, взорвавшись, прогремели беспорядочной очередью, вызвав панику и на станции и в селе. «Партизаны!» — завопил кто-то. Начальник станции опрометью бросился во двор и спрятался за свинарником, в котором безмятежно похрюкивал его боров. Староста, полевые сторожа, полицейские во главе со старшиной кинулись на станцию. Они были уже у семафора, когда раздался взрыв. Что это? Полицейские залегли, готовые открыть огонь, а сторожа попрыгали в канаву и давай бог ноги — назад, в село. На станцию кто-то напал, но кто, где, как — понять было невозможно.

Юрдан, Борис и Иван, никем не замеченные, вернулись домой, а немного погодя вышли на улицу, чтобы как ни в чем не бывало глазеть на зарево и расспрашивать соседей — что за пожар и откуда выстрелы?

Утром понаехали из города агенты, покружили возле станции, обнюхали обгорелые стога, пошептались со старостой и уехали. Никого не арестовали. Староста уверял всех, что поджог произведен мастерски, а в селе мастеров на такое дело нету.

Через десять дней Юрдан, Борис и Иван отошли километров на двенадцать от села, срубили у шоссе несколько деревцев, по которым был протянут телефонный кабель, отрезали от этого кабеля метров сто и отрезанный кусок надежно спрятали — утопили в болоте, в зарослях камыша. А сами — домой. Опять зашарили по окрестностям полицейские, опять из города приехали агенты, порыскали и по соседним селам, и снова все затихло. Дважды Юрдан, Борис и Иван пытались поджечь составы, отправляющиеся в Германию, но это им не удалось.

Ободренный успехом нескольких акций, Борис организовал распространение листовок, призывавших саботировать сдачу продуктов, потому что, говорилось в листовках, крестьяне будут есть кислый кукурузный хлеб, а пшеницу увезут для того, чтобы кормить немецкие полчища, которые попирают священную землю наших русских братьев-освободителей.

Листовки отпечатал на пишущей машинке общинной управы один писарь, незадолго до того принятый в члены партии. Несколько дней было тихо. Потом писаря вдруг забрали. Никто и не заметил, когда это случилось. Да никому и в голову не приходило, что возьмут именно его. Почему? За что?.. Только на следствии все стало ясно. Специалисты в полицейском управлении сравнили шрифты пишущих машинок общинной управы с тем шрифтом, которым были отпечатаны листовки. Установили, что листовки напечатаны на «Адлере». Сторож, приставленный к общинным быкам, показал, что несколько раз видел писаря по вечерам в управе. После первых же побоев на допросе писарь во всем сознался. Полиция тут же арестовала всех членов партии и подпольщиков, о которых писарю было известно. Начались допросы и пытки. Сандо Крумов, один из лучших коммунистов в селе, которому ребята по глупости рассказали о поджоге сена, не выдержал и рассказал об этой диверсии. А Иван признался в том, что они срезали телефонный кабель. Девять членов сельской организации были арестованы. На свободе остались только трое парней, с которыми никто, кроме Бориса и Юрдана, связан не был.

В тюрьме, в ожидании суда, молодые подпольщики познакомились со старшими и более опытными товарищами и поняли, что действовали наивно и неосторожно. Особенно поражен был Борис, считавший себя умным и ловким конспиратором. Его потрясло, что по шрифту можно установить, на какой машинке какая листовка отпечатана. До той поры он думал, что буквы пишущих машинок так же похожи друг на друга и неразличимы, как песчинки на дне морском. В тюрьме молодые заговорщики окончательно осмыслили свою работу, поняли, какое громадное значение имеет саботаж в борьбе против фашизма и немецких оккупантов. И так как власти сурово преследовали саботажников, они догадывались, какой приговор их ожидает. Юрдан, Борис и Иван готовились к самому худшему. Они часто думали о близком, страшном конце, но, если не считать редких припадков малодушия, старались не показывать товарищам свою тревогу — такую, впрочем, естественную. Кроме того, в тюрьме они оказались среди мужественных и стойких людей. Это придавало им силу и бодрость. Теперь-то они знали, как надо работать. Только бы очутиться снова на свободе! В обществе политических заключенных они быстро окрепли и закалились

духом, возмужали, развились не по годам. Они жили теперь, лихорадочно торопясь, с жадностью впитывая каждодневные, ежечасные политические уроки старших, более опытных коммунистов. Тюрьма оказалась для них словно бы и не местом заключения, а школой — необыкновенной и увлекательной. В тяжелых тюремных условиях они оценили свободу и узнали, как надо работать в дальнейшем. И после того как приговор был вынесен, Юрдан, Борис и Иван мечтали только об одном — чтоб им заменили смерть пожизненным заключением...

До самого суда, даже вплоть до той минуты, когда прокурор начал свою длинную обвинительную речь, Юрдан все же надеялся, что им, простым, неученым сельским парням, не станут выносить самый тяжкий приговор. Но, услыхав, в чем их обвиняет прокурор, он был потрясен. Судьи, сначала показавшиеся ему обыкновенными людьми, так как они добродушно-снисходительно поглядывали на подсудимых и на публику, время от времени наклонялись друг к дружке, о чем-то переговаривались, незлобно улыбаясь, эти самые судьи, в особенности после того, как приговор был оглашен, вдруг превратились в суровых, жестоких, неумолимых существ, бессердечных и глухих к мольбам и жалобам. Приглушенные рыдания матери, потрясенное лицо отца, пронзительный крик старшей сестры — все это в первый момент ошеломило его. Он пришел в себя лишь после того, как очутился в крохотной, тесной, переполненной камере смертников. Знакомство с новыми «сожителями», расспросы, ответы, обсуждение недавних политических процессов — все это помогло ему взять себя в руки. Но потом, когда он лег и остался наедине со своими мыслями, припомнил в подробностях, как читали приговор, он глухо простонал: «Конец!» Ему показалось, что он застонал громко и произнес эти роковые слова вслух. Огляделся: никто даже не шевельнулся. Значит, он только подумал о том, что все для него кончено, но мысль эта была такой отчетливой, что все его существо как бы зашлось в отчаянном прощальном крике. И тут же воображение нарисовало картину казни. Но он не в силах был досмотреть эту ужасающую картину до конца и, задрожав, отвернулся. И, гоня эту мысль прочь, стал думать о том, что если уж умирать, то лучше в открытом бою. Бросаешься вперед, перебегаешь, прячешься за укрытие... Бой представлялся Юрдану в точности таким, как было у них на маневрах, когда он

отбывал военную службу. Неприятель ведет артиллерийский и пулеметный огонь. Раздается команда «В атаку!». Серые шеренги вылезают из окопа и устремляются на врага. Пули жужжат вокруг, точно рой разъяренных пчел. В одной из таких атак он бросается вперед, делает несколько шагов, пуля пронзает его грудь, он на мгновение застывает, глядя перед собой расширившимися зрачками, падает ничком и... конец... Юрдан представил себе свою смерть вот так, в открытом бою. Но даже мысленно не хотелось ему умирать. Мгновение — и мысль услужливо скользнула в сторону, и вот он уже видит, как приходит в себя и с радостью убеждается в том, что вовсе не убит, а только тяжело ранен. Он живо представлял себе, как лежит в госпитале, а врачи и сестры милосердия день и ночь ухаживают за ним, как наконец он выздоравливает и возвращается домой...

В переполненной камере чей-то локоть толкнул его в бок, заставил очнуться. Товарищи по камере, цементные стены, крохотное зарешеченное окошко, похожая на кол труба парового отопления возле окованной железом двери с глазком, полосатая арестантская одежда — все это напомнило ему, где он и что его ожидает. Когда их выпускали в коридор, он с завистью смотрел на служебное помещение, где свободные люди свободно разгуливали взад и вперед, или на седьмое отделение, где большинство заключенных избежало смертного приговора. Он слышал шум, поднимавшийся с нижних этажей, где тысячи счастливцев отсиживали срок за уголовные или политические преступления,— им-то не приходилось каждую ночь вздрагивать при малейшем шуме, в ожидании, что их вот-вот выволокут из камеры и накинут петлю на шею.

Самой большой радостью для политических заключенных и особенно для смертников были сообщения о том, что Красная Армия наступает. Тягостные известия о захвате немцами советских городов прекратились. Новости становились день ото дня все более радостными и вдохновляющими. Как проникали эти новости в цементные камеры изолированных от мира смертников? Какими таинственными путями шли, в какие невидимые щели просачивались? Как муравьи, встречаясь на дорожке, переговариваются между собой на своем непонятном языке, так и заключенные умели передавать друг другу новости, полученные с воли. Встречи с адвокатами, несколько слов,

переброшенных через решетку за спиной у надзирателей, уголовники, которые бывали за стенами тюрьмы и доставляли новости, вновь прибывшие заключенные, передававшие последние сообщения подпольных радиостанций — по многим неуловимым каналам проникали свежие новости сквозь тюремные стены. Так долетела в камеру смертников радостная весть об окружении немецких войск под Сталинградом. Верно ли это? Записочки, оставленные на условленных местах в уборных, подтверждали эту самую радостную из всех новостей: Красная Армия совершила прорыв на всех фронтах, сломила сопротивление немцев, загнала их в нору и точно клещами зажала триста тысяч гитлеровцев... Юрдан при этом известии просто запрыгал от радости. Он знал, что доблестная Красная Армия спасет человечество. Но доведется ли ему дожить до этого времени, доведется ли войти в этот мир счастливых, свободных людей и народов?

В соседней камере сидел Иван. Ни пытки в полиции, ни предварительное заключение, ни нервное напряжение во время процесса не могли сломить этот молодой и крепкий организм. Было даже что-то ребяческое в его жизнерадостности. В нем просто бурлили силы, порывы, восторги. Хотелось жить, двигаться, радоваться, дышать. Бывали минуты, когда он забывал, что находится в самом страшном отделении тюрьмы и над головой нависла петля,— тогда он смеялся и пел, негромко, но радостно и безмятежно. Однако порой находило на него тяжелое, мрачное настроение. Правда, это отчаяние, как у детей, быстро рассеивалось, но в эти минуты Ивану казалось, что все погибло, что борьба, страдания — бессмысленны и жизнь глупа, пуста. В одну из таких минут он и сознался, что это они срезали телефонный кабель. Какой смысл молчать, подумалось ему, когда какой-то мерзавец, какая-то тварь уже все равно их выдала... Он почти сразу же раскаялся в своем малодушии, стал яростно себя упрекать и поклялся в душе, что, если ему еще выпадет такое и даже гораздо более тяжкое испытание, он выйдет из него с честью... Иван часто думал о предстоящей казни. Но мысль надолго на этом не задерживалась. Он чувствовал, как громко и четко бьется у него сердце, и казалось невозможным, чтобы такой отлично налаженный организм вдруг перестал существовать... он с наслаждением вдыхал даже спертый, затхлый воздух тесной, перенаселенной камеры и укладывался на полу, упираясь головой

и ногами в стены, с таким наслаждением, как будто это была лесная поляна.

Аппетит у него был волчий. Ел он с таким удовольствием, что сырой, невыпеченный хлеб, который им выдавали, в его руках казался куличом. Он считал дни, когда из дому привезут передачу. Изнемогая от избытка нерастраченных сил, он с нетерпением ждал, когда их выведут на прогулку, а потом, запертый в тесной клетке, то и дело подходил к двери, осторожно переступая через ноги соседей, заглядывал в глазок и снова возвращался на свое место.

Но после вечерней поверки ему становилось не по себе. Надвигалась ночь. Что будет? Придут? Нет? Ему казалось, что если б не смертный приговор, если б не мысль о том, что каждую ночь его могут увести на казнь, он был бы даже счастлив в этом мало приспособленном для счастья месте.

По тому, как затихало тюремное здание, по звукам, долетавшим с улицы, по движению некоторых поездов он догадывался о том, что близится полночь. И только когда надвигались эти роковые часы, Иван погружался в раздумье. Может быть, это последний его вечер. Может быть, в последний раз лежит он на жестком тюремном тюфяке. В последний раз глядит на маленькую электрическую лампу, в которой светится лишь крохотная проволочка, излучая жалкий, скупой свет. Долго еще после полуночи Иван не смыкал глаз. Но в глубине души он был уверен, что приговор все же не будет приведен в исполнение. На его взгляд, приговорили их к смерти только для того, чтобы нагнать страху на коммунистов из окрестных сел. Вот, как бы говорил суд, смотрите сами, власти не шутят, утихомирьтесь, не то вам тоже несдобровать. А на самом-то деле не станут их вешать, потому что это еще больше восстановило бы против властей всех родных, знакомых, товарищей во всей округе... Далеко за полночь лежал Иван без сна и думал о том, как Красная Армия в пух и прах разобьет гитлеровский сброд и как тогда все болгарские фашисты тоже натерпятся страху...

В таком напряжении, в таких думах, ночных тревогах и мечтаниях тянулись дни. Прошло несколько недель. Иван начал успокаиваться. Казалось, все идет так, как он предвидел. И он стал теперь спокойно засыпать, уверенный в том, что утром встанет цел и невредим. Редко-редко, при каком-нибудь особенно сильном и подозри-

тельном шуме после двенадцати ночи, проснется, приподнимется на локте, вслушиваясь настороженно, навострив уши, и, когда шум стихнет, снова вытянется на своем тюфяке, довольный, что все обошлось. Но, как правило, он спал без просыпу до самого утра, когда тюремные коридоры начинали гудеть от топота надзирателей и уборщиков из арестантов.

Он часто думал о селе, о доме, о родителях. Интересовался судьбой брата, старался представить себе, каково ему там, в концлагере, при оказии посылал приветы сестре и просил прислать карточку малыша, чтоб на него полюбоваться. Но больше всего думал он о стариках. Ему было жаль бабушку и деда, которые так его любили, отца и особенно мать,— она дрожала над ним, как над маленьким, и теперь, наверно, совсем изошла слезами. Он горевал вместе с ними, хотел бы им помочь, но как? При последнем свидании он заметил, как исхудал отец. Щеки ввалились, кожа на лице стала пепельно-серой. Иван через решетку сказал ему несколько ободряющих слов, но отец только печально покачал головой. Прежде Иван побаивался отца, хоть и знал его добрый и мягкий нрав. Он считал, что отец превосходит его во всех отношениях, никогда ему не дорасти до него. И только теперь, увидев через решетку, как тот немощен и растерян, Иван почувствовал, что в чем-то перерос отца, смотрит на него как бы сверху вниз, но любит и жалеет больше прежнего. «Вот что приключается, когда родители не знают, чем заняты сыновья!» — сказал отец на прощанье. Иван снисходительно усмехнулся. «Ну, у них еще будет время поучиться у сыновей»,— ответил он и не отрываясь смотрел вслед родителям, пока за ними не закрылась дверь мрачной комнатенки, перегороженной пополам двумя рядами решетки...

При каждом свидании Иван справлялся о бабушке Даре, посылал ей привет и поклон. Он поражался ее неутомимости. День целый на ногах, минутки не посидит сложа руки. Даже в страду не было случая, чтоб он поднялся раньше нее. Пропадал ли он по ночам в связи со своей подпольной работой, засиживался ли на тайных собраниях или просто поздно возвращался с посиделок — она всегда бодрствовала. Услышит, что он пришел, окликнет. И только один раз, уверенная в том, что он бегает за девками, упрекнула: «В наше время парни не шатались так много. Погубишь ты свое здоровье, внучек!» Лишь

когда его забрали, она догадалась, почему он возвращался домой так поздно, но ни словечком никому о том не обмолвилась... Как-то раз он увидел ее во сне. Она пришла к нему в камеру, которая будто бы стала уже его домом, и он встретил ее на пороге, раскинул руки, чтобы обнять. И досадовал на себя, что не услыхал раньше ее шагов и не выбежал ей навстречу. Но она вошла так же неслышно, как неслышно двигалась всегда по дому, и улыбнулась ему. Камера была пуста, он жил в ней один. Стула, чтоб усадить ее, не было. Но она словно бы знала, что стула нету, взглянула на него с укором, но ласково, и огорченно спросила: «Долго ты еще будешь бобылем жить? Когда невесту себе найдешь?» И опять улыбнулась. Знакомые морщинки лучиками разбежались по маленькому доброму лицу. Она села прямо на пол, развязала узелок с гостинцами, велела угощаться и с умилением стала его разглядывать. И тут он вдруг сообразил, что он уже не в тюрьме, а в Вылчове, в поле, и бабушка сидит на меже, возле сиреневой рощицы. Он засмотрелся на веселое, зеленое поле и посмеялся над собственной глупостью. Надо же! Быть на свободе и не догадаться, считать, что ты еще под замком... Сон этот был такой спокойный и долгий, что, проснувшись, Иван долго еще растерянно, изумленно хлопал глазами, как будто бабушка и впрямь только что была с ним рядом, как будто он еще ощущал на своем лице ее теплое, старческое дыхание...

В последнее время его начало смущать одно обстоятельство: тюремный режим день ото дня становился строже. С особой строгостью стали обращаться со смертниками. Исполнение смертных приговоров как будто приостановилось, но новые смертники прибывали непрерывно. Работали теперь только военные трибуналы, а военные трибуналы карают тяжко. Ни один процесс не обходился без смертных приговоров. Теснота и духотища в камерах все увеличивались. Это очень смущало тех, кому приговор был вынесен уже давно, кто как-то притерпелся и жил надеждой, что казнь будет заменена пожизненным заключением. А вдруг вздумают «расчистить» камеры? — со страхом спрашивали они себя. Но многих из приговоренных к смерти даже не возвращали в тюрьму,— увозили на расстрел прямо из зала суда. Военные трибуналы все чаще стали выносить такие приговоры — окончательные, не подлежащие обжалованию и, ввиду особого внутреннего

положения, приводившиеся в исполнение безотлагательно. Иван знал, что суды действуют так не на собственный страх и риск. Указания шли сверху. Было ясно, что наступление Красной Армии пугает и озлобляет фашистских правителей Болгарии. В своем озлоблении они могли отправить на казнь и тех осужденных, которые уже свыклись с мыслью, что их эта участь минует. И он приходил к заключению, что все зависит от того, насколько быстро будет наступать Красная Армия.

Спокойные послеполуденные часы — часы после долгожданной короткой прогулки Иван проводил в мечтах о том, как он выйдет на свободу. Ему представлялось, что это произойдет при самых необыкновенных и неожиданных обстоятельствах. Это будет такое потрясение, такое всеобщее смятение и одновременно такая радость, что во веки веков об этом дне будут слагать песни и легенды. Иван полагал, что в Советском Союзе подготовлена многомиллионная армия парашютистов-десантников. Сто тысяч самолетов. И в одну прекрасную ночь небо потемнеет и земля задрожит от рева моторов. Миллионная армия обрушится на немцев с тыла. Посыплются удары со всех сторон. Гитлеровская армия вся целиком попадет в гигантский котел. Она пытается оказать сопротивление, но Красная Армия наносит сокрушительные удары... Здесь, в Болгарии, высаживается десант — четыреста тысяч красноармейцев. Почему именно четыреста тысяч, Иван сказать не мог. Но ему представлялся просто дождь парашютистов. Они опускаются на землю повсюду — на города и села, на равнины и горы, на дороги и железнодорожные станции... Иван попробовал представить себе, как они будут наступать сразу, со всех сторон. И вдруг усмехнулся — да зачем столько? Хватит и двухсот тысяч. Нет, и двухсот тысяч много, незачем зря пускать в дело целую армию. Как только болгары увидят, что братушки высаживают с воздуха десант, все, как один, придут им на подмогу. Вполне можно будет обойтись еще меньшим числом парашютистов — тысяч сто, например. Сообразив, что помогать освободителям будет весь народ и что солдаты тоже мгновенно перейдут на сторону народа, Иван счел, что хватит пятидесяти, даже, пожалуй, тридцати тысяч человек. Не к чему распылять силы на безлюдные равнины, горы или захолустные городки и села. Достаточно, впрочем, нанести удар по одной лишь Софии, разгромить верхушку — остальные сдадутся без боя. Конечно, непло-

хо, если б они ударили еще по Варне и Бургасу, чтоб можно было быстро и беспрепятственно произвести высадку армии. Только бы народ получил возможность действовать, только б дали ему в руки оружие, уж он бы доказал, что умеет драться против фашизма...

Иван мысленно рисовал себе, как будут освобождены заключенные. Ему казалось, что если десантники пойдут на Софию, то первый удар придется по немецким казармам, чтобы сломить оборону фашистов. И одновременно возьмут тюрьму, потому что там томятся за решеткой много хороших людей. Если не взять тюрьму одновременно с ударом по вооруженным силам фашистов, то фашисты в злобе и отчаянии могут прикончить всех политических заключенных. И Иван погружался в мечты об этом фантастическом нападении. Он представлял себе свою встречу с первым красноармейцем: они только взглянут друг на друга, как товарищи, как братья и всё — для рукопожатий и поцелуев не будет времени, надо будет быстрей обезоружить охрану, взять под стражу надзирателей, а потом подготовиться к штурму полицейских участков и всяких учреждений... И только после того, как неприятель будет разбит повсюду, Иван кинется к первому же красноармейцу, который окажется рядом, обнимет его и скажет: «Спасибо». Так, всего одним словом, но зато от всего сердца, он поблагодарит весь русский народ, все народы Советской страны.

Иногда Иван мечтал о революции, о всенародном восстании. Но освобождение одними только внутренними силами казалось ему в данный момент невозможным. Ведь, помимо правительственных вооруженных сил, в стране было множество немецких войск. К тому же немцы были в Сербии, в Греции, в Румынии. Если в Болгарии что-нибудь произойдет, они тут же на нас набросятся. И сможет ли Советский Союз немедленно прийти нам на помощь? Этого Иван не знал. Ему казалось, что немцы еще сильны. Да и отечественные фашисты еще держатся. И Иван вновь возвращался к мечтам о десанте с воздуха, о внезапном ударе, о свободе и об уличных боях в Софии.

Встречаясь с Борисом на прогулке в «четырехугольнике», Иван каждый раз вздрагивал, как от озноба. Борис глядел на него неприязненно, исподлобья. И редко удостаивал словом. Иван понимал: сердится за то, что он проговорился о кабеле. Он признавал, что совершил ошибку, проявил малодушие, и глубоко раскаивался.

И впрямь его признание во многом ухудшило их положение, потому что кабель был немецкий, военный. Впрочем, за один лишь поджог сена их бы тоже приговорили к виселице. Иван все искал случая поговорить с Борисом, попросить прощения и дать слово, что, если на этот раз он уцелеет, никогда ничего больше не выдаст врагу, хоть бы его живьем на огне поджаривали. Однако случай не подворачивался...

А Борис и вообще был строг, молчалив и суров. На суде он держался твердо, без страха. И когда его адвокат дважды, увлекшись, стал осыпать упреками партию, Борис прервал его и заявил, что отказывается от такой защиты. Он рассказал о пытках, которым его подвергали в полицейском управлении, и так отозвался об органах государственной безопасности, что председатель лишил его слова. «Попридержи язык, парень, ты только отягчаешь свою участь!» — бранил его адвокат. «Разве на суде не полагается говорить всю правду?» — невозмутимо и как бы наивно спрашивал Борис. Во время чтения приговора ни один мускул не дрогнул на его грубоватом, широкоскулом лице. Он только чуть побледнел. Легонько шевельнул плечами, словно говоря: «Люди делают свое дело, защищаются, что с них взять?» — уронил руки вдоль туловища и глубоко вздохнул. Тяжелее всего была мысль о сынишке. Совсем еще малыш, будет расти сиротой и не сможет вспомнить отца. Жена-то еще молодая, поплачет-погорюет, а потом махнет рукой и, как уж заведено, выйдет замуж еще раз. Пускай. Борьба есть борьба, жертвы есть жертвы, а жизнь требует своего. Отцу будет трудно, но он сильный, все затаит в себе и никому не покажет своей муки. Мать будет лить слезы, волосы на себе рвать до обморока, до беспамятства и никогда не перестанет о нем горевать, но найдет утешение в других своих сыновьях, во внуках.

Когда огласили приговоры, родные и близкие осужденных заплакали. Борис досадливо поморщился. Чего плачут? Надеются слезами смягчить приговор? Полицейские, которые и на суде не отходили от своих жертв, стали выталкивать родственников осужденных из зала. «Пускай, тем лучше, нечего тут скулить»,— подумал про себя Борис.

Прошение о помиловании на высочайшее имя он подписать отказался. И когда во время первого свидания отец сухо обронил,— мол, отчего не попробовать, вдруг

окажет действие, Борис спокойно и решительно ответил: «Просить о помиловании — значит отречься от своей деятельности. А я не отрекаюсь». Адвокату же заявил: «Раз решено нас повесить, всем этим прошениям грош цена».

Его поместили в камеру, где, кроме него, было еще трое смертников. Их приговорили к смерти «за саботаж и подпольную деятельность, направленную против порядка и безопасности государства». Двое из смертников были людьми умными и начитанными, знавшими, за что они борются и за что отдадут жизнь. Третий был отступником. Себялюбивый, тщеславный, он еще до войны был завербован иностранной разведкой. Похвалялся, что был когда-то социалистом, но потом понял, что социализм не соответствует нашим условиям и характеру нашего народа-земледельца и поэтому эволюционировал к более трезвым политическим взглядам. Борису казалось, да и оба других смертника тоже так считали, что этот субъект способен на все, чтоб спасти свою шкуру. И остерегались его. Он все старался занять местечко получше, попросторнее, чтоб удобнее было лежать, чтоб было где повернуться, норовил урвать кусок получше, первым получить миску похлебки и последним вернуться в камеру... Позже его перевели в седьмое отделение. Привели двух других, славных людей, но вскоре одного из них тоже перевели куда-то, и в камере снова осталось четверо смертников.

В тот день, когда он узнал, что приговорен к смерти, Борис после вечерней поверки лег и до утра думал, не смыкая глаз. Как сделать, чтоб спастись от петли? Эта мысль упорно, неотступно сверлила мозг. На то, что царь помилует его, он не надеялся, да и не хотел этого. Просить о помиловании — значит самому признать, что он преступник, что он совершал дурное дело. А ведь дело, которое он делал, было хорошим. Только мало он успел. Надо, чтоб другие продолжили. И оставшиеся на свободе обязательно подхватят его дело. Но как же они будут работать, как будут продолжать начатое, если он станет вымаливать прощение у врага? И все же нельзя допустить, чтоб его вздернули, как какое-нибудь чучело. Надо бежать. Как? Борис думал об этом. И у него еще будет время хорошенько это обдумать. При малейшей возможности — бежать, не колеблясь ни секунды, бежать. В худшем случае его подстрелят. Что он теряет? Вместо виселицы — пуля. Только и всего.

Но если случай сам собой не представится? Неужто

сидеть сложа руки и ждать, пока однажды ночью его вытащат из камеры? Борис старался сообразить, как он может вырваться из рук палачей. Легче всего удрать, если бы его повезли куда-нибудь за стены тюрьмы. Допустим, перевели бы в другую тюрьму или отправили бы в суд в качестве свидетеля по какому-нибудь делу. Но по какому?.. И он стал размышлять. Устроить бы так, чтоб его припутали к делу, к которому он не имеет никакого отношения. Лишь бы только оказаться вне тюремных стен. Ему казалось, что дальше уж все устроится само собой. Он сумеет избавиться и от цепей, если его закуют, и от наручников, справится и с конвоирами, даже если их будет трое на одного.

Борис несколько раз вскарабкивался по стене и подолгу смотрел в зарешеченное окошко. Внизу был задний двор тюрьмы с огороженными «четырехугольниками», огородом, с тропинками и манящим пространством у каменной стены. По углам торчали зловещие вышки, и часовые в любой момент могли взять тебя на прицел. Человеческая голова в рамке маленького оконца — отличная мишень. Нажал на спусковой крючок — и дело с концом. Борис смотрел в окно, и по телу его пробегала дрожь. Правда, солдаты на вышках по большей части были хорошие ребята и делали вид, будто ничего не замечают. Однако попадались среди них и тупые, нерассуждающие служаки, слепо исполнявшие приказ — стрелять в каждого, кто осмелится показаться в окне... За тюремной стеной расположены артиллерийские казармы. Видны несколько орудий, грузовики, тут брошенный лафет, там — пустой зарядный ящик. Перед казармой снуют солдаты, какая-то легковая машина завернула в ворота и въехала в просторный двор... Борис слезал с окна и долго, тщательно обдумывал обстановку, препятствия, опасности. Нельзя действовать вслепую, наобум, только потому, что в голове мелькнула какая-то хорошая мысль. Рисковать следует только при наличии известных шансов на успех. Иначе какой смысл? А совершить отсюда побег — дело действительно нелегкое. Спуститься с четвертого этажа мимо стольких надзирателей, пробраться по двору так, чтобы не заметил ни один часовой на вышках, преодолеть столько препятствий и остаться живым — нет, скорей всего это невозможно. И Борис снова придумывал, что надо сделать, чтоб его вызвали свидетелем по чужому

делу и вывели из тюрьмы на законном основании, в сопровождении какого-нибудь дурака-конвоира.

Часто Борис подходил к глазку и подолгу жадно разглядывал узкое пространство мрачного коридора восьмого отделения. В глазках напротив тоже блестели чьи-то расширенные, настороженные зрачки.

В кармане своего арестантского халата он обнаружил английскую булавку. И почему-то обрадовался ей как замечательной, чуть ли не спасительной находке. На что могла ему пригодиться эта пустяковая вещица? Долго рассматривал он ее, но ничего в голову не приходило. В конце концов, привалившись плечом к косяку двери и время от времени поглядывая в глазок, он начал скоблить серую кору этой железной двери. Два дня царапал булавкой и выцарапал свое имя, откуда родом, к чему приговорен и за что. Потом нарисовал пятиконечную звезду, а под звездой мелкими буковками написал: «Да здравствует Рабочая партия! Да здравствует болгарский народ!» Потом тщательно вывел четыре заветные буквы: СССР. Звезду, СССР и партийные лозунги он написал так и на таком месте, чтоб их нельзя было увидеть, когда дверь в камеру открыта. Но, лежа на правом боку, он видел их, смотрел и радовался.

Борис был упорным и яростным курильщиком, но после приговора, подумав, решил, что надо забыть о табаке. Проклятое зелье притупляло волю и подрывало силы. Постоянная забота о том, как бы раздобыть сигарет, не давала спокойно обдумать способы вырваться из западни, в которой он оказался. Однажды утром он сдвинул брови — как делал всегда, когда принимал важное решение, и заявил: «Все! Больше не курю!» Многих страданий и многих усилий стоило ему это решение. Три дня и три ночи он не мог ни на чем сосредоточиться. Сходил с ума от какого-то упорного нестерпимого зуда. Пальцы правой руки судорожно сжимались, будто стискивая желанную сигарету. И все время свербило в груди, словно легкие томились без сладкого, успокоительного дыма. Чуть задремав, он уже видел во сне только сигареты и курильщиков, но все складывалось так, что он не мог вдохнуть ни глоточка этого ароматного дыма. Первые дни он после обеда и ужина час или два не был в состоянии думать ни о чем, кроме табака. Но стойко отражал все атаки, все искушения всемогущей привычки. И радовался, чувствуя, как с каждым днем воздух, которым он дышит, кажется

ему все более приятным, а легкие без усилия наполняются и так же легко выталкивают отработанный воздух. По всему телу разливалось забытое чуть ли не с детских лет ощущение какой-то свежести. И он чувствовал, как прибывают силы, которые так ему пригодятся, если, благодаря счастливой случайности, он окажется за стенами тюрьмы... Быть может, придется откуда-то прыгать, бежать, отбиваться, бороться... После того как тоска по куреву поубавилась, Борис стал заниматься гимнастикой. Стараясь не мешать соседям, он часами делал приседания — то на одной ноге, то на другой, ритмично размахивал руками, наклонял туловище, делал повороты в стороны. Соседи с насмешливым любопытством наблюдали за ним. К чему эти упражнения? И однажды с мягкостью, свойственной людям, которым грозит одинаково тяжкая и почти неотвратимая участь, сказали: «Мы в полиции столько вытерпели, что святой Петр наверняка впустит нас в рай». Ничего не ответив, Борис все так же усердно и неутомимо продолжал свои гимнастические упражнения.

Однажды ему неожиданно дали свидание с братом. Присутствовал при свидании надзиратель — добряк, который притворялся, будто ничего не видит, и старался держаться подальше от решетки. Загоревшись надеждой, уверенный, что это свидание будет для него спасительным и решающим, Борис прильнул к решетке и, подчеркивая каждое слово, сказал:

— Сделайте так, чтоб меня вызвали как свидетеля... Отыщите человека, который наговорил бы на меня... Есть такие... Пусть меня обвинят в чем угодно... Мне все равно... Я все возьму на себя, только бы меня хоть раз отсюда вывели...

Брат слушал его в изумлении.

— Зачем же? — шепотом спросил он.

— Неважно... Потом поймешь! — властно ответил Борис.— Только обязательно...

Долго, напряженно ждал он, чтоб его, как свидетеля, повезли на допрос. В одно из свиданий он намекнул на это отцу, но тот только пожал плечами. Даже не понял, о чем идет речь. Видимо, брат ничего ему не сказал, может быть, хотел устроить все сам. Борис считал, что это можно организовать очень легко. А если только его выведут за ворота, он убежит, непременно убежит, будь это хоть среди бела дня...

Дни и ночи напролет он прикидывал и рассчитывал, как надо действовать, если его будет сопровождать один конвоир, как ему справиться, если их будет двое, и что предпринять, если — в самом худшем случае — конвойных окажется трое и они будут идти за ним с примкнутыми штыками. Борис думал о побеге не вообще, он старался предусмотреть все случайности. Рассчитал каждый шаг, каждое движение, каждый удар... Если побег удастся, если он сумеет отделаться от конвойных, об остальном он будет думать потом. Тем не менее он уже прикинул, где можно укрыться, с кем установить связь, чтобы вновь принять участие в работе подполья. До весны. А весной он подастся в лес к партизанам.

Очень ему было досадно, что его арестовали. Он корил себя и ругал, что не предусмотрел наихудший исход, не подумал о возможности провала. Жестоко осуждал себя за то, что с таким легкомыслием отнесся к столь опасной работе. Полиция выжидала, полиция не сразу принялась за аресты, и это сбило его с толку. Она нащупывала самое уязвимое место и нашла то, что искала. А он не сумел этого предугадать... Ах, кабы тогда ему те знания, тот опыт, которые он приобрел здесь, в тесной тюремной камере! Теперь-то он действовал бы иначе, но теперь он беспомощен, он за решеткой и над головой навис смертный приговор.

Какие только умные и интересные мысли не приходили ему в голову сейчас, когда он размышлял, лежа на свалявшемся грязном тюфяке! А тогда действовал точно вслепую, с завязанными глазами. Надо было постоянно быть настороже, начеку, глядеть в оба... Да, верно говорится: век живи, век учись... Но долог ли его век, успеет ли он использовать все то, что узнал в полицейском управлении во время предварительного заключения, в напряженные дни процесса и теперь, в отделении смертников? Нет. Он им не дастся, он убежит! Только бы его вывели за стены тюрьмы!..

В ту ночь, когда праздновался день рождения Лёли Каевой и патефон играл любимое танго главного прокурора, трое приговоренных к смерти коммунистов спали каждый у себя в камере. Пружина, если ее долго и слишком сильно натягивать, ослабевает, нервы теряют

чувствительность. Много ночей приговоренные к смерти просидели без сна в ожидании, что их поднимут и уведут туда, за то здание, где находилась тюремная картонажная мастерская. Но мало-помалу они успокоились, стали по вечерам засыпать, как все другие заключенные, и редко просыпались среди ночи,— они уже привыкли к тому, что утренняя заря застает их целыми и невредимыми, привыкли жить повседневными делами и заботами. И в эту ночь они тоже спали глубоким сном, едва ли не более глубоким, чем обычно. Лежали съежившись,— ночи становились прохладными.

Юрдан укрывался коротеньким одеяльцем и потому так скорчился, что упирался коленями в спину своего тщедушного соседа. Время от времени он по старой привычке стонал во сне и протяжно причмокивал, потом снова стихал. Ему снилось, что он в бане, а вода холодноватая и пол, на который сотни ног натаскали всякой грязи, тоже холодный, и холод проникает даже сквозь мокрые деревянные подошвы... Оглянувшись назад, чтоб удостовериться, целы ли его вещи, он понял, что находится вовсе не в бане, а в речке, что течет за селом. Вышагивает по воде, точно аист, штанины намокли, а вода холоднющая, потому что это вешние потоки, сбегающие с гор, где уже тает снег...

Иван лежал на правом боку, слегка откинув голову, и спал своим обычным, крепким, здоровым сном, при котором мозг полностью отдыхает. Дышал ровно, глубоко, спокойно, как человек, у которого впереди радостный, приятный день. Жилы на мускулистой, крепкой шее чуть пульсировали — это бурлила в крови здоровая цветущая молодость.

Борис спал у самой стены. Он лежал на спине, и одна нога, худая, мускулистая, высунулась из-под одеяла. Видны были черные, давно не стриженные ногти, узкие и чуть выпуклые, как орлиный коготь. Молодое лицо, с которого еще не совсем сошел бронзовый налет солнца и ветра, было ласково и спокойно. Характерная складка у рта — признак твердой воли — сейчас исчезла. Сквозь полураскрытые губы тускло поблескивали два верхних зуба. Он улыбался во сне,— наверное, чему-то красивому, радостному. То были часы самого крепкого, самого сладкого сна. Ему снилось, что он едет в поезде, сходит на какой-то незнакомой станции и, лишь увидев старого стрелочника, вдруг понимает, что это их станция. Ему

кажется, что он вернулся откуда-то издалека, отслужил в армии где-то возле Дервишского кургана на турецкой границе и теперь торопится домой. Тут показывается телега, а на телеге они, родные: жена, сынишка, мать, отец. Отец протягивает руку, чтоб поздороваться, но вдруг заходится кашлем, хриплым кашлем курильщика. Борис открыл глаза, подскочил как ужаленный. И даже не умом, а скорее всем существом своим ощутил: пришло то, чего они ждали столько месяцев, час пробил. Во рту мгновенно пересохло. Он часто-часто заморгал, вскочил на ноги и кинулся к противоположной стене. Дежурный — старший надзиратель, явившийся в сопровождении нескольких помощников, еще раз откашлялся и кивком головы указал на дверь, делая вид, будто ничего особенного не произошло и не должно произойти.

— Собирай вещички, в Сливен тебя переводят,— сказал он.

В эту минуту в железном проеме двери показались два солдата с примкнутыми штыками. Борис, на мгновение поверивший, что его в самом деле переводят в другую тюрьму, все понял. «Пропал!» — выдохнул он. Тело налилось, как свинцом, жестоким, безысходным отчаянием. Он хотел шевельнуться, но движения были скованны, неуклюжи. Нижняя губа треснула, и тонкая алая струйка крови прочертила подбородок. Он слизнул ее, и язык дрогнул от неприятно знакомого, солоноватого вкуса крови. «Выхода нет! Конец!» — мелькнула мысль. Каким-то краем сознания он постарался вызвать образы родных, чтоб с ними проститься. Ясней всего он увидел жену и сына. Перед ним встало то, о чем он так мечтал: малыш улыбается ему и радостно, бессмысленно машет крохотными пухлыми ручонками. И одновременно Борис напрягал все силы, чтоб в эти последние минуты жизни принять единственно верное решение. Он помнил, не мог не помнить: главное — держаться достойно. Да, достойно. Но выдержит ли он? Хватит ли силы вынести с твердостью все то, что его ожидает?..

Хватит.

— Пошли, милок,— глухо произнес старший надзиратель, лицемерно улыбаясь.— Пошли, не то опоздаем на поезд.

Борис машинально потянулся за башмаками, даже наклонился было, чтобы обуться, но потом, уже взяв в руки носок, опомнился.

Тут один из смертников — тот самый, которого Борис всегда слушал не отрываясь, встал и гневно взмахнул рукой.

— Палачи! — крикнул он. Голос его дрожал, но был грозен.— Еще одну жертву вырываете из наших рядов!

— Ладно! Не валяй дурака! — злобно огрызнулся старший надзиратель. И, вынув часы, показал Борису на циферблат: — На, гляди, сколько времени. Пока оформят бумагу, пока доберемся до вокзала — в самый раз успеть на бургасский поезд.

Солдаты и надзиратели стояли в дверях со смущенными, виноватыми лицами. Эти минуты притворства и насилия были нестерпимы. Все, кто пришел сюда, чтоб увести на смерть этого молодого, умного парня, тысячу раз предпочли бы накинуться и связать его, как они это делали обычно, чем смотреть, как он стоит в мучительном колебании и как дрожат у него руки.

— Быстрей! — уже строже и нетерпеливее приказал старший надзиратель.

Борис отставил свой башмак, взялся за деревянный. Старший надзиратель, решив, что он собирается замахнуться и ударить, подал знак помощникам. Те набросились на Бориса. Глухая схватка продолжалась всего несколько мгновений. Борису надели наручники, завязали рот.

В тот момент, когда тюремщики набросились на Бориса, щелкнул ключ и в камере Ивана. Резкий звук отдался в ушах всех смертников. Они вскочили на ноги, выпучив глаза.

— Иван Тодоров Проев! — каким-то театральным тоном произнес надзиратель.— Пошли!

Иван резко обернулся, осмотрелся вокруг, словно в поисках выхода, и обезумевшим взглядом уставился на надзирателя и юного солдатика, который стоял за порогом. Зачем они пришли? Зачем зовут его? «За картонажную мастерскую!» — пронзила мозг страшная мысль, которую он так долго и упорно гнал от себя. Еще со времен предварительного заключения он знал, что позади картонажной мастерской во дворе тюрьмы ставят виселицы. Там и заканчивался путь, по которому ни один из приговоренных к смерти уже не возвращался. Мысль об этой проклятой картонажной мастерской до той минуты словно таилась где-то в глубинах его сознания, а теперь вдруг с невероятной силой обрушилась на него. Он хотел крик-

нуть, но не мог издать ни звука. Казалось, голос провалился куда-то глубоко-глубоко и не может пробиться наружу.

— Вставай! Тебя вызывают вниз, в контору,— неуклюже соврал надзиратель.

Иван замахал руками, словно отгоняя рой мух. Голос наконец вернулся к нему, с силой вырвался из горла.

— Не хочу! — закричал он.— Убирайтесь отсюда! — И голос его громом прокатился по глухому коридору восьмого отделения. В одной из камер напротив заключенные заколотили ногами в обитую железом дверь.

Тюремщики схватили его за руки, хотели нацепить наручники, но он одним взмахом отшвырнул всех от себя, сверкая глазами, готовый убить каждого. Старший надзиратель, услыхав крик и сообразив, что жертва сопротивляется, ворвался в камеру Ивана и набросился на него. Иван ударил его по шее, но тут остальные надзиратели, очухавшись, тоже в него вцепились. Иван напряг все силы, чтоб скинуть их с себя, но старший надзиратель ударил его по голове железным бруском, который всегда носил при себе, когда выводил людей на казнь. Оглушенный ударом, Иван на мгновение замешкался, и надзиратели, забрызганные кровью, надели ему наручники и завязали рот.

— Тащите вниз! — приказал старший надзиратель, тоже в крови, багровый от ярости и напряжения.

Однако оба отделения верхнего этажа уже были подняты на ноги. Горящие глаза приникли к волчкам, отовсюду неслись проклятья палачам, уже в нескольких камерах стучали в дверь деревянными башмаками.

Юрдан поднялся прежде, чем тюремщики отперли камеру. Встали и его товарищи. Ждали — бледные, взволнованные, негодующие. Сердца колотились так, что казалось, вот-вот выскочат.

Один из надзирателей повернул ключ и толкнул железную дверь.

— Юрдан Миланов Юрданов! — громко и чуточку напыщенно выкликнул он.

Лицо Юрдана совсем побелело, руки беспомощно повисли вдоль тела. Он силился понять, наяву все это или это частичка того беспокойного сна, который был прерван внезапным шумом в коридоре. И наконец уразумел, очнулся: «Смерть!» Но сколько сейчас времени? Не слишком ли поздний час для казни?

— Тебя вызывают вниз, для справок,— прибег к избитой, давно уже всем известной уловке надзиратель.

— Знаю,— бросил Юрдан. Он обнял одного за другим своих товарищей, горячо и крепко расцеловался с ними и, как был, босиком, протиснулся в узкий проход между пораженными надзирателями и стоящим в стороне навытяжку юнцом-солдатиком. В коридоре он обернулся к «колесу» и звонко, отчетливо крикнул:

— Прощайте, товарищи! Мы идем на смерть! Отомстите за нас!

Надзиратели набросились на него, но, пока ему надевали наручники и затыкали кляпом рот, он продолжал кричать.

Вся тюрьма вдруг загрохотала от ударов деревянных башмаков. Колотили по дверям не только смертники, не только седьмое отделение, но и все политические заключенные; к ним стали присоединяться уголовники. Широкие окна в глубине коридоров задрожали. Огромное серое здание сотрясалось в холодной серой ночи, гудело от тысяч ударов.

Главный прокурор, который уже успел прибыть в тюрьму, нервно шагал по кабинету начальника, сердито попыхивая сигаретой. Время от времени он резким движением распахивал дверь и выглядывал в коридор, где замерли в ожидании несколько человек из низшего тюремного персонала. Стук и крики, доносившиеся из камер, точно ножом резали ему слух. Из южных окон седьмого отделения долетели слова песни:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

— В карцер! — скрипя зубами, выдавил главный прокурор.— В карцер всех до одного! — Он обернулся к начальнику тюрьмы.— Что это значит, господин начальник? Существуют тут порядок, власть?

— Завтра... Нет, сию минуту выявим виновников, господин главный прокурор...

— Выявим виновников! — язвительно протянул тот, передразнивая начальника.— Что там выявлять? — И показал в сторону камер.— Режим, строжайший режим! Чтоб они пикнуть не смели!

— Коммунисты... вы ведь знаете, что это за народ...— начал оправдываться начальник тюрьмы, но умолк на полуслове, потому что главный прокурор пренебрежительно махнул рукой, а в коридоре послышались шаги и голоса. Это привели осужденных. Главный прокурор снова распахнул дверь. На мгновение его взгляд встретился с взглядом смертников. Он быстро отошел за письменный стол, опустился в кресло и закурил новую сигарету.

— Пусть их там пока приведут к исповеди! — махнул он рукой и поглядел на часы.

Троих осужденных ввели в просторную квадратную комнату, где обычно исповедовали смертников. Окнами она выходила на север, во двор. Выглядела комната настоящим хлевом: грязь, запустение, даже пол не подметен. Надзиратели толкнули Бориса к северной стене, Юрдана к западной, Ивана к южной. Старший надзиратель приказал им повернуться лицом к стене, но они даже не шевельнулись, словно не слышали. Он подбежал к Борису и грубо ткнул в плечо:

— Кругом!

Борис презрительно посмотрел на него и продолжал стоять, не шевелясь.

Другие надзиратели кинулись к Юрдану и Ивану. В это время дверь отворилась, и в комнату вошел священник. Он испытующе оглядел осужденных и уставился на Ивана. Они долго смотрели друг на друга. Иван не отвел глаз.

— Оставьте меня наедине с этими юношами,— сказал священник.

Надзиратели вышли.

— Чада мои,— обернулся священник к Борису, потом к Ивану и Юрдану.— Встаньте лицом к стене, дабы я мог с каждым из вас поговорить без свидетелей.

— Нам друг от друга скрывать нечего,— сказал Борис.

Священник притворился, будто не расслышал.

— А если кто-нибудь из вас желает сообщить нечто особое, можно пройти в соседнюю комнату. А?

Никто не ответил, не пошевельнулся.

Тогда священник пристал к Ивану.

— Чадо,— произнес он слащавым тоном, желая казаться простым и сердечным. — Не хочешь ли ты сказать что-нибудь, не отягощает ли тебе что-нибудь душу?

Облегчи свое сердце, исповедуйся, дабы заслужить прощение всеблагого господа нашего!

Иван, весь в крови, еще не придя в себя от удара, только отрицательно мотнул головой. В глазах у него была усталость и словно какое-то безразличие.

— Не трудись, отче, мы безбожники,— сказал Борис.

— Ты говори за себя,— наставительно ответил ему священник. — Сова о сове, а всяк о себе. Чада мои, — с профессиональной кротостью снова завел священник. — Никто из нас не вечен на этой земле. То, что волею божьей восстало из праха, вновь станет прахом. А тот, кто достоин царства божья, в царство божие и отыдет...

— Послушай, отче,— прервал его Борис.— Ты про эти дела старухам толкуй.

Священник и бровью не повел.

— Ибо,— продолжал он все тем же умильно-наставительным тоном,— и живем мы ради господа нашего, и ради господа умираем, как сказано в послании апостола Павла.

— Мы, святой отец, коммунисты и жизнь отдаем за свой народ,— сказал Борис.

— Чада мои,— распростер руки священник.— Коммунизм есть учение диавола, который погубил тела ваши. Так хоть в последний час спасите от погибели души... Бог больше всех возлюбит того, кто в последний миг узрит свет его учения...

— Будем мы исповедоваться, нет ли, тебе, отче, все равно заплатят,— заговорил Юрдан.— Оставь ты нас в покое, очень тебя просим.

— Сын мой,— обернулся священник к Ивану,— поведай страданья свои, исповедуйся в последний час.

Иван шевельнул кистями рук, до боли стиснутых холодным металлом наручников.

— Ни к чему эти уговоры, отче,— сказал он и снова судорожно и беспомощно пошевелил кистями.

Священник пожал плечами, посмотрел на каждого долгим взглядом и вышел.

Приговоренных вывели в маленький коридор. Старший надзиратель вошел в кабинет начальника тюрьмы справиться — пора ли вести их дальше. Главный прокурор посмотрел на часы. Пора. Было три часа сорок минут.

Процессия вышла во двор, потом свернула к галерее, соединявшей административный корпус с тем, в котором находились тюремные камеры. Эта галерея, точно мост,

перекинутая над передним двором, была известна в восьмом отделении под названием «Мост смерти». Для того чтобы попасть к месту казни позади картонажной мастерской, надо было сначала пройти под ним. Эти сто — сто пятьдесят шагов были дорогой ужаса, дорогой конца, откуда нет возврата.

Ночь была мрачная, холодная, дул не сильный, но пронизывающий ветер. Трое смертников, вдохнув свежего воздуха, посмотрели на окошки тюремного корпуса. Борис остановился на миг, вскинул голову.

— Товарищи! — крикнул он, словно собираясь произнести длинную, пламенную речь.— Мы идем на казнь! Отомстите за нас!

— Товарищи! Мы уходим! — громко, но с какой-то смертельной тоской произнес Иван.— Прощайте, товарищи!

— Товарищи, продолжайте борьбу! — обернулся к узеньким окошкам Юрдан.—Да здравствует Коммунистическая партия!

И серый тюремный корпус, ненадолго затихший, отозвался. Люди выкрикивали революционные лозунги, вновь загрохотали удары. Где-то снова запели:

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!..

— Усмирить этот сброд! — крикнул главный прокурор.

Виселицы высились между тюремной оградой и восточной стеной картонажной мастерской. Обычно больше, чем по двое в один прием, в тюрьме не вешали. Но распоряжение прокурора было ясным и точным: в четыре утра, всех троих одновременно.

Осужденные остановились. Остановились и все, кто находился тут по долгу службы. Посередине, впереди всех, стоял главный прокурор. Слева от него, слегка подрагивая от холода, секретарь суда с папкой под мышкой. Справа — смущенный, испуганный начальник тюрьмы. Чуть позади, с бесстрастным видом, стоял тюремный врач. Он кутался в пальто и время от времени с лютой злобой взглядывал на осужденных коммунистов. Он ненавидел их не только за то, что они коммунисты, но еще и за то, что по их милости его подняли в неурочное время

с мягкой и теплой постели. Помощник начальника тюрьмы и старший надзиратель суетились возле приговоренных. Священник и палач прошли вперед, влево. Присутствовали все дежурные надзиратели, а также все надзиратели, жившие при тюрьме, начальник караула с подразделением солдат и еще двое служащих, которых разбудили и привели сюда, не сказав, кому и для чего они понадобились...

Приговоренные к смерти заняли свои места, а секретарь суда раскрыл папку. Приговоренные смотрели на этого гладко выбритого человека с круглым личиком и думали, что, будь у них свободны руки, они одним ударом раздавили бы его, как червяка. В круге тусклого света, падавшего на раскрытую папку с приговором, он казался им еще ненавистней и омерзительнее. Главный прокурор стоял, поджав губы, о чем-то задумавшись. Секретарь, который только еще перебирал листы приговора, обернулся к главному прокурору и шепотом спросил, пора ли начинать. Тот нервно вздрогнул и сухо бросил: «Да». Секретарь забормотал что-то, словно читал не смертный приговор, а какой-нибудь тропарь с амвона захолустной деревенской церквушки. «Именем его величества... — Он проглотил начало, выделив только слово «приговор», — признает подсудимых Бориса Илова Митовского, — следовали возраст, место рождения и неизменные — болгарин, православный, грамотен, под судом и следствием не был, — потом он повторил, слово в слово, то же самое о Юрдане Миланове Юрданове и Иване Тодорове Проеве — виновными в том, что они организовали подпольную коммунистическую группу с целью совершения поджогов, убийств и диверсий...»

Борис уже не смотрел на ненавистного секретаря суда, не слушал и его бормотания насчет всяких пунктов и параграфов Закона о защите государства и Уложения о наказаниях, которые он знал наизусть и на основании которых его приговорили к смерти. Борис думал теперь только о том, что пришел конец. Он стоял, точно окаменев, и лишь одно поддерживало в нем силы — его коммунистические идеи. Он должен показать им, как умирают коммунисты.

Процедура была закончена. У каждого в отдельности спросили, каково их последнее желание. Борис крикнул в ответ:

— Да здравствует Болгария! Да здравствует Коммунистическая партия! Да здравствует Красная Армия!

Юрдан огляделся вокруг, словно не понимая, чего от него хотят, и сказал:

— Я письменно написал... еще когда нам прочитали приговор... отцу...— И попросил, чтоб достали у него из кармана это письмо. Потом взглянул вверх и крикнул: — Да здравствует болгарский народ! Да здравствует Советский Союз!

Голоса товарищей, удары в двери камер, песни, раздававшиеся там, помогли Ивану прийти в себя. Эти звуки и теперь достигали его слуха, и это придавало ему силы.

— Ничего мне не нужно,— сказал он.— Я умираю за Партию.— И передернул широкими плечами, потому что ему было холодно.

Все было готово, а прокурор почему-то медлил, не отдавал приказа. Он нервно поглядывал на часы. Поторопились. До четырех оставалось еще восемь минут. И целых восемь минут приговоренные стояли и ждали. То были страшные, кошмарные минуты, полные жестокого отчаяния и безумных надежд, мелькавших, точно летучие мыши, в их сознании.

Наконец главный прокурор взмахнул рукой:

— Привести приговор в исполнение!

И взглянул на часы.

Он был доволен. Он знал, что в эту минуту, когда он исполнял свой долг, там, в ярко освещенной, теплой гостиной она слушала его любимое танго...

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ

ТИХИМ ВЕЧЕРОМ

I

Он не спал. Лежал без сна и думал о том, как завтра все это произойдет: как он бросит ведром в конвоира и пустится что есть мочи по выжженному зноем лугу к спасительной нежно-зеленой полоске неубранной кукурузы метрах в четырехстах — пятистах от чешмы. И когда эта картина отчетливо вставала у него перед глазами, все мускулы тела напрягались и дыхание перехватывало так, будто он и в самом деле уже бежал под выстрелами, чувствуя за собой смерть.

В десятый раз, быть может, представлял он себе это, лежа на нарах в узкой, как чулан, камере и глядя в потолок, на котором лампочка, затянутая паутиной, выткала нежный кружевной узор. Он уверил себя, что, чем явственнее представит себе все заранее, тем легче он это осуществит, тем больше найдет в себе сил. Самое главное —время: точно рассчитать секунды и скорость ног.

Он верил, что побег удастся, и тщательно проверял себя, чтоб убедиться в том, что ощущение это его не обманывает. Нужно было во что бы то ни стало сохранить эту уверенность, и он ни разу не позволил себе подумать о том, что его могут убить (как будто это совершенно исключалось) или же ранят и схватят, что было бы хуже всего, так как в этом случае личность его непременно будет установлена и небольшой, но ценный склад оружия будет навсегда потерян для товарищей.

Он не мог себе простить, что дал себя арестовать какому-то жалкому полицейскому агенту. Дурацкий случай. Это произошло на базаре; он стоял возле лотка, где жарили пончики, и смотрел по сторонам, как вдруг рядом вырос агент и приказал следовать за ним. Он повиновался, убедившись, что удрать невозможно. Но главной

причиной, побудившей его сдаться без сопротивления, была уверенность в том, что его задержали просто на всякий случай, а документы у него надежные.

Он иронически-любезно улыбнулся и покорно последовал за агентом, продолжая по дороге в полицию доедать купленные на базаре пончики. А на душе было очень неспокойно, несмотря на поддельное удостоверение, которое уже не раз его выручало, и пропуск, в котором значилось, что студент Антон Ахтаров, уроженец Софии, эвакуированный в такое-то село Плевенской околии, направляется в этот городок по семейным обстоятельствам.

Очевидно, он недооценил провинциальную полицию, рассчитывая, что его интеллигентный вид и хорошее платье легко собьют ее с толку. Начальник местного участка оказался человеком подозрительным, недоверчивым. Молча выслушал его объяснения, пробежал глазами документы и, поглаживая пальцами свой огромный, безобразный нос, целую минуту разглядывал Антона презрительно и равнодушно. Какая-то муха положила этому занятию конец. Начальник участка смешался, бросил на арестованного сердитый взгляд и, не обращая внимания ни на какие протесты, приказал задержать его.

С этой минуты в душу Антона закралось зловещее подозрение: не произошел ли еще один провал? Быть может, тот человек, для встречи с которым он прибыл, уже взят? Он кусал губы в бессильной злобе на самого себя, на свою неосторожность, на то, что столь по-глупому позволил себя арестовать. Никогда б не поверил, что так бесславно попадет в руки полиции, не оказав сопротивления, никого не убив и не будучи сам убит. Он знал себя и боялся, что не выдержит пыток при допросе. И вдруг попался — так просто, так неожиданно и так недостойно! Слава богу, что в лацкане пиджака зашит яд, к которому он прибегнет, когда не останется никакой надежды. Он то и дело нащупывал его рукой, чувствуя, как сжимается сердце. Он часто без всяких сантиментов думал о смерти, говоря себе, что самое тяжкое — боль, и страх перед смертью проистекает именно от страха перед болью. Но ведь боль не может длиться вечно? Угаснет сознание, и вместе с ним прекратится боль.

Внутренне он давно уже свел свой жизненный баланс. Его жизнь безраздельно отдана партии. Если партия одержит победу в борьбе и он доживет до этого дня, то останется жить. Если же партия проиграет битву, то он

будет бороться столько, сколько хватит сил, и рано или поздно сложит голову в этой борьбе. Он не успел вкусить никаких радостей жизни, хотя ему уже скоро двадцать восемь и он в расцвете молодости и сил. Он ни разу в жизни еще не любил, ни разу не поддался голосу плоти, предпочитая книги обществу девушек, борьбу — развлечениям, дело — всему остальному. Сын рабочего-металлиста, он с огромным трудом, самоучкой, получил образование и подготовил себя к тому трудному, опасному пути, который был им избран. Окружающий мир был ему враждебен, у него было мало друзей — только его товарищи, единомышленники, с которыми он виделся редко, которые жили в таком же напряжении, как и он. До поступления в партизанский отряд он был на ответственной партийной работе, выполняя труднейшие задания по организации Сопротивления.

Помимо злобы на самого себя, не давала ему покоя еще мысль о том, пошлют ли его завтра снова к чешме, за водой. Если не пошлют, тогда все потеряно, всякая возможность побега исключается.

Он знал, что его будут держать под арестом впредь до выяснения личности. Должно быть, сейчас наводят справки. Иначе чего ради стали бы они его фотографировать? Привели какого-то тщедушного венгерского еврея, который горбился за допотопным своим аппаратом, спрятав голову под кусок черной материи. И пока Антон стоял у стены, начальник участка и агент вглядывались то в него, то в карточку, которую держали в руках. Потом он заметил по выражению их лиц, что они недовольны, и с облегчением заключил из этого, что карточка не его. Агент отвел его назад в камеру, и, когда он снова принялся негодовать на незаконный арест и даже угрожать, полицейский чин несколько смущенно сказал: «Может, вы и правы, но мы обязаны проверить, что вы за человек и что вам нужно у нас в городе». Дал ему одеяло и вообще выказывал явное расположение. Было это вчера в первой половине дня, а после обеда, когда он потребовал, чтобы ему разрешили подышать свежим воздухом, его послали за водой.

Когда его вывели на задний двор, там уже стояла впряженная в телегу лошаденка, а рядом — арестант, молодой парень, смуглый, кудрявый, который, слегка прихрамывая, усердно суетился возле бочонка для воды. При виде этого парня у него перехватило дыхание. Не связной

ли это, не тот ли самый человек, который должен был передать ему шесть карабинов и патроны?

Оцепенев, смотрел он на паренька, пораженный тем, что видит его здесь, и притом не избитым до полусмерти, а бодрым и здоровым. Если это в самом деле связной, то, должно быть, он попал сюда совсем недавно и, возможно, приведен нарочно, с провокационной целью?!

Он взглянул на конвойного в надежде прочитать у того на лице что-то такое, что подтвердит его подозрения, и оглянулся вокруг, почти уверенный в том, что за ним наблюдают, но черный высокий полицейский глядел на лошаденку, а больше во дворе никого не было. В смятении Антон подошел ближе, не спуская с парня глаз. Мало-помалу ему все же удалось придать лицу спокойное, обиженное выражение. Ведь следовало разыгрывать роль оскорбленного интеллигента,— мало того, что арестовали без всяких оснований, так еще посылают воду возить!

Двор был освещен послеполуденным августовским солнцем. Длинная тень протянулась от старого, выкрашенного бледно-розовой краской ветхого здания к навесу, где стояла пролетка с облепленными грязью колесами. Несколько коек, поверх которых кучей лежали тюфяки, жарились на солнечной половине двора, отбрасывая тени на замшелые плиты пересохшей чешмы, от которой осталась только цинковая труба да медный кран. Двор был обнесен каменной стеной, примыкавшей к заднему фасаду здания; со стороны улицы перед домом были разбиты рабатки с увядшими цветами.

Антон пошел рядом с лошаденкой, которая нервно жевала удила. За широкими воротами оказалась узкая крутая улочка, с обеих сторон которой тянулись каменные ограды. Оттуда выглядывали сливовые сады и сгорбившиеся домишки.

Он нес в руках ведро и воронку — с их помощью будут наполнять бочонок водой. Улочка была каменистая, и бочонок оглушительно громыхал. Под гору лошаденка прибавляла ходу, и низкорослому хромому пареньку было трудно ее сдерживать. Антон подошел и забрал у него поводья.

— Держи ведро! — сказал он и, прежде чем тот протянул за ведром руку, успел шепнуть ему на ухо пароль.

Тот вытаращил глаза, большой рот изумленно раскрылся, обнажились зубы.

— Товарищ...— охнул парень.

— Ш-ш-ш... — сказал Антон. — Бери ведро. Не останавливайся.— И тихонько добавил: — Иди слева от меня.

Они продолжали идти рядом. Конвоир шел позади. Когда на каком-то узком, крутом повороте тот чуть поотстал, Антон, не поворачивая головы, спросил:

— Тебя когда взяли? Вчера?

— Да,— печально подтвердил парень.

— У мельницы?

— Нет, дома. Я только что собрался идти...

— За что взяли?

— Обыск. Нашли запрещенные книжки.

— Винтовки?

— На месте.

— Где? — нетерпеливо спросил Антон.

— На мельнице, под полом.

Антон с облегчением вздохнул.

— Били тебя?

— Не очень. Я им всегда сапоги чинил. Думаю, особенно бить не будут.

— Все отрицай.

— Ясное дело.

Конвойный поравнялся с ними, и они замолчали. Телега выехала за черту города, и на проселке бочонок громыхал уже не так оглушительно.

Через минуту они были уже возле чешмы, старой каменной чешмы, высокой и массивной, с длинным корытом, от которого тянуло затхлым запахом тины. Стояла засуха, воды было мало, и бочонок наполнялся медленно.

За чешмой тянулось ровное голое пространство — общинный выгон, а за выгоном — жнивье, в конце которого стояла несжатая кукуруза...

II

Если, допустим, на каждые сто метров нужно десять секунд, то он может преодолеть все расстояние секунд за тридцать пять — сорок, самое большее — за минуту...

Антон вдруг вскочил, подошел к двери, прислушался. Слышно было, как храпят полицейские. Где-то скреблась мышь. Паренек-сапожник сидел в соседней камере, за стеной. Антон пытался с ним перестукиваться, но тот понятия не имел о морзянке.

Убедившись, что за дверью никого нет, он выпрямился, опустил руки и приподнял правую ногу. Потом резким дви-

жением отпрянул назад и вскинул руки к груди, как бы защищаясь от какого-то предмета, которым в него швырнули. Левая рука отбросила воображаемый предмет, а правая метнулась к бедру. Там она задержалась и, когда нога отсчитала еще два удара, вытянулась горизонтально.

Он стал размышлять. Резко очерченное лицо его с широким подбородком и тонким носом с легкой горбинкой стало озабоченным, недовольным. За все время, пока он проделывал эти манипуляции, нога отсчитала всего пять ударов. Выходило, что после того, как он бросит в конвойного ведром и пустится бежать, тому, чтобы выстрелить, потребуется всего пять секунд.

Он недовольно поморщился и огорченно покачал головой. Если б была возможность ударить полицейского по голове, то тяжелая, окованная медью воронка сослужила бы лучшую службу, чем простое ведро. Но если тот снова заберется наверх, на кладку самой чешмы? Снизу его не ударишь. Все дело случая. Может быть, на этот раз будет другой конвойный, может быть, этот не станет забираться наверх?

Он снова лег и попытался заснуть. Надо, чтобы завтра нервы были в порядке, чтобы тело было бодрым и отдохнувшим. Он укрылся одеялом и ощутил тяжелый запах пота и ружейного масла. В возбужденном воображении возник партизанский лагерь — такой, каким он был накануне вечером; сидя у потухшего костра, командир отряда Гетман, комиссар и он, Антон, втроем обсуждали предстоящую операцию: надо было доставить в отряд винтовки и патроны к ним. Эти винтовки были выделены для их недавно сформированного отряда, но в результате неожиданного провала десять членов подпольной молодежной организации городка попали в лапы полиции. Оружие обнаружено не было, и только хромой подмастерье-сапожник, чудом оставшийся на свободе, знал, где оно спрятано.

Потом он увидел темное поле, по которому шел прошлой ночью, поблескивающие во тьме скирды соломы, мягкую, как бархат, пыль безлюдных проселков, высокое дерево, овраг и, наконец, темный силуэт старой, заброшенной водяной мельницы, вокруг которой тоненько попискивали комары и квакали лягушки. Он подкрался поближе, лег на живот и, выставив вперед свой тяжелый маузер с прикладом, долго вглядывался в мрачный силуэт мельницы. Ни единого звука не доносилось оттуда, и, на всякий случай сказав пароль, он пополз по заросшей тра-

вой, высохшей канавке, чтобы удостовериться, действительно ли на мельнице никого нет...

Заметив прислоненную к двери палку, он успокоился. Это был условный знак: значит, встреча со связным состоится в городе. Тем не менее он тщательно осмотрел все вокруг и решил, что переночует не на самой мельнице, а в сторонке. Комары кусались нещадно, целые тучи их звенели у него над головой, так что пришлось повязать носовым платком шею и как можно ниже оттянуть штанины брюк-гольф. Он пробыл там до рассвета, пока солнце не окрасило в розовый цвет скирды соломы на жнивье и верхушки деревьев. Тогда он решил зарыть револьвер в землю возле мельницы и выкупаться в речушке. В тех случаях, когда документы были надежные, он всегда поступал так: спрятав оружие, спокойно входил в село или город, где предстояла конспиративная встреча, и, если случалось, невозмутимо разговаривал с полицейским, заранее придумав убедительную причину своего появления здесь. Затем отправлялся в гостиницу и, пока кто-либо из полицейских чинов рассматривал его удостоверение личности, доставленное в участок владельцем гостиницы, спал спокойным сном.

...Он вышел на дорогу и вскоре оказался в городке. Вымощенная булыжником бесконечно длинная улица, освещенная утренним солнцем, повела его меж старых двухэтажных строений с низко нависающими крышами, похожими на широкополые шляпы, с лавчонками и длинными низкими оградами. При каждом доме — двор с широкими, на деревенский лад, воротами, перед воротами — чисто выметенная, выложенная плитняком дорожка. Ему не случалось прежде бывать в этом городке, так что первым делом следовало разобраться в его расположении. Он догадался, что за домами протекает речка — та самая, в которой он купался; увидел, что городок тихий, захолустный, но довольно далеко растянулся в длину. Ряд тополей с высохшими верхушками, четко вырисовываясь на фоне голубого утреннего неба, обозначал течение реки. На небольшой площади стояли два грузовика со снятыми шинами, колеса подперты большими камнями. Надо бы побриться. Бессонная ночь и долгая дорога вымотали силы и придали лицу тревожное выражение. Он вошел в первую попавшуюся цирюльню, где только-только успели побрызгать пол, и, пока его брили, рассматривал себя

из-под прищуренных век. Расспросы любезного и любопытного брадобрея несколько смутили его.

Потом он отправился на базар, по пути разглядывая вывески сапожных мастерских, потому что ему нужно было отыскать сапожную мастерскую «Начало» и попросить починить башмак, специально для этого разодранный.

На базарной площади жарили пончики. Голодный как зверь, он решил слегка подкрепиться, прежде чем продолжать розыски мастерской. Вот тут-то и подошел к нему агент...

Быть может, эта ночь — последняя в его жизни... Дело случая. Рока нет — есть борьба, а в ходе борьбы — тысячи случайностей...

...Через десять секунд он будет в ста метрах от конвойного. Попасть из револьвера на расстоянии в сто метров не так-то просто. Короткий ствол отклоняется в сторону, и пуля пролетает мимо. Кроме того, он ведь побежит не прямиком, а будет петлять. И еще один фактор: волнение. Рука у полицейского наверняка будет дрожать...

«Он может попасть в меня только случайно»,— заключил он, отгоняя страх. Мозг, привыкший повиноваться воле, мгновенно переключился на самое главное, и он мысленно воспроизвел еще раз все движения конвойного, под одеялом отбивая ногой секунды. Он почти ощущал сейчас в руках тяжелую, окованную медью воронку, отчетливо видел ее.

Он укрылся с головой, поджал ноги, потом вдруг вскочил и скинул башмаки. Партизанская жизнь отучила его раздеваться перед сном. Снял пиджак, скатал, положил под голову вместо подушки. И когда снова лег, почувствовал, как ломит в висках.

«Надо заснуть»,— подумал он.

Но, по-видимому, в таком возбужденном состоянии заснуть было невозможно. Нескончаемые вереницы образов и картин, вчерашняя дорога, неожиданный арест, обдумывание побега, сомнения и колебания — все это взвинтило нервы. На этот раз мысль его обратилась к тому ветхому зданию, где он сейчас находился.

Здание было двухэтажное. Внизу помещалась общинная управа, наверху — управление околии и полицейский участок. Это исключает возможность избиений в дневное время. Значит, допросы ведутся только по ночам. Но, мо-

жет быть, внизу есть подвал? Наверно, там-то и истязали тох десятерых ремсистов...[1]

Чтоб успокоиться, он прибегнул к старому, испытанному средству, которое выручало его всегда, когда им с товарищами по отряду случалось в дождь заночевать в лесу, на кучах мокрого хвороста: заставил себя думать о чем-нибудь хорошем, например, о том, как кончится война, о победах Красной Армии. Русские уже в Бессарабии. Недели через две-три вступят, значит, в пределы Болгарии. Даже если полиция дознается, кто он и зачем явился в город, можно рассчитывать, что он дождется прихода русских...

Эта мысль привела его в еще большее возбуждение, наполнила душу ликующей радостью, но он постарался тут же подавить ее, потому что это могло ослабить волю, отвлечь от предстоящего ему дела.

«Ребячество! Так нельзя!» — осудил он сам себя и, повернувшись на другой бок, решил больше ни о чем не думать.

Вокруг стояла убийственная тишина. Казалось невероятным, чтобы в здании находилась еще хоть одна живая душа. Такая же убийственная тишина стиснула в темных своих объятиях весь город. Но вдруг раздалось громкое урчание грузовой машины, старое здание заходило ходуном, и машина промчалась дальше.

Может, это направляют куда-то карательный отряд? Ему казалось странным, что он не заметил в городе ни одного жандарма. Он знал, что они обосновались неподалеку — в большом селе, километрах в двадцати от города.

...Как-то раз он пришел в маленькую горную деревушку. Пришел за солью — соль была очень нужна в отряде, и ее всегда не хватало. Встретился со связными, узнал, что мешок спрятан за деревней, в условленном месте, откуда он и должен будет захватить его на обратном пути. Ему рассказали, что в общине сидит пойманный партизан, какой-то молодой учитель. День Антон провел в чьей-то сторожке на огородах, а когда стемнело, вскинул на спину мешок с солью и двинулся в горы. Неслышно шел он через поле, прямиком к ближайшему лесу. Взойдя на невысокий холм, где когда-то стояла деревенская церковь, он услыхал голоса и остановился. Ухо различило удары заступа и негромкое позвякиванье лопаты. Охва-

[1] Ремсист — член РМСа (Союза рабочей молодежи).

ченный любопытством, он подождал еще несколько минут. И вдруг тихую тьму ночи разорвал отчаянный крик, сопровождаемый глухими ударами и грубой бранью...

Позже он узнал, что был свидетелем смерти учителя. В тот вечер в село явились каратели...

Нет, так он никогда не уснет!

Он заставил себя думать о годах детства, вспомнил мать — высокую, худую женщину с мужскими чертами лица и высоким лбом, которую он уже давно похоронил. Ее образ подействовал на него успокаивающе, и он почувствовал, что нервы уже не так натянуты, как раньше. Мысленно увидел маленький домик в Лозенце [1] — с деревенским двориком, где когда-то цвели неприхотливые цветы, а над рощей позади дома тыквой возвышалось несколько кукурузных стеблей. Так мысль обратилась к прошлому — сначала к отчему дому, потом к тайным сходкам на Витоше [2] либо у кого-нибудь из товарищей,— в тот мир, где он вырос и сформировался как личность; мир партии и борьбы. Соприкасаясь с этим миром, он проникался уверенностью в победе, готовностью принести себя в жертву общему делу. В этом мире было меньше оставшихся в живых, чем павших в борьбе, к чьим теням завтра, быть может, присоединится и его тень...

Прежде чем заснуть, он с сожалением подумал о своих часах, тикавших сейчас в столе у начальника участка. Обидно, что придется расстаться с ними и с документами. Да, документы — это в самом деле огромная потеря. Их удалось раздобыть только благодаря одному товарищу — писарю общинной управы.

Он уснул, когда старые турецкие часы на башне пробили один раз.

III

В камере, если это название подходит к узкой и темной клетушке, наскоро приспособленной для содержания арестантов, было всего одно оконце, выходившее на задний двор. Годами не мытое, оно было до того грязным, что казалось, будто в нем вместо стекол — листы целлулоида. Вделанная в стену решетка еле проглядывала сквозь них. Дневной свет с трудом проникал внутрь, и,

[1] Лозенец — окраинный район Софии.

[2] Витоша — гора, у подножья которой расположена София.

если бы не электрическая лампочка, даже собственную одежду и то нелегко было бы отыскать.

Проснувшись, он не мог сообразить, сколько сейчас времени, и стал прислушиваться, чтобы по доносящимся звукам хоть приблизительно определить, который час. В коридоре стучали сапоги полицейских, слышны были голоса, топот ног на лестнице, гулкие всхлесты кожаных ремней — во дворе умывались и, дурачась, гонялись друг за дружкой полицейские. Значит, было еще совсем рано.

Он дождался, пока шум поутих и на городских часах пробило семь. И тогда принялся колотить в дверь. Через несколько минут чей-то грубый голос осведомился, что ему надо. Его вывели во двор умываться. Полицейские разглядывали его с хмурым любопытством. Тем не менее с ним обошлись довольно любезно: полицейский, который его сопровождал, белобрысый крестьянский паренек, стал ему поливать. Это его приободрило. Он попросил, чтоб ему купили сигарет, и остался в коридоре ждать. Глядел на полицейских и думал: «Который из них будет сегодня стрелять в меня?» Вчерашнего высокого черного нигде не было видно, а очень хотелось получше его разглядеть. Все, кто сейчас одевался здесь, в караулке, были, судя по всему, из крестьян. Медлительные, неповоротливые, они относились к службе спустя рукава; собственное хозяйство, семья заботили их куда больше, чем безопасность государства.

Он держался по отношению к ним хмуро — отворачивался, морщился, продолжая изображать обиженного интеллигента, несправедливо пострадавшего от произвола их начальства. И на расспросы, за что его взяли, раздраженно отвечал: «Спросите вашего начальника. Ему лучше знать».

Время приближалось к семи тридцати, когда в присутственных местах начинаются служебные часы, и его снова заперли в камеру.

— Я хочу позавтракать,— заявил он.— Купите мне чего-нибудь.

Полицейский согласился, взял у него денег и вскоре принес несколько пирожков с творогом. С жадностью проглотив их, он присел на нары и закурил. Он не был заядлым курильщиком, курил редко, но все же привык к никотину. В тяжелую минуту табак успокаивал нервы.

Очень хотелось знать, есть ли тут, помимо него самого и паренька-подмастерья, еще и другие арестованные.

Спросить об этом он не решился, однако был почти уверен, что больше арестантов здесь нет. В противном случае он бы их увидел и не сидел бы в камере один. Это было ему на руку,— выходило, что больше за водой послать некого. И все-таки вопрос оставался открытым,— кто знает, пошлют ли его и в какое время дня это произойдет.

Бежать надо сегодня. Откладывать нельзя. К вечеру двое товарищей по отряду будут ждать его в семи километрах отсюда, у одной из временных партизанских стоянок. Он должен встретиться с ними, сообщить о том, что произошло, а потом вместе с ними вернуться на мельницу и забрать винтовки. Некоторые партизаны в отряде были безоружны. И каждый день прибывали все новые бойцы.

Хорошо бы повидаться сейчас с агентом. Надо снова выразить возмущение незаконным арестом и заодно коечто выведать,— например, пошлют ли его снова за водой и что думает с ним делать начальник участка. Он вслушивался, надеясь уловить голос агента, но в общем шуме хлопающих дверей, громкого говора и топота ног по лестнице трудно было различить малознакомый голос. Из комнаты, где сидел паренек-сапожник, не доносилось ни звука. Неужели ночью, пока он спал, того куда-нибудь отправили?

Он подошел к стене, постучал. Паренек ответил. Это его успокоило. Должно быть, лежит и раздумывает над своим положением, дожидаясь, когда о нем вспомнят и выпустят во двор.

«И дернула же его нелегкая держать дома нелегальную литературу!» — подумал он с досадой и раздражением.

Задвижка щелкнула, и на пороге появился агент. Его густые, русые, какого-то грязноватого оттенка, волосы были смочены и тщательно зачесаны вверх, подбородок лоснился,— наверно, жрал пончики на базаре. Рябое лицо было сурово, блекло-серые глаза глядели надменно и строго.

— К начальнику! — произнес он, кивком показав: выходи.

Антон вышел в коридор, оттуда попал в небольшую приемную с обшарпанным, грязным полом, где толпилось множество крестьян, приехавших хлопотать о пропусках на выезд. Агент постучал в одну из дверей и втолкнул арестованного в кабинет начальника участка.

Вытертый, пыльный синий ковер покрывал середину комнаты и вел к старомодному письменному столу. Оттуда, из-под портретов царя и Гитлера, устремился ему навстречу холодный, колючий взгляд, он увидел огромный нос, смешно утолщавшийся книзу, и под носом маленькие усики. Начальник держал в руках металлическую линейку, которую он согнул дугой. Глаза его смерили Антона с головы до ног, задержались немного на загорелом, худом лице, слегка порыжевших кончиках волос и, внимательно оглядев платье, нагло возвратились к лицу.

Прежде чем тот успел раскрыть рот, Антон раздраженно спросил:

— Вы долго еще намерены держать меня под замком, точно карманного воришку?

Начальник наклонился вперед, пораженный его тоном. Ни «здравствуйте», ни «господин начальник»!

— Первым спрашивать буду я, а уж потом ты! — рявкнул он, стукнув линейкой по столу.

— Я буду жаловаться куда следует! — решительно заявил Антон.

Начальник смерил его долгим взглядом.

— Ответишь мне на несколько вопросов, тогда поглядим, кто и на кого будет жаловаться! — Он презрительно сощурился, и светлые его брови угрожающе нависли над глазами.

Антон негодующе взглянул на него. Чтобы лучше прощупать почву, он решил любыми средствами вывести противника из себя. Какую играть роль — ему было ясно. Он много раз обдумывал это, почти перед каждым выходом на задание. Главное сейчас — получше исполнить ее.

И с достоинством произнес:

— Я сын полковника запаса и угрожать вам не собираюсь. Но тем больше у меня оснований протестовать.

Начальник приподнял бровь и снова воззрился на него, словно ища подтверждения сказанному.

— Это меня не интересует... то, что вы говорите о себе,— заметил он, однако уже совсем иным тоном и перейдя на «вы».— Кто вы такой, будет установлено позже. Меня интересует, на чем вы приехали в город.

Антон, для которого этот вопрос не был неожиданностью, коротко ответил:

— На подводе.

— Когда?

— Вчера утром.

— Как звали возницу?

— Петко, что ли...

— Имя полностью? — Наклонившись над письменным столом, начальник записывал ответы.

— Не знаю. Пожилой крестьянин.

— «Не знаю» — не самый удачный ответ и ведет прямым путем в арестантскую.

— Когда он исходит из уст какого-нибудь лжеца,— возразил Антон, подчеркивая каждое слово.

— Гм... Где нашли подводу?

— На вокзале в Горна-Оряховице.

— Сами ее подрядили?

— Не подрядил, а попросил подвезти по дороге.

— Где проживает возница?

— Он называл какую-то горную деревушку, забыл какую.

— Гм... Значит, забыли? Не знаете и забываете...

Начальник участка отложил карандаш в сторону и, облокотившись на стол, насмешливо поглядел на Антона.

— Постарайтесь припомнить,— сказал он с издевкой в голосе.

— Вспомню, наверно, но не сразу. По-моему, речь шла о каком-то Мийкове...— Он прекрасно знал, что деревни под таким названием не существует.

— Вы уверены? — спросил начальник, снова берясь за карандаш.

— Не совсем... Но что-то в этом роде...

Начальник записал ответ в блокнот.

— Послушайте,— сурово сказал он,— а где вы сошли с подводы?

— У въезда в город.

— Почему же там, а не в самом городе?

Антон, в свою очередь, насмешливо улыбнулся.

— Так, захотелось...— ответил он.

— Ах, «захотелось»?.. Итак, у въезда в город?

— На моем месте вы поступили бы точно так же.

— Что вы имеете в виду?

— Только то, что когда проедешь на подводе три десятка километров, то, добравшись наконец до города, с радостью соскочишь на землю. Попробуйте себе представить, каково мне было трястись всю ночь.

— Почему вы не стали дожидаться рейсового автобуса?

— Хотел дождаться. Но в гостинице, где мне отвели номер, была такая грязища, что я предпочел двинуться в дорогу пешком, чем провести там ночь. И если б не подвернулась подвода, так бы пешком и добирался до города. Я не привык ночевать где придется.

Наступило молчание. Начальник участка уставился куда-то в сторону, поглаживая себя линейкой по щеке. Потом, не поворачивая головы, глухо спросил:

— С какой целью вы приехали в город?

— У меня тут есть дело...— небрежно ответил Антон.

— Какое?

— Этого я не могу вам сказать.

— Скажите. Если хотите, чтобы я вас отпустил.

— В пропуске все указано.

— Пропуск у вас просрочен... Больше, чем на месяц... Он недействителен. Объясните, с какой целью вы приехали в наш город.

Антон достал коробку сигарет и, точно у себя дома, преспокойнейшим образом закурил. Даже постучал сигаретой по крышке, перед тем как поднести спичку. Начальник участка изумленно взглянул на него, нахмурился, но ничего не сказал.

— Отвечайте, зачем вы сюда приехали? — повторил он уже сердито, начиная терять терпение.

— Не скажу. Это касается моей личной жизни.

— Тогда я буду держать вас здесь, пока вы не скажете! — вскипел полицейский чин.

— Нет, вы не имеете права задерживать меня больше ни на час.

Начальник вскочил.

— Что за наглость!— завопил он ему в лицо.— Не будете отвечать, я вас в подвал засажу! Что вы валяете дурака, где вы находитесь? Это вам не пивная!

Антон молчал.

— Зачем вы прибыли в наш город? Даю минуту сроку,— заявил начальник и, повернувшись к нему спиной, отошел к окну.

С улицы доносился негромкий, монотонный шум городка. Скрипела телега, слышны были голоса прохожих, шаги. Где-то, должно быть, набивали на кадку обручи, и удары молотка гулким эхом отражались от стен домов. Вдали виднелась сине-зеленая цепь гор, залитых утренним солнцем, и чистое, безоблачное небо над ними.

— Это насилие,— сдавленно проговорил Антон тоном человека, которого вынуждают открыть свою тайну. Он оглянулся, посмотрел на агента и тихо произнес:

— Я приехал из-за женщины...

Начальник повернул голову и с любопытством взглянул на него. Агент весело усмехнулся и провел рукой по своим блестящим, смоченным волосам. В кабинете наступила тишина. Антон стоял потупившись — вид у него был сумрачный, сердитый. Начальник подошел к нему.

— Кто эта женщина? — спросил он.

В этот момент зазвонил телефон. Начальник нагнулся, снял трубку. Чей-то взволнованный голос о чем-то ему доложил. Лицо начальника выразило тревогу.

— Где обнаружен? — спросил он, и голос в трубке что-то произнес в ответ.

— Когда? Уже выехал? Само собой разумеется... Пусть его кто-нибудь сопровождает... В одиночку ни в коем случае не посылать... Погоди минуту...

Он прикрыл трубку ладонью и, не взглянув на Антона, приказал агенту:

— Увести! И прикажи старшине проверить личность. Пускай позвонит в Пордим. Переведи из камеры в караульное помещение.

Он махнул рукой — неопределенный жест, который можно было истолковать и как «до свиданья» и как «пошел вон», и вновь вернулся к разговору по телефону.

Агент вывел Антона в приемную.

— Я прошу оставить меня в прежнем помещении,— сказал Антон.

— Почему? Тут ведь лучше.

— Я не желаю, чтоб полицейские приставали ко мне с расспросами, кто я и откуда, и чтоб на меня пялили глаза те, кто приходит сюда по делу.

Агент подумал, потом равнодушно обронил:

— Как хотите...— и проводил его в камеру.

IV

С этой минуты он начал отсчитывать время — по неторопливым ударам городских часов. Минуты тянулись мучительно долго,— казалось, сердцу, бившемуся отрывисто и глухо, с трудом удается прогонять их прочь, одну

вслед за другой. Он сидел и ждал, когда ему принесут пообедать, как обещал агент; ждал, чтобы его послали за водой; ждал, что его снова вызовут к начальнику. Напряженно вслушивался в каждый звук, доносившийся из коридора. Затаив дыхание, старался ничего не упустить. Быть может, именно сейчас старшина дозванивается в Пордим, в полицейский участок, где якобы выдан его пропуск. И тамошний начальник ответит, что такое лицо у них среди эвакуированных не значится и пропуск фальшивый.

От волнения он то ложился на нары, то вставал и принимался шагать по узкой камере. Мысль перескакивала с предмета на предмет. Он думал о товарищах по отряду, которые вечером будут ждать его и теперь, быть может, уже подходят к месту встречи; в страхе перед возможной гибелью возвращался назад, к прошлому, ища там утешения и поддержки; вновь вспоминал мельницу, где были спрятаны шесть винтовок. Ощущение того, что где-то совсем рядом городок живет привычной мирной жизнью, тяготило его и словно отдаляло от того мира, к которому он принадлежал,— мира, исполненного напряжения и борьбы. Мозг, не зная устали, воссоздавал картину побега. Предусмотреть все заранее было явно невозможно, но воображение подсказывало новые и новые варианты. Тщетно пытался он успокоиться, взять себя в руки.

В полдень явился агент, отворив дверь, которая, как оказалось, не была заперта. Антон ждал, с чего тот начнет.

— Я принес вам обед,— сказал агент, и в камеру вошел полицейский, осторожно и неумело держа в руках тарелку с едой.

— Нам еще не удалось дозвониться. Сейчас сюда должны доставить раненого партизана. Старшине было некогда.

Антон, вздохнувший было с облегчением, похолодел, услышав о партизане. Агент же счел его вздох за выражение досады и недовольства.

— Не везет вам,— сказал он, явно желая его утешить.— Все телефонные линии заняты. Вчера вечером жандармы напали на след партизанского отряда. Произошло столкновение, и теперь их преследуют.

Полицейский принес табурет, поставил на него тарелку, положил вилку, хлеб. Чтобы скрыть волнение, Антон

сел на нары и принялся за еду. Колени у него дрожали, но он постарался овладеть собой и небрежным тоном спросил:

— Где же это произошло?

— К востоку от города.

«Не может быть! — мелькнула мысль.— Наш район — на запад отсюда. Или это другой отряд?» И равнодушно, словно сообщенная агентом новость ничуть его не заинтересовала, произнес:

— Я бы хотел, чтоб меня снова послали за водой, подышать хоть свежим воздухом.

— Можете погулять по двору,— предложил агент.

— Нет, лучше за водой, чем вышагивать по двору, точно арестант. Предпочитаю общество водовозной клячи...

— Ладно,— ответил агент.— Как пригонят лошадь, так и отправитесь. Часика в три...

Антон торопливо поел, совершенно не ощущая вкуса пищи. Но есть было необходимо, чтобы набраться сил.

Спустя несколько минут отворилась дверь соседней камеры. Паренька куда-то повели. Уж не на допрос ли? Он вслушивался, не на шутку встревоженный. Оправдаются ли ожидания паренька? Отнесутся ли к нему со снисхождением? Если его передадут в руки жандармов, ему несдобровать. Антон тихо шагал по камере, время от времени подходя к двери и приникая к ней ухом. Если не считать обычного для присутственного места шума, ничего не было слышно. Вдруг во дворе затарахтела телега, затопали по лестнице тяжелые сапоги. Он нажал на ржавую дверную ручку и, не торопясь, отворил дверь. В коридоре не было ни души.

Сердце бешено заколотилось. Отчего бы не попытаться бежать прямо сейчас? Быстро спуститься вниз и выйти на улицу. Если кто-нибудь остановит, он скажет, что ему больше невмоготу торчать в этом чулане. Раз его не заперли на ключ — значит, прониклись к нему доверием. Ведь сам начальник участка приказал перевести его из камеры в караульное помещение.

В коридоре было довольно темно. Неслышно ступая, он дошел до караулки. В распахнутую дверь лились потоки ослепительного дневного света. Он подошел ближе и заглянул внутрь. Какой-то полицейский пришивал пуговицу к форменному кителю, лежавшему перед ним на стуле. Он сидел лицом к двери.

Антон отпрянул, и доска под ним скрипнула. Полицейский встал и пошел к двери. Антон тоже, уже не таясь, шагнул вперед, так что они чуть не столкнулись.

Оба холодно поглядели друг на друга. Полицейский был невысокого роста, плотный, коренастый. На широком умном лице светились хитрые прищуренные глазки. Антон улыбнулся.

— Ты это куда? — спросил полицейский.— Кто разрешил?

— К тебе,— ответил Антон.

— То есть как ко мне?.. И как тебе удалось отпереть камеру? — Глаза полицейского выразили тревогу.

— А она не заперта,— объяснил Антон.— И мне осточертело сидеть одному в темноте.

— А ну, давай обратно! — Полицейский оглядел его тяжелым, подозрительным взглядом.

— Ваш начальник разрешил мне находиться в караульном помещении.

— Назад давай! Без разговоров!

Антон подчинился. Полицейский пошел за ним следом.

Щелкнул ключ. Дежурный желал пришить свою пуговицу спокойно, без помех.

Ненависть ко всем полицейским на свете охватила его с новой силой, а толстый этот чурбан вызывал чувство омерзения. Его надо опасаться. Антон все еще ощущал на себе тяжелый, подозрительный взгляд этих желтых, цвета янтаря, глаз.

Стиснув челюсти, он опустился на нары. Как же это он оплошал! И надо же было этой проклятой доске заскрипеть так не вовремя! В коридоре затопали вразнобой чьи-то ноги. Это привели обратно паренька. Куда его водили? На допрос? Вряд ли допрос мог окончиться так скоро.

Он услышал щелканье замка и голос агента, говорившего: «Подумай как следует, знаешь ты его или нет, пока я тебя не передал поручику Дичевскому. Уж ему ты всю подноготную выложишь». Паренек что-то сказал в ответ, и агент, проходя мимо камеры Антона, пробормотал: «Там будет видно».

На городских часах пробило два. В коридоре снова затопали сапогами полицейские, вернулись с обеда служащие управы, и в одной из комнат застрекотала пишущая машинка. Женский голос о чем-то спросил.

— Помер,— раздалось в ответ.— Недавно, а может, еще и по дороге.

Он догадался, что речь шла о раненом партизане, которого должны были сюда доставить. Значит, скончался, бедняга... В икрах закололо, ноги, казалось, одеревенели.

По улице проехала тяжело груженная машина. Ветхое здание затряслось, с потолка свалился кусок штукатурки, и от этого стука он подскочил как ужаленный. Нервы были напряжены, руки дрожали. Еще целый час предстоит ему сидеть тут, задыхаясь от волнения, думая то о погибшем неизвестном товарище, то о чешме, которая так и стояла у него перед глазами, то о старшине, которому велено навести о нем справки...

Убийственно медленно тянулось время. Оно, казалось, сдавливало мозг, кровь оглушительно стучала в ушах. Ну же, ну, еще немного... Они сейчас заняты погибшим партизаном, звонят во все концы, разузнают, выясняют... Им не до Антона.

Время от времени он с шумом выдыхал накопившийся в легких воздух, переводил дух. Но вот наконец пробило три. Он сел на нары и стал ждать. Проходила минута за минутой, а никто не шел. Сердце чуть не разрывалось от напряжения. Ведь каждую секунду за ним могли прийти, чтоб отвести к начальнику участка. Что он сможет сказать, если тот заявит, что в Пордиме такой эвакуированный не значится. Что пропуска на такое имя не выдавалось? Что никакой Антон Ахтаров в привокзальной гостинице не останавливался?.. Его передадут поручику Дичевскому, и тогда он примет яд.

Он прилег, чтобы обдумать, как отвечать на эти вопросы и какой линии поведения придерживаться. И когда мозг занялся этим, сердце чуточку поутихло. Было уже около четырех, а все еще никто за ним не являлся. Он уже совсем потерял надежду, когда щелкнул ключ и на пороге появился тот самый дежурный полицейский, который заставил его вернуться в камеру.

— Выходи! — приказал он, стоя в дверях.

— Куда? — спросил Антон.

— Во двор.

Его охватило волнение, он почувствовал, что силы оставляют его. С трудом поднялся, надел пиджак, подтянул пояс на брюках и вышел из камеры, сопровождаемый полицейским. Вдвоем спустились они во двор. Лошадь

была уже запряжена, но паренька-сапожника рядом с ней не было. Один из полицейских держал ее за поводья и что-то кричал людям, толпившимся возле навеса. Они стояли к нему спиной. Там, очевидно, лежал труп партизана, и писаря управы и полицейские сбежались на него поглазеть.

— Что же ты сапожника заодно не прихватил? — сердито спросил тот, кто держал поводья.

— Велено не было,— ответил полицейский, конвоировавший Антона.

— А кто поведет лошадь?

— Вот этот.

— Нужны двое. Эй, Паштрапанов, давай сюда сапожника, пускай съездит за водой!

От группы стоявших у навеса людей отделилась какая-то фигура, и Антон узнал агента.

— В чем дело? — спросил тот.

— Нельзя с одним арестантом по воду ездить. Кто эту клячу вести будет? — сердито сказал полицейский, замахиваясь кулаком на лошаденку, которая обрызгала ему рукав слюной.

— Вот сам и сходи,— сказал агент.

— Я в наряде... Начальник приказал, чтоб никто не отлучался. Может, придется выступить на подмогу жандармскому отряду.

— Климент, вот ключ, приведи сюда того парня! — обратился агент к толстому полицейскому, протягивая ему ключ.

Тот повиновался, и Антон оглядел его широкую спину, короткое плотное туловище, перетянутое ремнем, как бочка обручем. На огромной голове уродливо выдавался удлиненный затылок, и фуражка топорщилась на ней и безобразно и смешно.

— Что они толпятся под навесом? — спросил Антон.

— Привезли убитого партизана. Пытаются его опознать. Он не здешний,— с досадой проговорил агент.

— Можно мне взглянуть?

— А чего ж, глядите!

— Паштрапанов, я тут торчать возле лошади не буду,— пригрозил полицейский, но агент не удостоил его даже взглядом и направился с Антоном к навесу.

— И как это они его не перевязали на месте? — сокрушался агент. — Теперь от покойника поди дознайся чего... Поручик Дичевский даст им жару.

Антон шагал рядом с ним, бледный как мел. Ноги подкашивались, в икрах ломило. От волнения он тяжело дышал и почти не слышал, что говорит агент.

Вот и навес. Люди расступились, чтобы дать им подойти к покойнику поближе.

Это был плотный русоволосый человек лет тридцати пяти, с мускулистыми руками и большими босыми ногами. На коричневой одежде из грубого сукна ржавыми пятнами проступила кровь. Он лежал на спине, раскинув ноги, голова скатилась на плечо. На небритом лице застыло выражение глубокого раздумья. Русые, давно не стриженные усы и полуоткрытые, прозрачно-синие глаза, казавшиеся совсем живыми, еще усиливали это впечатление.

Антон поспешил отвернуться. Он не знал этого человека. Быть может, он из Шуменского отряда? Не следовало дольше смотреть на него теперь, когда впереди побег. Кто знает, может, через какие-нибудь полчаса он и сам будет лежать с ним рядом, в такой же позе, еще не остывший, растерзанный...

Его трясло. Он ощутил вдруг удивительное чувство общности с этим убитым, резко отделявшее их от мира живых. Всем своим существом он прикоснулся сейчас к чему-то таинственному и страшному, и душа исполнилась тревоги и печали.

— Вы не знаете его? — спросил агент, удивленный его волнением.

— Откуда?

— Может, видали где... случайно... На вас просто лица нет... — добавил он, пристально в него вглядываясь.

— Я впервые вижу убитого человека,— проговорил Антон.

— Слабые же у вас нервы. А я вот могу глядеть на все, что угодно... Как доктора. Идите, вас зовут.

Паренек-сапожник уже держал лошаденку под уздцы, толстый полицейский, сумрачный и злой, махал рукой, указывая Антону на ведро и воронку. Карие глаза парня потемнели от тревоги, утеряли свой жизнерадостный блеск. На лице было смятение и страх.

— Эй, Монка,— окликнул его один из полицейских, проходивший в этот момент мимо.— Видал этого, под навесом? Протянул ноги! И тебя сволочем туда же. Тебе б, дурню, сапоги латать, а ты запрещенные книжки чита-

ешь! — И больно дернул паренька за волосы. Тот запатался.

— Трогай! Чего смотришь? — прикрикнул толстый полицейский.

Антон взял вожжи, и телега покатилась со двора. Ведро и воронку нес паренек.

Они выехали на ту же самую узкую извилистую улочку, сразу наполнившуюся громыханием пустого бочонка. Лошаденка норовила перейти на рысь, но Антон с такой силой натягивал повод, что она чуть ли не подымалась на дыбы. Он чувствовал, как напрягаются мускулы и как зреет в душе отчаянная решимость. Лицо убитого стояло перед глазами, переполняя сердце болью и гневом.

Он шел быстро, не оглядываясь, опустив голову, в каком-то странном ослеплении, не видя и не слыша ничего вокруг, точно вдруг оглохнув от грохота бочонка и стука колес.

Когда улочка осталась позади, он отпустил повод, и лошаденка затрусила быстрее. Он оглянулся на конвойного. Кобура револьвера застегнута. В левой руке — короткий прут.

«Минимум три секунды, чтобы выхватить револьвер, и еще одна, чтобы снять его с предохранителя»,— подсчитал Антон. Он ненавидел сейчас этого человека, как саму смерть.

Подняв голову, он увидел впереди горы. Синевато-зеленые, окутанные маревом, они возвышались степой, широко раскинувшейся в стороны. Сердце зашлось от нестерпимо жгучего желания оказаться наконец в этой похожей на море синеве. Там находились его товарищи. Он мысленно посылал им свой привет. Увидит ли он их снова, узнают ли они, о чем он думал в последние минуты жизни? Узнают ли, как дороги были они ему... как безраздельно он им верен...

Он повернул голову, чтобы встретиться глазами с пареньком-подмастерьем, тоже товарищем по борьбе. Подумать только, что в бессильной своей злобе он мысленно взваливал на него вину за свой арест. Вот кому суждено быть пассивным свидетелем его гибели, если побег не удастся. Они обменялись одним из тех долгих взглядов, которые не забываются до конца дней.

А вот и чешма. Лошаденка наклонилась над корытом, и полицейский приказал отпустить поводья. Руки у Антона тряслись, ноздри раздувались, какие-то огненные

вспышки слепили глаза. Исподтишка следил он за тем, где станет конвойный. Тот шел сзади, шагах в пяти-шести, и, если бы сейчас броситься на него, он вряд ли успел бы воспользоваться своим оружием.

Антон ступил ногой на закраину корыта, ведро поставил на каменную кладку чешмы и крепко охватил руками воронку. Паренек-сапожник так и впился в него испуганным взглядом, и он подумал со страхом, что этот взгляд может выдать его намерения. Но в ту минуту, когда он совсем уже собрался обрушить воронку на конвойного, тот вдруг полез вверх и ступил на чешму. Антон проследил исподлобья за его ногами. Конвойный словно бы ощутил этот взгляд, потому что отступил чуть в сторону и хлестнул прутом по голенищу. Антон нагнулся и подставил ведро под кран, опустил воронку в бочонок и встал к полицейскому спиной, разглядывая кукурузное поле. Все трое хранили молчание. Лошаденка громко фыркала и, отгоняя мух, била хвостом по пустому бочонку, отзывавшемуся гулким и звонким эхом; с веселым журчаньем лилась в ведро вода, и каждый раз, как лошаденка взбрыкивала, хлопая копытом по темной луже возле чешмы, телега то придвигалась, то снова откатывалась немного назад.

Ведро наполнилось, и он вылил его в бочонок. Паренек-сапожник держал в руках повод. Телега будет некоторой помехой, так как, если обезвредить конвойного не удастся, придется ее огибать.

Снова журча побежала в ведро вода. Выпрямившись, он заметил, что полицейский сел на взгорке, над самой чешмой, где из плиты выкрошился камень. На таком расстоянии он был абсолютно недосягаем. Чтоб напасть на него, потребовалось бы вскочить на каменную кладку чешмы либо же обогнуть ее, вскарабкавшись по склону холма. За это время полицейский сто раз успеет приготовиться к встрече. Остался второй вариант. Он счел его единственным,— быть может, еще и потому, что все же не хотел убивать этого человека, у которого, наверно, дома, в селе, жена и дети.

Когда ведро наполнилось, он нагнулся и в последний раз взглянул на паренька. Глаза у того были вытаращены, рот открыт. Ведро, описав короткую дугу, полетело в полицейского, и, прежде чем тот сообразил, что происходит, его окатило водой, а тяжелая воронка ударила в грудь...

Вобрав голову в плечи, Антон мчался по голому лугу. Никогда в жизни не слыхал он, чтоб ветер так свистел в ушах. Тело было устремлено вперед так, что ноги, двигавшиеся с бешеной скоростью, с трудом уравновешивали его тяжесть, а руки взмахивали быстрей, чем крылья летящей птицы. Он бежал по прямой, позабыв о том, что надо петлять, чтоб уберечься от пули. Все его существо напряженно ожидало, когда прозвучит выстрел.

Первые секунды показались ему вечностью, и он был удивлен, что слышит только вопли полицейского, а выстрелов нет. Он добежал уже почти до середины луга, когда слева от него взметнулось облачко пыли и раздался первый выстрел девятимиллиметрового парабеллума. Второе облачко взмыло у него чуть ли не из-под ног, и ему показалось, что он перепрыгнул через пулю. Послышался третий выстрел, четвертый, пуля просвистела высоко над головой. Потом пятый, шестой... Он считал их, насколько был способен сейчас на это его мозг, в котором мысли проскакивали стремительно, обрывками, без начала и конца... Выстрелы прекратились. Может быть, кончились патроны? Или пистолет дал осечку?

Охваченный безумной радостью, он чуть замедлил бег, поднял голову и посмотрел, далеко ли до кукурузы. Да, еще бежать и бежать. И он с новыми силами помчался по ровному лугу. Он был уже у жнивья, когда вдруг пошатнулся от сильного удара в спину. Тьма заволокла глаза, земля словно выскользнула из-под ног. Однако ему удалось сохранить равновесие, и он продолжал мчаться все так же быстро, всем своим существом тревожно вслушиваясь в себя, стараясь понять, что же произошло. Тут грянул еще один выстрел, и он увидел, как пуля взметнула пыль со стерни.

Он все ждал, что ощутит боль или приближение смерти, но боли не было — только правая половина спины как бы одеревенела. И в одной какой-то точке словно бы жгло. Он решил, что его только слегка задело, и продолжал бежать, слыша свое тяжелое дыхание и глухие удары ног о сухую землю. Но темное, зловещее предчувствие проникло в сердце.

Желтая стерня с сухим потрескиванием убегала назад, а зеленая стена кукурузы становилась все ближе. Учащенно, отрывисто колотилось сердце, из пересохших губ с шумом вырывался воздух. Он остановился и оглянулся назад. Полицейский стоял все там же, у чешмы, и

яростно размахивал револьвером, в котором уже не осталось патронов. Значит, не решился броситься в погоню — из страха, что второй арестант тоже сбежит. В мозгу мгновенно отпечаталась картина — вороная лошаденка, впряженная в телегу, издали похожая на большое насекомое, пологий склон холма над чешмой и белые домики городка. Мысль подсказала: погоня не заставит себя ждать, и он заторопился навстречу кукурузе. Там, где его обожгло пулей, теперь чувствовалась тяжесть. Он провел рукой по правой стороне груди, под ребрами, и руку выпачкало теплой кровью, которой была пропитана рубаха. Тогда он понял, что ранен навылет. Им овладел страх, даже не страх, а ужас, сменившийся потом жалостью к самому себе. Он всхлипнул, точно беспомощный ребенок, который не в силах толком понять, что с ним происходит. Но он поборол себя. Подавляя отчаяние, стал думать о товарищах. Живой или мертвый, он должен к ним добраться. Только там может он рассчитывать на помощь. Только там, и нигде больше! Мысль сосредоточилась на ране, он сказал себе, что надо экономить силы. Правая рука продолжала придерживать саднящее место. Он поднял ее, посмотрел. Она вся была залита алой кровью. От ее вида ему стало дурно. Он зашатался, закрыл глаза и с трудом удержался на ногах. Всего несколько шагов оставалось до зеленого кукурузного поля, которое спрячет его. Вот оно! Он вбежал в зеленые заросли, но уже в следующее мгновение перед ним раскинулась волнами холмистая голая пашня, расчерченная лишь межами и редким, низким кустарником. Кукуруза, как оказалось, росла длинной, но узкой полоской, самое большее шага три в ширину...

Он застыл, увидев, что попал в западню. Было ясно, что двигаться следовало только вперед. Любая попытка спрятаться или свернуть в сторону только сократит расстояние между ним и преследователями, но как бежать по голому полю, где его так просто заметить и пристрелить? Он повернул и бегом двинулся вдоль полосы кукурузы. В конце ее земля немного уходила под уклон,— значит, там какая-то лощинка. Хорошо бы туда добраться. Добежав до лощинки, он с радостью увидел, что она ведет в настоящий овраг, поросший деревьями.

Он бежал теперь по оврагу, но тот становился все более мелким, все больше раздавался вширь, по склонам появились невысокие кусты, одинокие ивы, и вот он уже превратился в плоскую котловину, по дну которой про-

текала речушка. Антон перебрался на другой берег, надеясь спрятаться за деревьями, и неожиданно оказался на проселке — сыром и черном, усеянном речной галькой.

Он остановился, расстегнул рубаху, осмотрел грудь. И увидал рану, похожую на темно-красные губы, из которой струйкой сочилась кровь. С содроганием почувствовал он, что живот и пах у него тоже в крови. И вновь ощутил глухое отчаяние.

— Не выжить,— сказал он себе, продолжая разглядывать устало, прерывисто вздымавшуюся грудь. Но леденящая эта мысль вновь пробудила волю.— Я должен дойти до лагеря... Только бы дойти до лагеря! — произнес он вслух, словно стараясь самого себя убедить в том, что жив. Собственный голос показался ему голосом какого-то другого существа, жившего где-то в нем, но существо это, к которому уже подкралась смерть, все же не был он сам. «Надо экономить силы, надо быть благоразумным»,— вновь подсказал мозг. Он зашагал было дальше, как вдруг почувствовал жажду. Спустился к речке, напился. Выпрямляясь, он посмотрел назад, и на том самом месте, откуда недавно спускался в лощинку, на гребне холма увидел всадника. Значит, послана погоня. Единственный шанс спастись — это спрятаться где-нибудь, притаясь, как заяц.

Речушка убегала за чей-то огород, обнесенный изгородью из терновника. Он направился туда по тропке, которая привела его к деревянной лесенке, прилаженной хозяином взамен калитки, чтоб не забредала скотина. Антон перелез через изгородь, уверенный в том, что на огороде никого нет, и вдруг за высокими колышками, по которым вилась фасоль, увидел какую-то женщину. Она стояла нагнувшись почти у самой изгороди и, когда он соскочил на землю, выпрямилась и негромко вскрикнула. Антон увидел прямо перед собой ее испуганные глаза. Увидел также, что это молодая крестьянка с округлым, загорелым, добрым лицом.

Задыхаясь, он почти шепотом произнес:

— Ты не бойся... Это ничего... Я так... Я тебе ничего плохого не сделаю...

Она изумленно глядела на него, полураскрыв рот, готовая звать на помощь. Но тут вдруг заметила, как две слезинки выступили у него на глазах и скатились по впалым щекам. Он не отводил от нее взгляда, пытаясь всеми силами внушить ей, чтоб не кричала, не боялась его.

Женщина ничего не понимала, и тогда он выговорил чуть слышно:

— За мной гонятся...

— Кто? — спросила она.

— Полиция.

В глазах у нее мелькнула какая-то тень, и он поспешил добавить:

— Я студент.

— Боже милостивый,— сказала она.— Чего тебе от меня надо?

— Не выдавай меня!

Она продолжала все так же оторопело глядеть на него.

— Я спрячусь тут,— умоляюще сказал он.— Если меня найдут, скажу, что пробрался сюда тайком, ты меня не видела.

Женщина подняла глаза, оглядела склон овражка и молча отошла в другой конец огорода.

Он дотащился до изгороди и лег за грядкой с фасолью. Горлом пошла кровь, все тело охватила слабость. Он лежал ничком, чувствуя, как животу становится горячо от натекающей крови.

На дороге раздался топот копыт. Женщина собирала фасоль шагах в двадцати от изгороди,— присев на корточки, складывала стручки в подвернутый передник. Тихонько журчала в речушке вода. Где-то неподалеку пел дрозд. Влажная земля попахивала гнилью.

Топот приблизился, он услыхал скрип седла и лошадиный храп. С той стороны изгороди остановился конный полицейский. Женщина выпрямилась.

Усталый голос спросил:

— Человек тут не проходил?

Затаив дыхание, Антон ждал, что скажет женщина. Ему показалось, что прошла целая минута, прежде чем та произнесла:

— Какой человек?

— Молодой. Одет по-городскому.

Она снова помедлила с ответом, и Антон замер.

— Никто не проходил,— наконец сказала она.

— Это точно?

— Никакого я человека не видела.

— А давно ты тут?

— Давно. Часа два будет.

Наступило молчание. Полицейский, должно быть, раздумывал. Потом сказал:

— Если увидишь такого... высокий, одет по-городскому, волосы длинные, без шапки... дай знать! — И пришпорил коня. Седло скрипнуло, и вскоре глухой стук конских копыт замер вдали.

Антон посмотрел на женщину. Она продолжала собирать фасоль. Загорелые ее руки срывали стручок за стручком, стебли шуршали торопливо и нервно, длинные колышки покачивались. Она не смотрела в его сторону, словно забыла о его существовании. Разумней всего было бы остаться здесь, чтобы дать погоне отъехать подальше, либо дождаться, пока стемнеет, но он боялся, что позже у него не хватит сил подняться, и потому не мог терпеливо ждать. С каждой минутой он терял все больше крови. Он зажимал рану рукой, а тяжесть в груди все нарастала. Женщина уже дважды вглядывалась в склоны овражка, где шныряли, разыскивая его, полицейские, потом послышался далекий выстрел, и он заключил, что погоня двинулась дальше, в горы.

Для того чтобы подняться, ему пришлось сначала встать на колени — так кружилась голова. Ухватившись за изгородь, он все же поднялся. Огород поплыл у него перед глазами, вихрем промчались колышки, увитые фасолью, сине-зеленые кочаны капусты слились в сплошную синеватую пелену. Зашатавшись, он привалился к изгороди, которая громко затрещала. Силы оставляли его... А ведь если он хотел увидеть своих товарищей, надо было спешить к месту встречи, даже рискуя быть схваченным или убитым. Сделав несколько шагов, он ощутил на себе сострадательный взгляд женщины.

— Спасибо тебе,— с трудом проговорил он.

Пугливо озираясь, она подошла к нему. В ее добрых глазах была жалость. Неожиданно она сняла с головы косынку и протянула ему.

— На, перевяжи рану,— сказала она, и плечи у нее дрогнули.

Антон прижал косынку к ране.

— Прощай,— сказал он.

— Храни тебя господь,— ответила она.

Он перелез через изгородь и пошел вверх по склону овражка. Прежде чем повернуть в горы — туда, куда направилась погоня, надо было сделать небольшой крюк. Надежда на спасение и желание увидеть товарищей слились в единый порыв — добраться, дойти. И этот порыв толкал его вперед, придавал силы. Антон не смотрел уже

по сторонам, не озирался. Шел быстрым шагом, немного наклонившись, зажав рукой рану, и, когда овражек, изогнувшись длинной пологой дугой, вывел его на равнину, это не произвело на него ровно никакого впечатления. Конечно, если его заметят, могут подстрелить. Но он будет идти и идти, пока пуля не уложит его на месте. Зубы время от времени начинали выбивать дробь, боль в груди и спине все усиливалась, она шла теперь уже изнутри, где пробитое легкое при каждом вдохе громко хрипело. Он старался дышать не так глубоко. Старался уверить себя, что можно дышать и одним легким. Сознание все больше сосредоточивалось на нем самом: и разум и чувства, казалось, становились слепы и глухи ко всему окружающему.

Он пересек луг и пошел по направлению к горам. Впереди показались поля неубранной кукурузы, стебли которой ненадолго укрыли его, затем потянулись рощицы и вырубки, одинокие высокие дубы, небольшие полянки. Это были уже предгорья. Он видел гребень горы, гигантской стеной уходивший в небо, видел отроги, сползавшие на равнину, точно громадные гусеницы, ощутил прохладу леса. Поискав глазами конусообразную вершину, где товарищи должны были ждать его, он обнаружил, что та находится чуть правее направления, которого он держался. Значит, он немного отклонился в сторону. Пришлось на минуту остановиться, чтоб мысленно прочертить предстоящий путь. Но, войдя в лесную чащу, он тут же потерял вершину из виду и пошел дальше наугад, повинуясь инстинкту.

Лес подействовал на него успокоительно, пробудил смутную надежду, но, когда он стал карабкаться вверх по крутому склону, дышать стало еще труднее, и он был вынужден замедлить шаг, вновь охваченный страхом, что добраться до места не хватит сил. Как бы то ни было, следовало передохнуть, и он присел на пень, поросший мхом и лишайником.

Вокруг неподвижными великанами высились белые гладкие стволы огромных буков. В тихом шелесте листвы чудился шепот бесчисленных существ, предрекавших ему неминуемую гибель. Пахло прелыми листьями и сырой землей. Но все это он воспринимал сквозь какое-то оцепенение, точно вслушивался в свое безысходное одиночество. Плеск воды неподалеку вызвал у него острую жажду, обжигавшую пересохший, окровавленный рот. Но он по-

боялся повернуть назад и продолжал сидеть в нерешительности, терзаемый жаждой, которая под тихое воркованье потока становилась все более нестерпимой. Потом наконец поднялся и медленно побрел вверх по круче. Под ногами громко шуршала прошлогодняя буковая листва. Окажись поблизости кто-нибудь из преследователей, этот шум мог его выдать, но он не думал об этом и продолжал продвигаться вперед, цепляясь за стволы деревьев. Дышать становилось все трудней. Ценой неимоверных усилий он взобрался на какую-то седловину и здесь, на маленькой полянке, залитой теплым светом заходящего солнца, остановился, потому что боль усилилась и тяжесть в животе стала невыносимой. Во рту появился неприятный вкус, от запаха собственной крови тошнило, ноги подкашивались, на лбу выступили капли холодного пота. Застонав, он ухватился за одно из деревьев и медленно сполз на золотисто-зеленый мох, росший у подножия бука. Сердце словно переместилось в виски — так оглушительно, так лихорадочно там стучало; потные руки дрожали, из груди вырывался хрип. Он привстал на колени, и его вырвало кровью, хлынувшей изо рта алым ручьем. Он видел, как она заливает зелень мха, теплая, дымящаяся, но это его не испугало, потому что боль и тяжесть в груди разом исчезли, дышать стало легче. Зато вслед за этим вдруг наступила страшная слабость. Он попробовал выпрямиться, и вновь все поплыло перед глазами. Потребовалась вся сила воли, чтобы заставить себя встать. Он поискал глазами заветную вершину — она была уже недалеко. К счастью, через седловину проходила заброшенная лесная дорога, и, шатаясь как пьяный, он двинулся по ней дальше. Ему пришло в голову, что было бы легче идти, опираясь на палку. Он подобрал какую-то ветку, но она оказалась слишком тяжелой. К тому же одной рукой он зажимал рану, и опираться все равно было бы трудно.

Шагов через сто дорога вывела его к самому подножию той вершины, к которой он шел. Рядом уходило вниз глубокое, сырое ущелье. Он вздрогнул от озноба. Тело покрылось холодной испариной. Остановившись, он поглядел на освещенные солнцем верхушки деревьев, видневшиеся там, на гребне горы, но гора неожиданно взмыла вверх, лес зашатался, точно какое-то ужасное землетрясение раскачало гору и подбросило ее ввысь, а небо пропастью разверзлось у его ног...

Он упал навзничь и понял это, только когда пришел в себя. Он лежал на дороге, растянувшись во весь рост. Было легко, почти радостно. Над головой повисло золотистое вечернее небо, он словно плыл в волнах какого-то ласкового, безмятежного моря. Как будто снова вернулись те далекие дни детства, когда он выздоравливал после долгой болезни. На стене бедно убранной комнатки каждое утро появлялся такой же золотистый, теплый луч, приносивший с собой ощущение радости и покоя. Он пытался поймать этот луч своими маленькими ручонками, но руки касались только шероховатой штукатурки. Он был сейчас снова тем слабым ребенком, измученным на этот раз не болезнью, а тяжкими испытаниями, которые сопутствуют борьбе. Каким желанным казался сейчас отдых! Как хотелось закрыть глаза и потонуть, раствориться в этом теплом, лучезарном сиянии!

Он вспомнил о своих товарищах, даже увидел их — они лежат далеко, очень далеко от него, где-то в лесу, усталые, измученные тревогой, осунувшиеся, и вслушиваются в тишину. В ушах у него звучал тихий шепот,— казалось, было слышно, как пробегает по верхушкам деревьев вечерний ветерок. Он слышал много разных голосов, и все они чего-то не договаривали, замирая в сладкой истоме, но каждое недосказанное слово было ему понятно, хоть он тоже не договаривал его до конца. И среди голосов был один, говоривший обо всем том, во что он верил и что сбудется на земле. Этот голос, точно звон колокола, постепенно заглушил все остальные. То исполненный тревоги, то пророчащий счастье, звучал он в солнечной позолоте неба, и его звуки низвергались каскадом миллионов голосов...

Он закрыл глаза и погрузился в забытье. На бледном, без кровинки, лице проступила тихая улыбка.

Палые листья на дороге зашуршали. Из-за поворота показались две осторожно двигавшиеся фигуры в мятых коричневых гимнастерках и солдатских пилотках: они крадучись стали приближаться к нему. Они подходили медленно, осторожно, наставив на него короткие стволы своих автоматов. Потом вдруг переглянулись и со всех ног бросились к нему.

Кто-то стащил с него пиджак, поднял рубаху. Что-то медленно опоясало и согрело грудь. Он хотел открыть глаза, но не смог и только улыбнулся. Чья-то жесткая рука нежно пожала его руку...

Он все еще видел сквозь веки золотистое море, и душа все еще нежилась в этом лучезарном сиянии. Потом он почувствовал, как чьи-то осторожные руки поднимают его. И он отдался во власть этих рук, как в детстве материнским объятьям. Он слышал тихие, озабоченные голоса, наполнившие его спокойствием и сладостным чувством безопасности.

Его несли на запад, и косые лучи солнца осветили на повороте дороги его мертвенно-бледное лицо и откинутую назад голову с взмокшими от пота черными волосами, покачивавшуюся на плече товарища. В эту минуту он вспомнил о той крестьянке. Вот она рядом, загорелая, тихая, с округлым лицом и добрыми глазами... Сняла с головы белую косынку, протягивает ему...

Снизу, из ущелья, поднималась синеватая мгла. Тихо шелестели старые буки, вздыхая по уходящему дню. Свет солнца медленно догорал на горных вершинах, и где-то далеко-далеко, за плотным, переливающимся зеленым ковром леса, где оставались города и люди, небо изливало на землю багряные потоки, словно там, в небывалом этом пламени, пылали миллионы человеческих сердец.

КАМЕН КАЛЧЕВ

В ГРУЗОВИКЕ

Из всех участников этой дружеской встречи один только доктор еще ничего не сказал. Он сидел в конце стола, неподалеку от полковника, и молча играл лежавшей перед ним салфеткой. С ужином давно покончили, официанты уже готовились подавать в гостиной кофе, а старым друзьям все еще было невдомек, что пора переходить туда, где их ждали глубокие мягкие кресла. Кто-то должен был подать знак. И, конечно, это сделал, как всегда, самый старший из них — полковник. Он встал и шутливым тоном подал привычную команду: «Колонной по одному — за мной! Шагом марш!» И по-солдатски зашагал в гостиную к ярко пылавшему камину. Старые бойцы, и по сей день не привыкшие нежиться в мягких плюшевых креслах, неторопливо расселись поближе к огню, и вдруг эта компания старых друзей стала удивительно похожа на их прежний партизанский отряд.

А ведь обстановка тут, в этом горном доме отдыха, была совсем иной, да и жизнь и заботы у бывших партизан были теперь другими: кто руководил промышленным предприятием, кто командовал воинской частью, кто занимался партийной работой. Одним словом, образ жизни у всех у них совершенно изменился за минувшие десять лет. Только доктор оставался по-прежнему врачом-терапевтом и, как когда-то в партизанском отряде, так и теперь, в свободные мирные годы, оказывал помощь людям, лечил их, возвращал им жизнь, боролся со смертью. И это обстоятельство, наряду с мягким характером и сердечностью, которую, казалось, излучал весь его облик, делало этого человека еще привлекательнее и милее.

Был он высокий, худощавый, с удивительно длинными руками и с несколько неловкими манерами; лицо у него было бледное, интеллигентное, русые волосы уже заметно

поредели, а брови, круто изгибающиеся над близорукими глазами, скрытыми стеклами больших очков в роговой оправе, стали совсем седыми. Скромный, застенчивый, молчаливый, он и сейчас, на этой встрече бойцов партизанского отряда «Смерть фашизму», сам ничего не говорил, а только слушал с искренним увлечением рассказы своих старых товарищей. Он радовался успехам, которых они достигли за минувшие после Освобождения десять лет, от души улыбался, слушая, как счастливо сложилась их судьба, и молча кивал, словно бы подтверждая, что все, о чем они говорят,— верно, что он во всем с ними согласен.

А рассказано было много всяких историй и случаев из прошлой и нынешней жизни этих замечательных людей, которые сохранили молодость души, восторженность и любовь друг к другу, как это и подобает истинным борцам.

— А теперь, друзья,— заговорил полковник, попивая кофе,— давайте послушаем нашего Бунчука — нашего славного доктора Младенова! Ведь он все годы партизанской жизни, можно сказать, лелеял одну-единственную мечту: взять в плен живого немца и привести его в отряд со связанными руками... Верно, дорогой доктор?

Полковник устремил на доктора свой орлиный взгляд и улыбнулся. Заулыбались и остальные бывшие партизаны, и лица их казались еще веселее от отблесков яркого пламени.

— Расскажи, расскажи, доктор,— принялись настаивать все. — Должны же мы, наконец, узнать, сбылась ли твоя мечта.

— Что говорить, друзья,— продолжал полковник,— мы все ненавидели гитлеровцев, но такой лютой ненависти, какую питал к ним наш добрейший Бунчук, я не встречал ни у кого... И скажу вам откровенно,— до сих пор сожалею, что за три года партизанской жизни нам так и не удалось захватить в плен хоть полнемца, чтобы утолить гнев этого славного человека...

Полковник продолжал шутить. Не отставали от него и остальные. Все стали припоминать разные случаи, в которых проявлялась благородная юношеская ненависть доктора. Бывалые шутники имели в виду, конечно, одну только цель — вызвать его на разговор. И надо отдать им должное, они ее достигли. Доктор поудобнее устроился в кресле, отказался от кофе, который ему как раз в это

время подали, сославшись на то, что страдает бессонницей, и, слегка покраснев от волнения, заговорил:

— Все, что было сказано вами о моей ненависти к гитлеровцам, совершенно верно, дорогие друзья. Она-то и сделала меня партизаном. Когда немцы вторглись во Францию, я служил на турецкой границе ротным фельдшером. Служба в нашем пехотном полку была не трудной,— мы большей частью прохлаждались на холмах возле Свиленграда. Когда же гитлеровцы напали на Советский Союз, жизнь наша, можно сказать, перевернулась: нас стали гонять на бесконечные учения, на строительство укреплений и противотанковых заграждений. Началась разнузданная антисоветская агитация. Мы, военнослужащие из запаса, да и остальные солдаты просто задыхались от этой агитации. Радио изо дня в день долдонило о «мешках», которые немцы устраивают русским на Восточном фронте. Установленный в центре нашего палаточного лагеря мощный громкоговоритель с раннего утра до поздней ночи истошно вопил о молниеносных ударах гитлеровских дивизий. Это был какой-то кошмар!.. Ошарашенные происходящим, мы совсем было пали духом, и только скрежетали зубами. Как-то ночью наш ротный повар — славный такой паренек — перерезал радиокабель, и громкоговоритель онемел; господа офицеры целые сутки не имели никаких сведений с Восточного фронта. Но зато мы выпустили свои листовки. И тут началась такая свистопляска, что и словами не передать. Всю нашу роту посадили под арест, начались допросы, побои. В конце концов роту расформировали и разбросали всех нас по разным частям.

— Про это нам известно, доктор,— заметил кто-то.

— Я знаю. И все же мне хочется напомнить вам те моменты моей жизни, которые объяснят, так сказать, истоки моей благородной ненависти. Но, может быть, вас это не интересует?

Доктор обвел вопросительным взглядом сидящих вокруг товарищей и, прочитав в их глазах одобрение, продолжал с увлечением свой рассказ:

— Так вот представьте себе, друзья, студента последнего курса медицинского факультета. Он молод, жизнерадостен, как это принято говорить. Притом он еще и поэт, тайком пописывающий стишки в своей синей тетрадке. Примерный член нелегального литературного кружка. Страстный любитель загородных прогулок. Поклонник

советских фильмов и советской литературы. Член Союза рабочей молодежи. Вполне серьезный кандидат для вступления в партию... Что еще? Ах, да, чуть было не забыл: он тайно влюблен в девушку, которая понятия не имеет о его беззаветной любви и страданиях. При всем при том, это натура во многом фанатическая, проявляющая полную нетерпимость к алкоголю, курению и танцам. Одним словом — сектант, и только. Других особых примет не было, если не считать, разумеется, бедности, которая была общей приметой всех нас, характерной чертой нашего класса. Тут уместно будет сказать, что мой отец был владельцем деревянного сарайчика, в котором он, не разгибая спины, чинил обувку бедноты нашего горемычного Ючбунара и никак не мог всю ее перечинить. Мир бедности и нищеты окружал меня с детства. Теперь кажется просто невероятным, как мы все это вытерпели, как сумели выжить. Но, видно, бедность сильнее даже смерти, потому что отец, уже умирая, сказал мне: «Слушай, у меня остались непочиненными несколько пар, скажи людям, что я починю их послезавтра». Бедняга, он и мысли не допускал, что послезавтра уже будет лежать в могиле. И так случилось, что он избавился от мучений как раз тогда, когда в нашу страну хлынули в своих парадных мундирах немцы. Может быть, и хорошо, что он умер,— он не видел нашего позора и не страдал от этого. Я представляю себе, как он, стуча своим сапожным молотком по колодке, возмущался бы: «Саранча проклятая! Они нас со всеми потрохами сожрут! Что ж, лопайте, давитесь! Чтоб вас разорвало! У-у, саранча зеленая!» Нетерпеливый, горячий был у меня старик. Он бы мучительно переживал гитлеровский разбой. Мучительно переживал его и я. Бывало, ночи напролет, лежа в пустом сарайчике, я в ярости слушал, как гудят над нашей Софийской котловиной их самолеты; вглядываясь в темноту, с ненавистью следил за их моторизованными колоннами, которым не было конца. Я не мог выносить немецкую речь. Хотя, признаться, до того я несколько лет усердно изучал немецкий язык, читал в университетской библиотеке немецкие медицинские журналы. Когда же их войска пришли к нам и особенно когда немцы напали на Советский Союз, я возненавидел их язык, все их обычаи, все, что с ними связано... Да, я был очень беден и очень горд! Ведь я и моя мать с пятью ребятишками остались после смерти отца без куска хлеба. Бедная моя мама ходила по чужим домам

стирать, а мои младшие братья и сестры разбрелись кто куда: одни пошли в прислуги, другие работали от случая к случаю на фабриках, а самая младшая сестренка ходила на поденщину вместе с матерью. Только я, довольно-таки неестественно, стоял особняком,— как-никак студент, притом медик... Должен вам сказать, что мое зачисление на медицинский факультет было заслугой не столько отца, сколько моего старого школьного учителя, который по-стариковски восхищался моими «исключительными способностями». И поскольку этот благородный человек считал, что на свете нет ничего важнее профессии врача, он решил любой ценой добиться моего зачисления на медицинский факультет, несмотря на бедность и безразличие отца, которому было не до моего ученья, не до далеких перспектив. Одним словом, мой старый учитель заставил меня, как говорится, войти в чужой хоровод. Первые два года он вносил плату за мое обучение, а потом, похлопав меня по плечу, сказал с улыбкой: «Ну, а теперь, мой мальчик, дальше двигайся сам! Как-нибудь пробьешься. И мы тоже так учились, и мы так же боролись с волнами житейского моря!» Ох, бедный идеалист! Он даже не подозревал, какой хомут надел мне на шею! С утра я занимался в университете, а днем и вечером прислуживал «за харчи» в небольшом ресторанчике в нашем квартале. Во время летних каникул, чтобы поднакопить на обучение, я работал на стройках — подносил кирпич, замешивал бетон, таскал тяжеленные балки... Но в этом интересного было мало. Куда интереснее было другое: постепенно я входил в мир, коренным образом отличавшийся от того мирка, который окружал меня в университете. Ведь там училась в большинстве своем зажиточная молодежь: сыновья врачей, высших чиновников, богатых крестьян. Таких, как я, было очень мало, и мы выглядели белыми воронами в этой стае не знающих нужды, сытых, заносчивых сынков богачей, большинство которых рассчитывало после окончания университета уехать на специализацию за границу. На курсе нас было человека три или четыре, и мы с самого начала, не сговариваясь, держались вместе, защищаясь тем самым от высокомерия самодовольных и надменных маменькиных сынков. И поскольку у нас не было никаких других возможностей в чем-то им себя противопоставить, мы налегали на учебу — занимались, читали до умопомрачения, старались выделиться среди них своими знаниями

и культурой. Именно тогда я и овладел немецким языком. О своем увлечении поэзией я не смел никому сказать. Упаси боже! Я бы стал всеобщим посмешищем. И я правильно поступил, сохранив тайну,— мое самолюбие никому не удавалось уязвить. Самому же мне было весьма приятно сознавать, что я — бедняк, сын сапожника и прачки, изучаю медицину, знаю немецкий язык и к тому же пишу стихи. Я был уверен, что рано или поздно они увидят свет, и слава моя еще прогремит по всему факультету... Видите, я был скромным юношей,— о славе за пределами факультетских стен даже не мечтал!

И вот один из предметов моей гордости был вдруг повержен в прах... Понимаете, я уже больше не мог гордиться своим знанием немецкого языка. Раньше гордился, да,— Гейне, Маркс, Энгельс! А теперь вдруг гнусный гитлеровский сброд, заполонивший улицы Софии, затявкал, забормотал на том самом языке, знанием которого я так гордился. И можете себе представить — я словно бы онемел! Замкнулся в себе. «Нет,— решил я,— больше не буду говорить на языке этих варваров! Не буду, не буду, не буду!» День ото дня усиливалась во мне ярость. День ото дня росли во мне злоба и фанатическая ненависть к ним, не давали дышать. Этим, однако, напасти мои не ограничились.

Однажды к нам на факультет прибыл какой-то немецкий профессор. Был ли он светилом медицины— не знаю, потому что его прежде всего интересовали фашистские студенческие корпорации. И представляете себе, к этому «профессору» меня назначают переводчиком. Я до сих пор не могу понять, почему именно мне выпала такая честь... То ли это было недоразумение, то ли провокация. Но как бы то ни было, вызывает меня наш декан и говорит:

— Младенов, сегодня вы будете сопровождать господина Винкельмана в Боянскую церковь. С ним поедут еще несколько наших студентов, но вы, как самый сведущий в немецком языке, познакомьте его, пожалуйста, поподробнее с достопримечательностями нашего древнего храма. И вообще будьте в полном его распоряжении. Вы меня поняли?

Должен признаться, я так растерялся от столь неожиданного внимания к своей персоне, что потерял дар речи. И лишь немного погодя, взяв себя в руки, сказал вежливо:

— Господин профессор, но я ведь владею языком далеко не безупречно. Кроме того, я недостаточно компетентен в вопросах истории наших древних храмов. Да и костюм мой...

Я не договорил, а только показал на свой обтрепанный, потертый от долгой носки костюм. Декан оглядел меня, нахмурился и сказал строго:

— Ну что — костюм? Вполне пристоен. Притом господин Винкельман совершенно не обращает внимания на подобные вещи. Он — национал-социалист и очень хорошо знает, что бедность не порок. Я полагаю, что это обстоятельство даже доставит ему удовольствие.

— И все же прошу вас — избавьте меня от этого,— настаивал я.— Есть куда более достойные студенты, которые гораздо успешнее выполнят столь высокую и ответственную миссию.

— Нет, Младенов, мы уже решили, что именно вы будете сопровождать господина Винкельмана.

Я молчал, с трудом сдерживая себя, и чувствовал, как новый прилив ненависти к гитлеровцам распирает мне грудь, как гнев охватывает все мое существо. «Этому не быть, этому не быть,— мысленно твердил я, неотрывно глядя себе под ноги. — Я не был и никогда не буду слугой национал-социалистов... Нет, нет, нет!» Как все фанатически настроенные люди, я был отчаянно прямолинеен. Мое упорство вогнало нашего несчастного декана в пот. Он был просто ошарашен моим нахальством.

— Господин Младенов,— снова начал он с холодной, злой учтивостью, вытирая белым платком пот с лысого темени,— меня удивляет ваш отказ. И я не могу объяснить его ничем другим, как вашим особым отношением к гостю. Предполагаю, что вы отказываетесь по соображениям политического характера.

Я молчал.

— Если это так — скажите откровенно, и я не стану насиловать вашу совесть. Ведь мы проявляем терпимость к убеждениям людей, хотя вам это кажется невероятным... Господин Винкельман — национал-социалист. Хорошенько запомните это. С одной стороны, он националист, с другой — социалист. Предполагаю, что вторая часть этого политического определения удовлетворяет вас,— так ведь? И если это так, будьте добры найти общий язык с нашим гостем.

Я не мог больше сдерживаться. Снял очки, протер их,

хотя в этом не было необходимости, пристально поглядел на этого низенького толстого человечка, сидевшего за письменным столом с самодовольным видом и зардевшегося сейчас от удовольствия, что ему удалось столь остроумно спровоцировать меня.

— Господин профессор,— заговорил я, надевая очки,— я должен вам сказать прямо и откровенно, что ни одна, ни другая часть этого политического определения меня не удовлетворяет! Это — первое. Второе — я не могу быть слугой людей, которых презираю до глубины души... И третье — я не могу быть предателем...

Помнится, я так и не сумел досказать — чья-то сильная рука схватила меня за плечо, и я вмиг вылетел вон из кабинета декана. Обладателем ее оказался негласный сотрудник полиции, который пребывал тогда в университете на положении вечного студента. Его тяжелая рука так обрушилась на мое плечо, что я долго после ходил перекошенный и ощущал тупую боль в ребрах... Меня выставили из кабинета декана так внезапно и молниеносно, что я даже не успел перевести дух. Но я все же услышал, как кто-то крикнул мне вслед:

— Что, проболтался наконец, мерзавец?! Да?

Проболтался ли я — не знаю, во всяком случае, я дал выход своей ненависти. И не сожалел об этом.

Сразу же после этого инцидента меня, разумеется, обвинили в государственной измене и оскорбительно-грубом отношении к союзникам Болгарии. Я был исключен из университета, и на этом закончилось мое медицинское образование. Оказавшись на улице, я все же был благодарен судьбе за то, что мне не пришили конспиративной деятельности и не посадили за решетку... Но по милости фашистского господа бога участь эта не миновала меня. Черед мой пришел несколько позже, когда меня по мобилизации отправили служить на турецкую границу и там произошла история с листовками. Я уже говорил, что нашу роту расформировали тогда как неблагонадежную, а нас объявили бунтовщиками. Но я бежал из части, в которую меня отправили, и скрылся. Поступил я, видимо, верно, потому что — кто знает — в противном случае мне, может быть, пришлось бы болтаться на виселице...

Доктор откинулся на спинку кресла и задумался. Он почувствовал вдруг усталость, и ему стало неловко, что он так долго задерживает внимание друзей. Это было не

в его привычках,— он держался всегда скромно, незаметно, а тут вдруг так распустил язык! Очевидно, слишком увлекся воспоминаниями.

Медленно и размеренно тикали стенные часы. Они одни только и нарушали удивительную тишину, воцарившуюся в этой гостиной, где собралось столько старых друзей, навсегда связавших свои жизни и с прошлым и с настоящим; они и теперь жили и боролись с той же самоотверженностью, что и в прежние годы.

— Друзья,— заговорил снова доктор,— я не стану описывать всех последующих перипетий моей жизни до того часа, как я вступил в партизанский отряд. Не буду занимать вас тем, как я добрался до гор, или тем, какой восторг я испытал, попробовав первый раз партизанскую кукурузную кашу. Не стану рассказывать вам ни о страхе, который я испытывал во время первого сражения, ни о своей интеллигентской нерешительности, когда надо было расстрелять первого захваченного нами жандарма... Скажу лишь одно: моя ненависть к немцам приобрела какой-то особенный, я бы сказал, даже расистский характер... А это уже было постыдно! Я начал презирать и ненавидеть вообще все немецкое. Услышав немецкую речь, сразу же ощетинивался. Не мог примириться с тем, что «Капитал» написан на немецком языке, что Маркс говорил по-немецки. Просто ненавидел все немецкое, как озлобившийся ребенок. Впрочем, вы лучше меня знаете, каким я был фанатиком. Я стал в отряде предметом насмешек. Одного не могу вам простить: вместо того чтобы помочь мне избавиться от германофобства, вы меня нарочно все время дразнили. А кто-то из вас даже придумал мне кличку: «Фриц». Потому, мол, что был я долговязый, в очках и походил внешностью на немца. Может, и в самом деле, в моей физиономии есть что-то немецкое, но все же, друзья, согласитесь,— это переходило уже все границы. Подумайте, каково мне было в ту пору и в моем состоянии слышать обращение: Фриц!..

Доктор улыбнулся. Заулыбались и остальные; каждый припомнил, вероятно, какую-нибудь забавную историю, происшедшую когда-то с их другом.

— Как бы там ни было,— продолжал доктор,— я стоически сносил обиду. Фриц так Фриц... В конце концов на имя можно не обращать внимания. Но изменить свои убеждения, переломить себя, да еще в разгар антигитлеровской борьбы,— было немыслимо. И, признаюсь,

переживал я это с двойственным чувством: с одной стороны, радовался, с другой — стыдился самого себя, своего фанатизма, своей дикой озлобленности и беспредельного упорства... И вот однажды со мной произошла такая история... Впрочем, надо быть последовательным.

Вспомните осень тысяча девятьсот сорок третьего года. Немцы на Восточном фронте терпели одно поражение за другим. Отступали по всей линии фронта. Радость наша — неописуема. Партизаны все чаще спускались в села. Как раз в то время, если кто из вас помнит, я был послан в Софию с важным партийным поручением, выполнив которое я должен был через Пловдив вернуться в отряд. Я взялся за это поручение с готовностью. В солдатском мундире, с отпускным билетом в кармане, я, оказавшись в столице, почувствовал себя ее завоевателем. Невозможно представить себе, с какой радостью шагал я по улицам города, который, как я считал, в один прекрасный день падет к нашим ногам и будет молить о прощении и пощаде! И не было ничего удивительного в том, что я позволял себе такие дерзкие выходки, которые и сейчас еще не могу себе простить,— настолько они были безрассудны и опасны. Ну, например, куда бы я ни заходил, с кем бы ни разговаривал, Восточный фронт не сходил у меня с уст: как там, наступают ли наши, бегут ли немцы, сколько дивизий взято в плен, сколько самолетов и танков уничтожено. Я сгорал от нетерпения. Мне хотелось, чтоб каждый встречный подтверждал мою радость, хотелось, чтоб мне непрерывно повторяли: «Наши наступают, немцы бегут!» И мне никогда не надоедало произносить: «Гитлер капут!», «Гитлер капут!». Мне очень полюбилось словечко «капут» — оно отлично сочеталось с Гитлером, и звучали они вместе, как поговорка. Однажды меня даже чуть было не избили за них,— спасла солдатская форма и, видимо, сочувствие части людей. Но самое удивительное случилось со мной в грузовике, на котором я добирался из Софии в Пловдив.

Это был самый обычный военный грузовик, шедший в Пловдив порожняком. Я попросил водителя прихватить меня, и он, увидев, что я одного с ним поля ягода — отощавший и голодный, почерневший от солнца солдат,— сразу же дал мне знак лезть в кузов. Я не замедлил воспользоваться его солдатской любезностью, забрался ту-

да, устроился на лежавшем там запасном колесе и успокоился.

Стоял сентябрь. Солнце припекало вовсю. Я прилег, подложив под голову ранец, в котором у меня были хлеб и двадцать пачек сигарет, и задремал. Уже за городом, кажется, возле Врани, грузовик вдруг остановился, и совсем рядом раздалась торопливая немецкая речь. Я сразу же насторожился, а приподнявшись, увидел нескольких солдат в замызганных зеленых мундирах и в зеленых же, сильно помятых фуражках. Их обтрепанный вид хоть и произвел на меня некоторое впечатление, но все же не уменьшил моего гнева. Тем более, что я только было задремал, а они меня разбудили, и как раз тогда, когда я так далеко унесся в своих сновиденьях. «Вот гады, и тут не дают мне покоя!» — подумал я и снова лег, чтобы не видеть их. Но немцы продолжали упорно настаивать, и я, прислушавшись, понял, что они уговаривают шофера подвезти их до Пловдива. Я пришел в ужас: ехать вместе с ними до самого Пловдива! Правда, мне это было бы даже выгодно — в их компании я мог чувствовать себя в безопасности. Но находиться несколько часов в таком близком соседстве с немцами, слушать ненавистную немецкую речь! Однако шофер согласился, и мне так или иначе пришлось смириться со своей судьбой.

Смеясь и переговариваясь, фрицы со всех сторон полезли в кузов и расположились на дне, кто где смог. Меня они будто и не заметили — настолько я был им безразличен в эти минуты. Должен признаться, меня это взбесило. «Скажи на милость — все те же надменные тевтоны! Даже «здравствуй» не сказали!» И мое ущемленное самолюбие, как улитка, укрылось в своей раковине. Немцы тем временем принялись устраиваться, поудобнее разлеглись и дали шоферу знак трогаться. Машина снова покатила. Овеваемые свежим ветерком, немцы повеселели, разговорились, стали восхищаться — представляете себе? — природой! Закурили,— большинство из них курили трубки. Я навострил уши и, как поджавший хвост обиженный пес, молча поглядывал на них исподлобья. Ненависть во мне разгоралась все жарче и жарче. «Вот они,— думал я,— владыки мира, господа! Остановили машину, забрались в нее, устроились и в ус не дуют. А курят определенно наш, болгарский табак... И солдатские ранцы их наверняка набиты нашим, болгарским салом, болгарским маслом, болгарскими колбасами, болгарскими фруктами... Жрите, ло-

пайте, давитесь!..» Я осыпал их проклятиями в этом же духе,— мысленно, конечно! — хотя в данный момент они и не ели, и не вели себя как господа. В сущности, это были довольно пожилые люди, морщинистые, плешивые, с усталыми от бессонных ночей глазами. Чем-то бесконечно печальным веяло от их обтрепанного солдатского одеяния. И это почему-то даже усиливало мое злорадство. Сразу же лихорадочно заработало мое воображение. «Ясно, они возвращаются с Восточного фронта, обломки «непобедимой» армии Гитлера...» Злорадство мое все нарастало, и я решил заговорить с ними о Восточном фронте.

Рядом со мной, облокотившись так же, как и я, на запасное колесо, полулежал смуглый немец с трубкой в зубах и молча глядел на убранные поля. Ветер слегка шевелил его поредевшие волосы, фуражка скатилась к ногам. Он расстегнул мундир, вытащил ворот рубахи наружу и стал похож скорее на штатского, чем на солдата.

— В Пловдив едете? — спросил я осторожно.

— Да, да! — подтвердил немец, дружелюбно глядя на меня.

Я удивился такой любезности, тем более что солдаты никогда не говорят, куда они направляются и что делают. «Похоже,— подумал я,— что этот тевтонский рыцарь не склонен хранить военную тайну!» С притворно печальным видом я продолжал вести наступление.

— Как положение на фронте? Кажется, неважно?

— Да, да! — снова сказал немец, вынув изо рта трубку.— Капут.

Это словечко, столь любимое мною в то время, словечко, которое я старательно пытался вырвать у каждого, с кем говорил, вдруг поразило меня. Поразило потому, что я услышал его из уст немецкого солдата. Подбодренный первым успехом, я продолжал еще более печальным тоном:

— Да, жаль! Так много жертв. Жаль...

Немец молчал, посасывая трубку. Я вздохнул и повторил:

— Очень жаль — столько жертв!

Каких «жертв» и почему «жаль» — это уж понимай как знаешь! Подтекст моих высказываний был совсем другим, и я от злорадства терял самообладание. «По крайней мере, хоть выскажу им все! Хватит им чваниться!» — ду-

мал я и продолжал говорить о Восточном фронте, пытаясь втянуть в разговор и других солдат, сидевших поближе к нам. Но остальные немцы не обращали никакого внимания ни на мои притворные вздохи, ни на мои сокрушенные «жаль». Откровенно говоря, меня и сейчас еще пробирает дрожь, когда я вспоминаю тогдашнюю свою дерзость. И откуда только взялась эта лихость, неосторожность? Ведь они могли тут же, в грузовике, уничтожить меня за то, что я так явно насмехаюсь над их поражением! Они могли вышвырнуть меня из машины, могли арестовать! Могли убить! Я был один, а их десятеро, и притом — немцев, господ! Какое неблагоразумие с моей стороны! Какая дерзость!.. Но разве фанатическая ненависть знает границы?

Я облокотился поудобнее на скат и теперь почти касался плечом немца. Он выкурил свою трубку, вытряхнул из нее пепел и спрятал в верхний карман мундира. Задумчиво и грустно вглядываясь в даль, он продолжал молчать, словно рядом с ним никого и не было. Грузовик мчался со страшной скоростью, удивительно ловко преодолевая крутые повороты и оставляя за собой тучи пыли. Мимо нас проносились опаленные летним зноем поля кукурузы, по жнивью бродили тощие волы и коровы, навстречу нам скакала со звонким ржанием сорвавшаяся с привязи лошадь. Собаки, охранявшие стада, тщетно пытались догнать наш грузовик. Но немцев уже не трогали ни пейзажи, ни блеянье стад, ни собачий лай. Они были поглощены своими мыслями, и я впервые увидел их совсем в другом свете. Может быть, они думают сейчас о своем очаге, о родном доме? О своих лесах, полях, лугах? И это заставило меня спросить моего соседа, из каких мест он родом. Немец взглянул на меня, обрадовавшись, что я интересуюсь его родными краями, и с готовностью ответил, что он из Саксонии, родился в Лейпциге.

— Лейпциг! — с восхищением воскликнул я и добавил неосторожно: — В Лейпциге проходил процесс Георгия Димитрова!

— Да, да, да! — громко подтвердил немец, улыбаясь и кивая головой.— Димитров, Димитров!

Он произносил «р» с трудом, оно у него было скорее похоже на «х», и это придавало какой-то особенно привлекательный оттенок волшебному для меня имени. Впрочем, кто знает, может, мне это тогда просто показалось,

потому что я был очень взволнован и почти утратил всякую осторожность.

— Да,— продолжал я,— Георгий Димитров нанес первый удар фашизму на Лейпцигском процессе... — И, не зная, что сказать еще, я воскликнул: — Очень хорошо, очень хорошо!

— Да, да, очень хорошо! — улыбаясь, подтвердил немец все так же дружелюбно, хотя и несколько задумчиво.

Моя дерзость возрастала. Я уже искал глаза немца, чтобы, заглянув в них, убедиться в его искренности. Что означает его «очень хорошо»? Что означает улыбка? Я пристально вглядывался в его голубые глаза. Были они словно два спокойных голубых озерка, окруженных морщинистой, поблекшей, похожей на пергамент, кожей, которая недвусмысленно выдавала возраст этого человека. «Что он думает? Почему не глядит на меня? Может быть, он боится? Или заманивает меня в ловушку, ждет, пока я полностью не выдам себя?» И я по-прежнему пытался заглянуть ему в глаза. На какую-то секунду немец вдруг машинально кинул взгляд на мои солдатские погоны и снова задумался.

Грузовик монотонно гудел, оставляя за собой клубы пыли, а встречный ветер бил нам в лицо и приятно освежал. Такой жаркой и сухой осени у нас не было уже давно.

Остальные немцы, которые улеглись на досках, подостлав под себя зеленые шинели, либо курили, либо спали. Только мы с моим собеседником сидели молча и напряженно следили друг за другом. Он продолжал делать вид, что вглядывается в даль, а я все так же нахально смотрел ему в лицо, искал повод продолжить начатый разговор. Димитров очень подходил для этого, и я решил ни за что не упускать такую возможность. Нетерпение мое взяло вверх, и я снова заговорил о Лейпцигском процессе.

— О, совершенно верно! — встрепенулся немец.— Это был такой большой процесс...

И, не в силах больше сдерживать себя, он принялся возбужденно и торопливо приводить целые отрывки из знаменитой, всемирно известной речи Георгия Димитрова, произнесенной им перед Лейпцигским судом. Немец говорил быстро, задыхаясь от радостного волнения, и это особенно чувствовалось, когда он произносил имя Димит-

рова со своим характерным «р». Я не отрывал взгляда от его голубых глаз.

— А Геринг? Геринг? Помните, как пыхтел этот жирный боров, жалкий и беспомощный, когда стоял перед Димитровым? Помните? — Я вглядывался в лицо немца.— Помните?

— Да, да! — смеясь подтверждал тот и, в свою очередь, принимался живописать, как провалились на этом процессе и Геринг, и Геббельс, и вся гитлеровская свора.

Он проглатывал окончания некоторых слов, и мне приходилось напрягаться, чтобы следить за его мыслью, но это мне не мешало, а даже доставляло удовольствие. Я нарочно повторял за ним некоторые слова и заставлял его таким образом произносить их еще и еще. Мне хотелось дважды, трижды слышать из уст немца имя Димитрова, его пламенные слова, произнесенные на суде, в поединке с Герингом... И я это делал настойчиво, упорно, с детским любопытством. Немец, не подозревая, какую радость он мне доставляет, продолжал рассказывать, как во время процесса он сам и несколько его товарищей разбрасывали на заводе, где они работали, листовки в защиту Димитрова, как нацисты блокировали завод и все время, пока шел процесс, не давали даже пичужке пролететь туда. Он рассказал, как его мать собрала небольшую посылку и, не указывая своего имени, отправила ее главному герою процесса. Он с истинным удовольствием описывал, как жители Лейпцига слушали на улицах и площадях радиопередачи и комментировали их в пользу Димитрова... Потому-то гитлеровцы и перестали передавать по радио судебные заседания... Я слушал его, и мое сердце наполнялось радостным умиротворением,— словно я одержал победу.

О своем собеседнике я успел узнать, что он металлург, что до войны был заключен в концлагерь; что жена его, тоже фабричная работница, убита нацистами, потому что была активисткой компартии; что их единственный ребенок умер от туберкулеза накануне войны... «Странно,— подумал я,— ведь это совсем другая Германия, о которой я ничего не знаю, которую все мы забыли. Подпольная, молчаливая, загнанная в концлагери и тюрьмы. Германия окровавленная и раздавленная, но все же еще живая и мыслящая, Германия Тельмана, Германия Маркса и Энгельса!» И я с восторженностью школьника принялся

декламировать стихотворение Гете, которое Димитров цитировал на Лейпцигском процессе, желая внушить германскому народу, что он должен быть молотом, а не наковальней в это роковое для него время... Немец слушал меня, и улыбался, и кивал головой, повторяя свое твердое и решительное: «Да, да, да!» Под конец — я помню, словно это было вчера,— я сжал кулак, слегка — так, чтобы этого не увидели остальные,— приподнял руку и, воспользовавшись шумом мотора, четко произнес: «Рот фронт!» К моему удивлению, немец тоже сжал кулак и, вытянув низко, у самого дна кузова, руку, ответил мне: «Рот фронт!» Мы оба улыбнулись и впервые поглядели друг другу в глаза. И я почувствовал, что и у меня и у него окончательно отлегло от сердца. Он принялся рассказывать, как его выпустили из концлагеря и отправили снова на завод, потому что не хватало рабочих рук, как затем его мобилизовали в армию, потому что много молодежи погибло на Восточном фронте. Его и других, таких же, как он, пожилых рабочих послали в строительный батальон организации «Тодт» — строить укрепления. В действующую армию их не отправляли, потому что они считались неблагонадежными. И хорошо, что их не отправили на фронт, потому что все они — старые рабочие — ненавидят гитлеровцев и их войну. Проклинают тот час, когда германская армия двинулась на восток. И рано или поздно германский народ взыщет с них за это всенародное истребление...

— На Восточном фронте Красная Армия перешла в наступление,— с удовлетворением сказал он.— На нее у нас все надежды! Мы можем не вернуться, можем умереть, но свобода все равно придет и к германскому народу. Свобода вернется в Германию, и тогда — горе убийцам!

Он сказал, что их группу отправляют в Грецию строить укрепления на побережье и что его спутники — старые рабочие с разных заводов Саксонии, испытанные товарищи, антифашисты.

Я слушал его и не верил своим ушам. Все мои представления о нынешней Германии и германском народе полетели вверх тормашками. У меня возникло ощущение, что я был слеп и, вдруг прозрев, увидел перед собой добродушного человека, который покуривает трубку и спокойно, миролюбиво беседует со мной. И этот человек — немец! И немецкий язык снова зазвучал для меня, как

когда-то,— это был близкий мне, мужественный язык Маркса. И я все решительнее отбрасывал от себя свой слепой фанатизм, хотя во мне еще что-то этому сопротивлялось.

Мы приближались к Пловдиву. Вдали, на равнине, уже синели три пловдивских холма, похожие на стога сена. И это снова напомнило мне о суровой и опасной жизни, которая продолжалась вокруг.

Мой собеседник был, видно, человеком сдержанным, немногословным. Произнося свое отрывистое, краткое «да», он отметал все мои сомнения. Я уже хлопал его по плечу, дергал за рукав мундира и громко кричал ему в самое ухо, опасаясь, как бы хотя бы одно мое слово не унес ветер. «Смотри, мол, каков я, у нас все такие же коммунисты!» Оставалось лишь сообщить ему, что я партизан! Сам не знаю, как я удержался и не сделал такой глупости! Может, у меня просто не осталось на это времени. Потому что я уже был готов вынуть из груди свое сердце — горячее, бьющееся — и поднести его этому необыкновенному немцу, который меня потряс в полном смысле этого слова.

Мы подъехали уже к предместью нашей южной столицы. Я с болью подумал, что скоро должен буду расстаться с новым другом. Мне хотелось, чтобы путешествие наше продолжалось бесконечно, чтобы грузовик наш нигде не останавливался. Я все придумывал, что бы еще сказать ему, какой еще политический вопрос затронуть, хотя и так наговорил уже много. И под конец, совершенно неожиданно для самого себя, спросил, как его зовут. Он испытующе поглядел на меня, но все же ответил с тревожной ноткой в голосе:

— Фридрих Вайсберг.

Я повторил:

— Фридрих...— И добавил: — Фридрих Энгельс! — Ведь я во всем искал политику.

— Да, да! — со счастливой улыбкой сказал немец и вынул изо рта трубку.

Он хотел, видимо, сказать что-то еще — хорошее, приятное, но я со своим нетерпеливым характером не дал ему открыть рот, начав патетическую речь о Фридрихе Энгельсе и Карле Марксе. И разговор наш снова принял политическое направление, выдержанное во всех отношениях.

Уже у самого въезда в город наш грузовик внезапно замедлил ход и остановился. Немцы приподнялись и стали осматриваться. В нескольких шагах от нас белели деревянные бараки, возле которых расхаживали немецкие часовые. Вскоре из центрального барака выскочили два молоденьких паренька в чистых, ладно пригнанных сизо-синих мундирах, в сдвинутых набекрень беретах, из-под которых вызывающе торчали русые чубы. Они подошли к грузовику и о чем-то заговорили — быстро и громко, словно бы отчитывали водителя. Мы с моим собеседником переглянулись и оба почувствовали, как нас на какое-то мгновенье снова охватило недоверие друг к другу. «Кажется, моя песенка спета,— промелькнуло у меня в голове.— Стоит ему промолвить одно только слово относительно моих убеждений, и эти щенки разорвут меня в клочья!»

Оба нагловатых юнца высокомерно оглядели сидевших в грузовике стройбатовцев и резко предложили им предъявить документы. Действительно ли была в этом необходимость или нет — неизвестно. Мне все же показалось, что эти сопляки потребовали их просто для того, чтобы показать свою власть. В их визгливом, нервозном лае навязчиво повторялось нетерпеливое «лос, лос, лос», которое я просто не выносил. Особенно разозлился я, когда, подойдя к моему собеседнику, один из них выхватил у него смятое удостоверение, повертел его в руках и, ткнув им ему в лицо, стал доказывать, что на нем недостает какой-то печати; он ругался, орал, а под конец стал совещаться со своим напарником.

Мы молчали. Вдруг оба щенка в мундирах снова затявкали и швырнули скомканный документ прямо в лицо пожилому человеку. Он вздохнул, так ничего им и не сказав, только прикрыл глаза, может быть, просто для того, чтобы не видеть их. Остальные стройбатовцы тоже молчали, бросая уничтожающие взгляды на этих безусых юнцов, которые, видимо, представляли собой последний резерв гитлеровской армии.

Проверка продолжалась всего несколько минут, но и их было достаточно, чтобы раскусить этих краснощеких зверьков. На меня, впрочем, они не обратили ровно никакого внимания, и это еще больше укрепило мою ненависть к ним.

— Мы свободны? — не выдержав, спросил я, чтобы

напомнить о своем существовании, но они меня просто не услышали.

Один из них,— тот, что повыше ростом, похожий на жирафа,— уже отошел от грузовика и подал знак шоферу. Машина сразу же тронулась с места и помчалась, словно спешила скорее оторваться от этих крикливых молодчиков.

— Жуткие типы! — сказал я громко по-немецки и поглядел на моего приятеля.

Тот о чем-то задумался, но, услышав мой голос, встрепенулся и приложил палец к губам. Это было беззвучное и категорическое предупреждение о том, что нашей беседе пришел конец. Да, мы были уже в другой зоне. Надо было молчать. И мы молчали. Но я знал, что мысли в эти минуты были у нас одинаковыми. И это меня радовало.

Мне очень хотелось оставить моему новому другу что-нибудь на память. Хотелось дать ему что-то такое, что всегда напоминало бы ему обо мне. Я упорно шарил по карманам, но так ничего и не нашел. Да и что могло быть в партизанских карманах?! Поломанный перочинный ножик, огрызок карандаша, пуговица, завалявшаяся бог знает с каких времен... Я думал и ничего не мог придумать. А конец нашего пути все ближе и ближе. Мы уже едем по главной улице Пловдива. Скоро доберемся до площади, и там нас высадят.

— Фридрих,— начал я торжественно,— нам приходится расстаться... И, может быть, мы больше никогда не увидимся... Но я хочу, Фридрих, чтобы мы никогда, пока живы, не забывали друг друга...

Я почувствовал, что у меня на глаза навертываются слезы. Старый рабочий смотрел на меня с отеческим умилением. Он понимал мое волнение и не хотел меня прерывать.

— Фридрих,— продолжал я,— мне так хочется дать вам что-нибудь на память... На память о Болгарии, о себе...

Мой взгляд остановился на ранце, лежавшем у меня в ногах. Я тотчас же схватил его, открыл и поспешно вытащил оттуда сверток с сигаретами — те самые двадцать пачек, что я купил для ребят нашего отряда. Я ни секунды не колебался. Это было как счастливое озаренье: я подарю сигареты! Ничего другого у меня нет. И я заговорил с лихорадочной торопливостью:

— Возьмите их, Фридрих, на память обо мне, о настоящей, революционной Болгарии!.. Я никогда не забуду нашей встречи...

Я говорил и не слышал своих слов,— кажется, они были слишком сентиментальны и, может быть, вообще излишни. Но можно ли было сохранить хладнокровие в подобном случае? Можно ли было контролировать свои чувства?

Я высыпал золотисто-белые пачки сигарет на шинель Фридриха, а Фридрих роздал их остальным солдатам.

— Спасибо, спасибо, спасибо! — неслось со всех сторон, и шершавые, потрескавшиеся рабочие руки потянулись ко мне, чтобы поблагодарить. Я ловил эти руки и горячо пожимал их, словно прощался с братьями.

— Прощайте, товарищи,— сказал я, закидывая за спину опустевший ранец.— Жаль, что не могу дать вам ничего другого.

Фридрих Вайсберг положил мне на плечо руку.

— Этого вполне достаточно! — ясно и отчетливо сказал он.

Потом, сделав глубокую затяжку, он вынул изо рта свою неизменную трубку, вытряхнул из нее пепел и протянул мне.

— Прошу вас, возьмите ее на память о нас, немецких рабочих!

Я вздрогнул и от неожиданности невольно даже отпрянул назад, но он улыбнулся и сунул мне в руку свою обгорелую от долгого употребления коротенькую деревянную трубочку, с которой, видно, не расставался всю свою многотрудную рабочую жизнь.

— Возьмите, возьмите! В Болгарии прекрасный табак!..

Я хотел было сказать ему, что не курю, но грузовик уже остановился, и немцы, отряхивая с себя пыль, один за другим стали вылезать из него.

Мы с Фридрихом Вайсбергом выбрались из кузова последними. На прощанье мы крепко сжали друг другу руки и долго стояли так. Мне очень хотелось обнять его, но солдатская форма словно мешала мне сделать это. Да и еще какое-то тлевшее во мне предубеждение нашептывало, что не следует устраивать сентиментальные демонстрации с немецким солдатом в самом центре Пловдива. И я попрощался коротко, но зато выразительно:

— Рот фронт, Фридрих!

— Рот фронт! — прошептал он в ответ.

И слова эти слышали только мы двое.

Что было с ними дальше — не знаю. Я видел лишь, как Фридрих и его товарищи поплелись в немецкую комендатуру, а я направился в Кючюк Париж — пролетарский район Пловдива, где должен был установить связь с отрядом.

Доктор умолк и уставился на пляшущие языки пламени в камине. Очки его пугающе сверкали, отсвечивая красным, по бледному лицу пробегали блики. Он был так погружен в свои мысли, что никто не решался нарушить воцарившуюся тишину. Наконец на это отважился полковник. Он улыбнулся и сказал:

— Вот теперь мне кое-что стало понятно, доктор!

— Да, свою трубку я никогда тебе не подарю, как бы ты ни настаивал, товарищ полковник! — с улыбкой отозвался доктор Младенов.

— Но ведь ты же не куришь!

— Ну и что же... Пусть она так и хранится у меня в кабинете под стеклом... Ведь трубка эта для меня — память о друге!

— А почему ты нам раньше не рассказал эту историю? — спросил кто-то.

— Самолюбие не позволяло... как-то неловко было! Ведь его звали Фриц! И потом — ведь я был так неправ! Верно?

Доктор обвел взглядом старых друзей.

— И можете себе представить,— продолжал он,— в прошлом году, когда я был в ГДР...

Все оживились при этих словах и с любопытством уставились на него.

— Нет, нет,— усмехнулся доктор,— я не увиделся с Фридрихом Вайсбергом, как вы, наверное, сразу подумали... Да я и не пытался разыскать его, хотя мне очень хотелось, чтоб такое чудо произошло... Увы, так бывает обычно только в романах и в кино... Но зато я воочию снова увидел другую Германию. Германию саксонского рабочего Фридриха Вайсберга, с которым встретился более десяти лет назад...

— Ты, кажется, снова сбиваешься на поэзию, доктор,— заметил кто-то.

Но шутка эта легким ветерком пронеслась над головами увлеченных слушателей, и доктор продолжал свой рассказ, как будто и не слышал ее вовсе.

— Я был очень счастлив, друзья! Всем своим существом ощущал я, что гитлеризм повержен и лежит раздавленный у моих ног... И рядом с ненавистью к нему в душе моей поднималась, росла любовь к немецкому народу. Вы понимаете? Любовь к народу, который дал миру Карла Маркса и саксонского рабочего Фридриха Вайсберга... Был я и в Лейпциге, ходил в музей Георгия Димитрова — в здании бывшего имперского суда... Я снова с добрым и радостным чувством слушал мужественный немецкий язык. И это постоянно возвращало меня к прошлому, к моему старому другу Фридриху Вайсбергу, который первым открыл мне настоящую Германию и спас меня от опасных заблуждений...

Было уже за полночь, а разговор друзей как будто только сейчас начался. В полумраке гостиной еще долго звучал ясный и четкий голос доктора Младенова.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

БУРКА

На наших холмах всё мелкая скотинка копошится, животному, какое покрупней, трудно по козьим тропам карабкаться. Овца, которую мы держим, молока дает с пригоршню, а когда весной острижешь ее, и шерсти всего пригоршня набирается. Трава у нас низкая, колкая, скотине с утра до вечера щипать ее приходится. С тех пор как я себя помню, мы все такую скотину держим. Как говорит «Два Аистенка», это вам не Германия, где скотину откармливают со слона величиной.

Ну ладно, а потом наши, деревенские, раздобыли эту черноголовую овцу, плевенскую. У черноголовой овцы морда длинная, точно у лошади, и ноги длинные, и копыта большие. Мы думали, что, как зарядят дожди, копыта у нее сгниют от грязи и она заболеет ящуром. Но дожди пошли, дороги развезло, плевенская черноголовая овца бродит по колено в грязи, однако копыта у ней что твой кремень, и ящуром она не заболела. Мужики стали один за другим менять свою скотину, и я своих старых овец, сколько у меня их было, спустил и купил плевенских, черноголовых. Голова у овцы черная и вымя черное (зато большое, как у козы), а шерсть белая. Одна только овца мне попалась сивая.

Когда подошло время стрижки, жена мне и говорит: «Давай-ка, Лазар, возьмем этой шерсти и белой столько же, и сделай ты себе бурку! Ты уже в годах, в твои годы без бурки нельзя!» Это верно, в молодые годы человеку не к лицу в бурке ходить, но как войдет в возраст, самое время буркой обзаводиться. А я-то, уж конечно, в возрасте — два землетрясения помню и одно солнечное затмение.

Ну вот, взяли мы шерсть от сивой овцы и от одной белой, жена ее выпряла, паладила свой ткацкий стан и соткала полотнище — полосу белую, полосу сивую,

потом опять белую,— сколько их там требуется на одну бурку. Понес я тканину на валяльню (мы валяльней сукновальню называем). Давидко мне приятель, вместе в севлиевских казармах служили, он сразу и запустил мою тканину в валяльню. «На бурку?» — спрашивает. «На бурку,— говорю,— я уж человек в годах, мне без бурки никак нельзя!» — «Так и знай,— говорит мне Давидко,— эта шерсть для бурки самая лучшая! Прежняя овца — она хилая, коли возьмешь от нее шерсть, как тканину через валяльню ни пропускай, все равно войлока не получишь. А от этой черноголовой пропустишь разок — войлок и готов. Хоть воду в нем неси на вершину холма — не протечет! Да и молодка твоя, гляжу, густым бердом ткала!» — «Окстись,— говорю я ему,— какая ж она у меня молодка! Да она как турецкая черепица ссохлась, а ты говори́шь — молодка. Хотя ткать-то она умеет».— «Что ж ты думаешь,— возражает Давидко,— коли моя толстая, так от нее больше проку? От толщины тоже радости никакой!» — «Так-то оно так,— говорю,— чересчур толстая тоже ни к чему, а все ж когда потолще, оно приятнее! Бурку надумаешь справить, уж на что нехитрое дело, и то стараешься, чтоб потолще вышла».— «Насчет бурки,— говорит Давидко,— оно, конечно, верно!»

Войлок получился на славу, да только у нас в деревне портного нету, так что пришлось мне идти в соседнее село, а там портных целых двое. Один шьет по-городскому, позаковыристей шьет, лацкан какой тебе посадит или другую фиговину, а второй больше по старинке работает. Я пошел ко второму. Тот похвалил мой войлок, сшил мне бурку и, когда я за ней пришел, говорит мне: «Ну и войлок у тебя, Лазар, я об него все иголки пообломал! Игла его не берет, и утюгом его не прогладишь!» — «Это потому, что он из шерсти черноголовой овцы, той, плевенской, да и Давидко мне друг, на совесть в валяльне прокатал. Мы с Давидко вместе в армии служили, и в карцере три раза вместе сидели, и под ружьем вместе стояли».— «Что правда, то правда,— говорит портной,— по уставу он тебе войлок свалял, но и я по уставу бурку сшил, будешь носить и меня добром поминать!»

Накинул я бурку, а она на мне как литая. Полоса белая, полоса сивая, полоса белая... И все пригнано как полагается, и наголовник тоже складно посажен.

В бурке, я вам скажу, сразу чувствуешь себя как-то основательнее, и шаг становится вроде внушительней. По

дороге домой — я и сам замечаю — иду я медленней, ступаю с достоинством, проходя мимо валяльни, говорю только: «Здорово, Давидко!» — а поболтать не останавливаюсь, потому что человеку в бурке болтать уже не к лицу. Бурку коли надел, двигайся с достоинством, говори поменьше, если кто встретится и скажет: «Добрый день!» — отвечай только: «День добрый!» И больше ни слова, и гляди прямо перед собой. Встречный тогда подумает: «Этот-то, в бурке, серьезный, видно, человек; кто его знает, куда он направился и по какому делу! Поговорить даже не останавливается и с дороги не сворачивает, а прет себе вперед, точно паровоз».

А я вовсе никуда и не направился, просто к себе в деревню возвращаюсь, но бурка мне внушительности прибавляет... Вот так, стало быть, обзавелся я буркой. Овец прошло через мои руки без счету, но надо было появиться плевенской черноголовой, чтоб и я наконец сумел сшить себе одежду, подобающую моему возрасту.

Осенью вся наша деревня отправляется в город на базар. Погода сырая, холодная, я, бывало, сколько лет в эту пору в своем вытертом полушубке ежился, а теперь шагаю в бурке и внимания на сырость и холод не обращаю. Снег уже выпал, мужички гонят скотину по снегу, другие перец несут на продажу, я тоже с низкой перца иду по тропке, в снегу протоптанной, но мне в моей бурке холод не страшен. Два Аистенка тоже идет со мной, весь скукожился от холода, хоть и в плаще,— гонит на продажу свинью. (Никакой он не Два Аистенка, звался он раньше Цеко, но поработал год в Германии,— шоссе там какие-то прокладывали,— и привез из Германии этот плащ и инструменты марки «Два аистенка». И все про них рассказывал, отсюда и прозвище пошло.) Два Аистенка погоняет свинью, шмыгает носом и ежится в своем плаще. Плащ, хоть и германской работы, от холода коробится, твердый стал, что твоя жесть, а моей бурке хоть бы что — ни холод ее не берет, ни дождь. «Знаешь, Лазар,— говорит мне Два Аистенка,— продам я эту чертову свинью и возьму-ка да тоже куплю себе плевенскую черноголовую. Разведу овец и сошью себе бурку. В этом плаще у меня все жилы померзли!» — «Стоящая скотинка,— говорю я ему,— шерсть дает, и молоко дает, и сглазу не боится. Прежних наших овец, сам знаешь, сглазить ничего не стоило, а эта, черноголовая, хоть на русалочьем лугу пастись будет, ничего ей не станется».— «Непременно

разведу,— говорит Два Аистенка и шмыгает носом,— только бы мне эту холеру продать!»

Это бы так, да только никто не хочет у Двух Аистят свинью купить. Кто на нее ни глянет, тут же спрашивает: «Небось скотина эта кур жрет, вон у нее какие клыки собачьи!» Два Аистенка бьет себя в грудь: «Как это кур жрет? Ширицу жрет, лебеду, свеклу кормовую, все, что свинье положено, то и жрет, а кур никогда! Кровопийца она, что ли, чтоб курей жрать! Чего говоришь зря?» — «Жрет она их, жрет,— говорит человек, который к свинье приценивался,— стоит на ее собачью морду посмотреть, сразу видно, что жрет!»

И покупатель проходит дальше.

А она действительно жрет курей, как собака на них кидается. Говорю я Двум Аистятам: «Прирежь ты ее лучше, свинью эту, и на мясо продай. Так у тебя никто ее не купит».— «Да у ней и мяса нет,— жалуется Два Аистенка.— Одни кости растут».

Коли не везет кому, так уж не везет.

Два Аистенка гонит обратно свою свинью, я несу обратно перец, но мне хоть не холодно, я не ежусь зябко, а шагаю по тропке с достоинством, так, что снег под ногами поскрипывает.

Так я и перезимовал эту зиму в бурке. Тот, кто носил бурку, знает, что это такое, кто не носил, даст бог, еще обзаведется и сам почувствует, что значит бурка. В лес за дровами пойти, на мельницу сходить, на край света, коли надо, отправиться — всюду в бурке пройдешь, и ничего тебе не сделается. Какие только вьюги меня не настигали, но я наголовник нахлобучу поглубже, и плевать я хотел на все вьюги. В деревне все мою бурку знают, да и в соседних деревнях тоже, потому как я и к кузнецу в ней ходил, и на свадьбы, и даже в церковь ходил раз. Так что, можно сказать, все уже мою бурку перевидали, да и одалживать ее случалось. Придет сосед. «Так и так,— говорит,— Лазар, одолжи мне бурку, на маслобойню еду». Может, мне и не слишком приятно, но что делать — одалживал.

Отправился я однажды резать кукурузные листья, совсем рано еще было, до свету. Жена говорит: «Кинь бурку в телегу, утро пасмурное, может, и задождит». Кладу я бурку в телегу и еду в поле; когда приехал — чуть светать начинало. Кукурузные листья надо резать рано и тут же их в снопы вязать, пока роса не сошла,

потому что, как солнце взойдет, они высыхают и делаются ломкими. Распрягаю я буйволов на опушке,— моя полоска рядом с Керкезским лесом,— и слышу: на соседней полосе кто-то кашляет. Два Аистенка меня опередил, тоже приехал кукурузные листья резать. Серп у него так и повизгивает — вжик, вжик. «Эй, сосед! — кричу я ему.— Ты что, в поле, что ль, ночевал?» — «А, это ты,— откликается Два Аистенка,— да я тоже только что распряг. Такой туман, что и не разберешь, рассвело или нет!»

И он снова берется за серп — вжик, вжик.

Я вешаю бурку на боковину, закатываю штаны и принимаюсь по росе резать кукурузу. Туман стелется низко, я вижу только спины своих буйволов, да на соседней полосе нет-нет да покажется шляпенка Двух Аистят. Потом туман подымается, скрывает шляпенку, и долгое время ничего не видно, и кукурузы не видно, а потом вдруг в одном месте туман разойдется, и я вижу даже лес. Еще время проходит, слышу сквозь туман, как Два Аистенка чем-то чиркает — чирк, чирк. Почиркает, да и выругается.

Гляжу — идет ко мне, спрашивает: «Нет у тебя огонька, Лазар? Трут, паскуда, намок от росы». Трут у меня был, Два Аистенка закурил цигарку, подымил немного и опять пошел кукурузу резать. Довольно долго мы так резали, и то я что-нибудь соседу скажу, то он мне, потом я его спрашиваю, не хочет ли он перекусить, а он отвечает, что дома поел. А я проголодался, присел на дышло позавтракать. Еда у меня — одно название, что завтрак, но пожевал кой-чего всухомятку и только взял кувшин, чтоб напиться, из тумана вынырнул человек.

Ни одного глотка не успел я из кувшина сделать.

Человек прижал к губам палец — чтоб я молчал, значит; к поясу у него была граната прицеплена, в руке — карабин. Поверх рубашки безрукавка надета, вся рваная. Когда он подошел ближе, я разглядел, что он совсем еще молодой, парнишка, можно сказать, давно не стриженный, глаза больные, губы потрескались. Я понял, что он из тех, которые скрываются в лесах.

«Дядя,— говорит парнишка,— помалкивай!» И спрашивает, не могу ли я ему дать хлеба, воды, одежу какую. Лихорадка его бьет, дрожит весь, и мне его дрожь передалась, и я дрожу и крещусь. Крещусь я в уме, отдаю ему весь хлеб, брынзу даю, и яйца вареные у меня

были, так и яйца даю, только соли не было, жена забыла соль положить. «Ничего, дядя,— говорит парнишка,— и без соли сойдет!»

«Эй, Лазар,— окликает меня Два Аистенка,— что это ты притих?» — «Да вот незадача,— говорю ему,— серпом порезался».— «Какое место?» — спрашивает, и я скорей отвечаю, что ногу окорябал. «Так и покалечиться недолго, возьмешь да и перережешь жилу какую»,— слышу я голос Двух Аистят. И он снова начинает чиркать огнивом— чирк, чирк. А вдруг у него трут опять намок?.. «Дашь мне закурить, я к тебе сейчас подойду, а то у меня весь табак вышел»,— говорю я Двум Аистятам. Он отвечает, что даст, и я встаю с дышла, чтоб идти к нему, потому что боюсь, как бы он не пришел ко мне. Парнишка прижимает палец к губам, а я киваю ему головой: буду, мол, молчать!

Кукурузные листья хлещут меня по лицу, а я и не чувствую и вкуса табака не ощущаю. Два Аистенка толкует мне о чем-то, а я все смотрю в сторону моей полоски и молю господа бога, чтоб туман не разошелся и Два Аистенка не увидел бы чего не надо. Но туман лежит густой, белый, как молоко, и, как я ни вглядываюсь, я не вижу ни телеги, ни буйволов, ни парнишки. Бреду вслепую назад и вроде бы старался идти по тому же ряду между стеблями кукурузы, но, видно, сбился, потому что вышел к задку телеги.

Парнишка стоял, хоронясь за боковиной, накинув на себя бурку, чтобы согреться, но, несмотря на бурку, его по-прежнему била дрожь. Карабин держал дулом вниз. Как увидел я на нем свою бурку, мне вдвое страшнее стало. Отдать ему бурку — не годится, назад затребовать — тоже не годится. Два Аистенка кашляет в тумане чуть не в пяти шагах от меня, и мне кажется, что вот сейчас туман рассеется и мы с парнишкой откроемся всему свету.

«Беги, парень,— говорю я тихо,— беги вон туда, к Керкезскому лесу!» Парнишка пошел как-то боком и на ходу делает мне знаки руками, и я тоже знаки ему делаю, но я не понимаю, какие он делает знаки, а он — какие я. Знаки я делаю бессмысленные, крещусь в уме и молю бога, чтоб только туман не поднялся и мы не открылись бы вдруг Двум Аистятам.

Парнишка исчез в тумане, бурка моя тоже исчезла. Парнишка, бурка, кувшин и хлеб с брынзой пропали из виду в невидимом Керкезском лесу.

Тогда я перекрестился уже не в уме, а по-настоящему, даже, кажется, два раза перекрестился, взял серп и принялся резать кукурузные листья. Вроде бы и режу, а сам одно ухо наставил в сторону Керкезского леса. И все мне чудится, будто кто-то шепчет в тумане: «Дядя, а дядя!» Перестаю резать, прислушиваюсь, никто меня не зовет, только Два Аистенка шуршит на соседней полосе.

И я снова принимаюсь резать.

«Лазар, а Лазар!» — окликает меня кто-то. Оборачиваюсь — за моей спиной стоит Два Аистенка, по пояс в тумане. «Чего?» — спрашиваю. «Послушай, Лазар, давай, пока туман не поднялся, сходим в Керкезский лес, срубим жердей. Положим их в телегу на низ, сверху кукурузными листьями завалим, никто и не увидит!» — «Что ты,— говорю я Двум Аистятам,— в тумане дерево рубить — на пять километров слышно. Больно далеко в тумане слышно, не знаю почему, но больно далеко!» — «Слышно,— говорит Два Аистенка,— да не видно. А когда не видно — это важней. Я пойду нарублю жердей».

Вскоре слышу — его топор ухает в Керкезском лесу. Только бы, думаю, не наткнулся на парнишку, и все прислушиваюсь, не завопит ли Два Аистенка или карабин не стрельнет ли... Нет, ничего, только топор ухает да вскрикивает и деревца, что он валит, тоже вскрикивают, да в этом тумане разве кто придет на помощь? И как услышал я эти вскрики в тумане, вдруг у меня зазвенело в ушах, будто во мне кто-то вскрикнул: «Лазар, а с буркой-то как же? Твою бурку ведь все знают! А ну скажи, где твоя бурка?»

Так меня и прошибло потом, а во рту пересохло, языком не могу шевельнуть. «А ну-ка скажи, где твоя бурка!..» Два Аистенка идет со своими жердями, бурчит себе под нос: «Гм! Гм!» — и посматривает на меня искоса, точно хочет что-то понять или скрыть что-то хочет. «Ну, срубил жерди?» — спрашиваю я его, а он: «Гм! Гм! Срубил!» И все посматривает на меня искоса. «Больно быстро!» — говорю я ему. «Еще бы не быстро! Ты б на моем месте был, и ты бы быстро нарубил. Гм! Гм!»

Тащит он свои жерди дальше в туман, а я думаю, что, наверно, он встретил парнишку и узнал мою бурку. Спрашивать не хочется, а сам он ничего мне не говорит. Прислушиваюсь я, серп Двух Аистят режет в тумане — вжик, вжик,— но не так шустро, как раньше: видно, он тоже

режет да прислушивается. Порядочно времени так прошло, оба мы на своих полосах режем и прислушиваемся.

Стал я грузить кукурузные листья в телегу. Два Аистенка меня окликает: «Грузишься, Лазар?» — «Гружусь»,— отвечаю. «Что ж не говоришь, вместе б поехали!» И начинает скорей свою телегу нагружать,— видно, боязно ему одному в поле оставаться. Поглядел я — а телеги, что моя, что его, только по боковины нагружены. Двинулись мы в тумане. Два Аистенка нет-нет да и обернется назад, я делаю вид, будто ничего не замечаю, но про себя уже совсем уверился, что он видел в лесу парнишку. Дай-то бог, чтоб он бурку не признал, начинаю я снова креститься в уме.

Когда я сгрузил кукурузные листья, жена спрашивает: «А где ж бурка и кувшин?» — «Эх, да я их, верно, в поле забыл! Как же это я так?» — «Ты б лучше голову забыл!» — запричитала жена. «Ладно тебе,— говорю,— не за горами небось, вернусь — погляжу». Иду я назад в тумане, а чего идти, когда я и так все знаю. Шел я, шел, потом присел в поле у стога сена, взял в рот сухую травинку и задумался. Парнишка, стало быть, побродит по лесам, нарвется на жандармов, те схватят его и проведут по деревне, как он есть, в бурке. Вся деревня увидит, что бурка — моя. Если его проведут по соседней деревне, и там мою бурку узнают, портной первый узнает, он помнит, как полосы подгонял. Как я буду оправдываться, коли спросят, каким образом моя бурка у парнишки оказалась? Сказать, что я ее потерял, а парнишка нашел — никто не поверит. Они бьют и, что им ни скажешь, ничему не верят. Сказать, что парнишка у меня бурку силой отнял, так тут же спросят: «Что же ты сразу не пришел и не сказал? Укрывательством занимаешься!» И опять-таки бить будут.

Посидел я у стога и пошел домой. Жене говорю, что, верно, обронил бурку и кувшин по дороге, а кто-нибудь подобрал. «Ты б лучше голову обронил по дороге! — разоряется жена.— С двух овец шерсти напряла я для этой бурки!» Сказала б она мне другой раз что-нибудь этакое, я б замахнулся, и она б у меня, благо вся ссохлась, на крышу б отлетела, а сейчас знаю, что виноват, отдуваюсь только и молчу. До вечера отдувался, всю ночь проохал, а наутро рассказал жене все как есть. «Ой, беда,— говорит жена,— пропали мы теперь!» И тоже заохала.

Такие вот дела.

Несколько дней прошло, Два Аистенка меня спрашивает: «Слыхал?» — «Про что?» — «Да какая история в Белимеле вышла». Я ни про чего не слыхал, и Два Аистенка рассказал мне, что в Белимел заявились жандармы и поручик пошел в один дом побогаче, где для него угощенье собрали. Заходит в дом и видит, что под кроватью сапог лежит неестественно. «Как это неестественно?» — спрашиваю я у Двух Аистят. «А так что лежит на голенище носком вверх. Раз он так лежит, значит, он на ногу надет и, значит, под кроватью — человек»,— объясняет мне Два Аистенка. И поручик как саданет из автомата— та-та-та по сапогу, а сапог подпрыгнул, и человек из-под кровати: тах-тах! — по поручику. Поручик вылетел в дверь, тот — в окно, поднялась стрельба, да темно уже, видно плохо. Жандармы гонятся за человеком, тот бежит по улице, потом выскочил на открытое место, кусты только какие-то там были, бросился промеж них, да так и повис на одном кусте. Те постреляли, постреляли, человек висит на кусте, больше не шевелится, а как подошли поближе, смотрят, человека-то и нет, одна бурка (услышал я про бурку, и что-то оборвалось у меня внутри) на кусте болтается, в решето превратилась. Человек, когда убегал, кинул свою бурку на куст и сбил жандармов с толку. Поручик от этого дела в ярость пришел, вернулся со всеми жандармами в дом, арестовал хозяина, и той же ночью закопали его в землю живьем, а дом облили керосином и подожгли — за то, что хозяин был связан с партизанами. «Откуда ты это знаешь?» — спрашиваю я Двух Аистят. «От зятя,— говорит он мне,— зять вчера вечером пришел и рассказал всю историю. Тот, закопанный, еще жив, говорит, слышно, как он стонет под землей».

У зятя Двух Аистят передвижной котел для варки сливовицы, он с ним села объезжает, так, когда проезжал через Белимел, узнал про все это. Спросить если у зятя Двух Аистят, какая была та бурка,— нет, нельзя, он усомниться может, с чего это я спрашиваю. Пробую я вспомнить, парнишка мой в сапогах был или без сапог. И не могу вспомнить, хоть ты что! Стараюсь, стараюсь и самое большее вспоминаю его до пояса, как он стоит по пояс в тумане, а с пояса граната свисает. Ниже никак не могу вспомнить, в чем он был. Потом припоминаю, как я его в спину увидел, когда он к лесу шел, но и со спины не видно, в сапогах он или без сапог, потому как перед глазами у меня одна бурка мельтешит, в белую и сивую

полосу. Белые полосы первые пропали в тумане, а за ними и сивые.

Ну ладно, но если это был тот самый парнишка и если в Белимеле на кусте висит моя бурка, в Белимеле наверняка найдется кто-нибудь, кто скажет, чья это одежда. Тогда жандармы загребут меня, а как загребут... Что-то начинает меня глодать изнутри, в голове жар, не могу усидеть на месте. Пойду-ка погляжу, что за бурка в Белимеле. А чтоб никто не догадался, что я из-за бурки, насыпаю я в мешок кукурузы, запрягаю буйволов и через Керкезский лес прямиком на белимелскую мельницу. По дороге встречаются мне двое конных. «Стой! — кричат.— Куда, дядя, с мешком собрался?» — «На мельницу»,— говорю. «До мельницы ли теперь, дядя? — говорят мне конные.— Не видишь разве, что земля под ногами горит!» — «Горит-то горит,— говорю,— но скотина у нас, кормить ее надо, то, другое требуется, без мельницы никак не обойтись». Конные едут дальше своей дорогой, я веду буйволов дальше и все думаю про этот неестественный сапог и удивляюсь, как же это поручик догадался, что сапог лежит под кроватью неестественно. Я б увидел, что лежит сапог носком вверх, ни за что б не сообразил, что он лежит неестественно, а поручик сообразил и тут же — тра-та-та — из автомата. Но и сапог тут же вскочил и тоже начал по поручику палить. Пальба на всю округу, а как поглядишь, никого и не убили, только что бурку продырявили.

Чем ближе я к Белимелу, тем муторней у меня на душе, а перед глазами все этот неестественный сапог торчит, носком вверх. На мельнице помольщиками и не пахнет, мельник отбивает жернов. Вода гудит, но постукиванья коника не слышно. «Не мелешь?» — спрашиваю у мельника. «Что молоть-то,— говорит,—народ оробел, у меня мельницу паутиной затянуло. Никто не едет молоть».

Высыпает он мою кукурузу в ковш, пускает воду, коник начинает стучать, а я все смотрю на Белимел (деревня пониже мельницы). Со стороны Белимела тянет гарью, и я спрашиваю мельника про то дело. Он мне все рассказал, и все вышло точь-в-точь, как мне Два Аистенка рассказывал. А гарью тянет, так это от дома партизанского связного. Мельник сказал, что сам он еще жив и что из-под земли слышно, как он стонет, но, чтоб это услыхать, надо подойти поближе, да не всякий может — дурно становится. Часовые там стоят, охраняют, а народ

старается это место стороной обходить. Я про бурку спросил — бурка, говорит, за церковью выставлена. Если я спущусь в деревню, я ее увижу. «Я, пожалуй, и правда спущусь, табачку куплю»,— говорю я мельнику. А он мне советует не крутить цигарку из газеты, в деревне полно акцизных, как увидят, что кто-нибудь скручивает цигарку из газеты, так тут же штраф. Курить положено табак, обклеенный государственной бандеролью, а за необклеенный штрафуют всех подряд.

Так я и сделал: купил в деревне бандерольных сигарет и пошел к церкви — ни жив ни мертв. Гляжу — там народ толпится, ну и я к народу, хочу побыстрей, а иду еле-еле, ноги к земле приклеиваются, оторвать не могу, все равно как жернова к ним привязаны. Потом в ушах зашумело, ну, думаю, плохо дело. Коли окажется, что бурка моя, не знаю, удержусь ли на ногах, не брякнусь ли там прямо посреди народа. Да, но уж раз пошел, назад тоже не повернешь, вот я и передвигаю ноги и стараюсь на себя бодрый вид напустить, чтоб никто ни в чем меня не заподозрил. Подхожу к толпе, но толпы не вижу, потому что глаза мои высматривают, что там за церковью откроется. Высматриваю, высматриваю и вдруг вижу: на кусте — бурка.

Бурка была вся сивая, потрепанная, одна пола порвана. Жернова свалились у меня с ног, какой-то мужичок рядом со мной курит, я прошу у него прикурить, а он мне говорит: «Да у тебя, дядя, цигарка-то зажженная!» Смотрю, и правда цигарка у меня зажженная и дымится. До того я, значит, был не в себе, что не заметил, как у меня цигарка дымится.

На этот раз пронесло, думаю, и мне понемногу легче делается. По ту сторону церкви на холме часовые стоят — там, где человек живьем закопан, но туда у меня не хватает духу идти, услышать, как он стонет из-под земли. Возвращаюсь я на мельницу, кукуруза моя уже смолота, вскидываю мешок на плечо — перышком он мне показался,— кладу на телегу, запрягаю буйволов и даже насвистываю потихоньку. Мельник смотрит на меня вроде испуганно, но я на него и внимания не обращаю. Мельница, запах гари, часовые — все остается у меня за спиной.

Только бурка стоит перед глазами, но не моя, а та, что на кусте, сивая, потрепанная, с рваной полой. А потом и свою бурку увидел, новехонькую, в сивую и белую полоску. И обе бурки вместе двинулись по дороге. Так

и идем: впереди бурки, за ними буйволы, а я позади всех. На дороге — ни живой души. Обе бурки шли рядом до самого Керкезского леса. Когда же мы вошли в лес, одна бурка свернула в одну сторону, другая — в другую. Моя исчезла среди деревьев, а сивая зацепилась за куст и осталась на нем висеть. Я пырнул буйволов: «А ну, шевелись!» И мы заторопились домой в деревню.

С этого дня я стал обходить села Берковской околии, всякие дела себе придумывал, ходил и расспрашивал, не поймали ли где в лесу человека, не расстреляли ли кого. В одно село привезли на площадь троих убитых, я тут же придумал себе дело в этом селе — отправился к бочару кадушку заказывать — и видел всех троих. Все трое были в одних рубахах. Потом услышал, что в другое село привезли молодого парнишку, и его тоже ходил смотреть, парнишка оказался гимназистом, в старой шинельке и в одних носках. Жандармы, как убьют кого-нибудь, кладут на площади и заставляют народ проходить мимо, опознавать. Народ проходит молча, смотрит, но не опознает. Я тоже прохожу и смотрю, но не для того, чтоб человека опознать, а на тот случай, что вдруг я свою бурку увижу. Еле иду, на сердце камень, но как только бурки не оказывается, так мне сразу легчает. В сущий кошмар превратилось для меня это дело. Чтобы не навлекать на себя подозрений тем, что я все шатаюсь по селам, пришло мне в голову заняться перекупкой коз. Два Аистенка, как узнал, говорит мне: «И я с тобой!» Отправились мы по селам, я куплю в деревне козу за двести, гоню в город и там продаю за двести. Два Аистенка несколько раз со мной ходил, и он так же: купит за двести и продаст в городе за двести. Однажды он и говорит: «Нет, Лазар, больше я этим не занимаюсь! Какая ж тут выгода — купить за двести и продать за двести! Никакого барыша!» — «В торговле всегда так,— говорю ему,— не знаешь, на чем повезет!»

Два Аистенка отстал, а я продолжал перекупать коз. Только узнаю, что куда-то привезли убитого, сразу иду, покупаю козу и с козой прохожу через эту деревню. Когда с козой идешь, никто в тебе не усомнится. Веду я козу, смотрю в ту сторону и, как увижу, что бурки моей нет, тут же ускоряю шаг, да так, что козе приходится бежать за мной. Не одну пару постолов я на этом деле сносил, но когда за шкуру свою дрожишь, тут уж не до постолов!

А однажды, как у меня сердце не разорвалось, и сам не знаю. Перекапываю я огород, слышу, посреди деревни

в барабан бьют, рассыльный кричит что-то, да где ж мне расслышать, что он кричит. Потом смотрю — со стороны деревни идет полевой сторож, выгоняет мужиков одного за другим на улицу и ко мне подходит, с винтовкой в руках. «Лазар,— говорит сторож,— так и так, мол, привезли на площадь человека, каждый должен пройти и посмотреть, не опознает ли он его. Кончай копать и иди!» У меня горло пересохло, обтер я руку об штаны, и пошли мы со сторожем. Он идет немного позади, винтовку держит, и мне мерещится, будто я уже арестованный. А бежать некуда, поле вокруг ровное, голое, разбойник этот тут же меня и пристрелит. И на площадь идти тоже нельзя — если там моя бурка, вся деревня ее знает, люди тут же и скажут: «Это Лазара бурка!» Иду я впереди сторожа, сам все съеживаюсь, вот я уже с букашку величиной, а как вошли в деревню, чую, у меня уж и сердце перестало стучать. На улице народ толпится, среди народа жандармы снуют, мы со сторожем идем прямо к площади, а сердце у меня захолонуло и не бьется. Так и шагаю без сердца, народ расступается, и я вдруг вижу в просвете, что на площади лежит женщина. Сердце у меня забилось так сильно, что подскочило к самому горлу.

Еще как-то раз веду я одну из этих перекупленных коз, а животина попалась упрямая, верещит всю дорогу, упирается, не желает идти. Тяну я за веревку, коза верещит, но все же кое-как двигаемся. Потом коза снова уперлась, оборачиваюсь я, чтоб хлестнуть ее веревкой по морде, и вдруг вижу: вдали на дороге моя бурка, в белую и сивую полосу. Под буркой человек в онучах и шапчонке, низко надвинутой на глаза. Я так сильно дернул за веревку, что коза упала на колени. Я поволок ее, коза верещит что есть мочи, а я тащу что есть мочи и больше не оборачиваюсь, потому как если обернусь, то опять увижу человека в бурке. Коза поверещала, поверещала, потом замолкла и затрусила за мной. И я прибавил шагу, иду, не оборачиваюсь, только прислушиваюсь, как там этот — не догоняет ли.

А он все ближе. Ступает тяжело, потом слышу — прокашлялся, и как услышал я, что он кашляет, еще больше ускорил шаг. Но и он, видно, ускорил, потому что я слышу его шаги за спиной. Дорога входит в лес, а в лесу-то еще страшней. И мало того, что дорога в лес входит, она еще тут большую петлю делает. А там, где эта петля, есть и прямая тропка, тот может пройти по тропке и выйти

мне наперерез. «Побегу»,— думаю и, только дошел до поворота, сразу бегом. Ладно, да слышу я — и тот за мной бежит, топ-топ, а потом как закричит: «Эй, дядя, подожди!» Но я ждать не стал, а только оглянулся через плечо. Он бежит, бурка на бегу развевается. «Погоди, дядя, пойдем вместе,— кричит человек,— а то через этот лес страшно одному идти!»

Оказался мужик из другой деревни. «Больно спешишь»,— говорит он мне. «Спешу, чтоб засветло добраться!» — отвечаю. «А я спешу тебя догнать, как раз, думаю, с этим человеком вместе пойдем, да все никак не догоню...» Жуть как напугал меня тогда этот человек, бурка у него как моя, в полоску, только полосы не так хорошо пригнаны, как у меня, прилажены сикось-накось.

Так и шел день за днем, и жизнь моя из-за этой проклятой бурки стала адом. Провались она в тартарары, эта чертова плевенская овца черноголовая, и кто ее только выдумал! Жили бы мы с прежней скотинкой, от которой по пригоршне шерсти настригали, не шил бы я себе бурки и горя бы не знал! И в этом аду корчился я до самого Девятого сентября. Девятого сентября началась кутерьма, народ сбежался, пальба винтовочная, ну и — ясное дело — куда народ, туда и я; гляжу — на площади незнакомые люди, с карабинами. И среди людей вижу вдруг парнишку в моей бурке, у меня словно свет перед глазами вспыхнул, и я кинулся прямо к нему. «Эй, парень,— кричу,— дай я тебя обниму, дал ведь бог свидеться живыми и здоровыми!» И хватаю я парнишку, обнимаю его вместе с буркой, да так крепко обнимаю, что у него аж кости трещат. И мы стоим на виду у всей деревни, но оттого, что мы на виду у всей деревни, сердце у меня больше не сжимается, а как-то мне все это чудно, и глаза у меня делаются мокрые, точно у бабы. «Дядя, а дядя! — говорит парнишка.— Ликованье ликованьем, но ты уж так ликуешь, что все кости мне переломаешь!»

А я себе ликую, что из того, если я ему какую косточку сломаю! Народ вокруг шумит, все тут же узнали мою бурку, и большое удивление наступило. Два Аистенка знай переступает с ноги на ногу и все повторяет: «Ты смотри, ты смотри-ка! Лазар уж на что несуразный мужик, никто про него такое бы не подумал, а вот поди ж ты — когда еще связь установил! Ну и ну!»

ДОБРИ ЖОТЕВ

КОММУНИСТ

Многих коммунистов случалось мне видеть в минуты тягчайших испытаний. Большинство из них держалось, как принято говорить, геройски — ни житейские невзгоды, ни полицейские застенки, ни виселицы не могли их запугать. Конечно, люди это были разные, у каждого свой характер, культура, духовный облик, и каждый поэтому нес свой крест по-своему. Одни будто стремились, чтоб героизм их был замечен. Их жесты выглядели заученно-театральными, речь напоминала торжественную декламацию, страдания — сцену из античной трагедии. Должно быть, в них было немало тщеславия. Другие не переставали шутить даже перед лицом смерти. Возможно, из опасения, что их серьезность покажется кому-то смешной, они торопились отразить насмешку насмешливостью. Третьи же избегали какого бы то ни было внешнего проявления героизма. Они стеснялись громких слов, неуместной шутки, выставленного напоказ страдания. Казалось, они родились на свет для того, чтобы иметь одни обязанности и никаких прав.

Многие в свои последние минуты пели. И песни тоже были разные. Иногда напоминали подавленный стон, иногда звучало в них преодоленное страдание, последняя попытка проявить героизм и граничащий с безумием гнев... Не раз довелось мне слышать предсмертные песни, и всегда они действовали на меня гнетуще. Я не мог примириться с этим нечеловеческим усилием совершить нечто сверхъестественное ради того, чтобы выглядеть Человеком...

Да, многих коммунистов встречал я и многих помню, но один из них особенно ярко врезался в мою память. Впервые увидал я его в полицейском участке. Немолодой, вдвое старше меня крестьянин, невысокий, с впалыми щеками, в коричневых штанах и рубахе из домотканой

шерсти, он сразу приковал к себе мое внимание. Видимо, никаких показаний на допросе от него не добились: когда меня ввели в кабинет следователя, крестьянин молчал — да так, что все вокруг, включая полицейских, стали как бы олицетворенным молчанием. О, как молчал этот человек! В подобных случаях на лицах арестованных чаще всего написана решимость ничего не говорить. Они смотрят на допрашивающих упрямо либо с дерзким вызовом. Сомкнутые губы распаляют в палачах ярость, стремление любой ценой вырвать показания. Этот молчал совсем иначе. То было молчание простое, естественное. Глаза спокойно смотрели куда-то сквозь полицейских и словно пытались различить дали, которых так нелегко достичь. На лице — ни тени напряженности. Старик-коммунист хранил молчание не оттого, что сознавал необходимость молчать,— совершенно так же, как дышал он вовсе не оттого, что сознавал необходимость дышать. Самый облик его сказал мне яснее, чем любые слова: «Что поделаешь — угодили мы в полицию. Ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы не угодили. Нас будут истязать. Что поделаешь? Мы не в храме божьем. Будем молчать. А как же — здесь для молчания самое подходящее место. Очень возможно, что ты не выдержишь, заговоришь. Тоже ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы все выдерживали. Ты думаешь сейчас о том, что если кого-нибудь выдашь, твои товарищи назовут тебя предателем. Конечно, назовут, ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы назвали тебя не предателем, а просто слабым человеком. Так уж у нас, у людей, заведено. А может, и выдержишь — у молодых нервы крепкие. Тогда тебя назовут героем. Ты будешь гордиться этим. Ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы не гордился».

Безмолвная эта речь была прервана полицейскими. Они надумали истязать старика при мне, чтобы я увидал, что меня ждет, если я проявлю безрассудство и буду молчать так же, как он. Ему велели разуться. Он разулся, причем совершенно так же, как разулся бы у себя дома, ложась спать,— ни быстро, ни медленно. Ступни у него были в земле — его забрали прямо с поля. Он скинул постолы, потом, не дожидаясь приказа,— он знал, что такой приказ последует,— стянул с себя носки. Ему велели вытянуть вперед руки. Он вытянул — совсем так же, как сделал бы это дома, утром, чтобы сноха слила ему воды

помыться. Ему скрутили кисти, заставили согнуться так, чтобы колени оказались в обруче связанных рук, между локтями и коленями просунули палку. Потом опрокинули его на спину. Он был теперь вроде шара, босые ступни будто нарочно подставлены ударам. Пытка началась. Крестьянин не издал ни крика, ни стона. С десяток полицейских сменяли друг друга — уставал один, толстый резиновый кабель переходил к другому. Лоб истязаемого покрылся испариной. В конце концов его молчание обескуражило палачей. Его развязали. Обессиленный, он попытался встать, но тут же рухнул на табурет. Принесли таз с холодной водой. Приказали ему опустить туда ноги. Он исполнил приказ с таким видом, будто и сам собирался сделать то же самое. Ноги очень скоро раздуло, они стали как колоды. Один из полицейских бросил с издевкой:

— Молчишь, а? Не охнул даже. Но сейчас мы за тебя опять примемся, и ты заговоришь, как миленький. Удар по отекшим ногам — дело верное.

Старик-коммунист посмотрел ему в глаза,— мол, охну или не охну, разве это имеет значение?

Его опять связали. После первого удара по босым, отекшим ступням он охнул. После второго потерял сознание. Мне почудилось, будто откуда-то из небытия обратилось ко мне его молчание: «Да, я охнул, ничего удивительного, удивительней было бы, кабы я не издал ни звука».

Во второй раз я увидал этого старика-коммуниста уже на суде. Председатель монотонно задавал обычные вопросы:

— Женат? Не женат? Под судом был? Не был?

Только тут услыхал я его голос:

— Там все написано!

На вопрос о том, в чем состояла его деятельность, он ответил молчанием. Глаза его невозмутимо спокойно смотрели сквозь судей. Мне показалось, что на этот раз они различили те дали, которых так нелегко достичь.

Его спросили, признает ли он себя виновным. Вопрос повис в тишине — бессмысленный и бессильный. Объявили приговор: смерть через повешение. Какая-то девушка в публике бросилась к осужденному, обняла, зарыдала.

Он молча гладил ее по голове. И вновь заговорило его молчание: «Что ж, поплачь, коли плачется! Со слезами вместе утечет и частица горя. Люди, которые никогда не

плачут, они не совсем люди. Меня приговорили к смерти. Ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы не приговорили! Мне тоже нестерпимо тяжко. Ничего удивительного. Удивительней было бы, кабы мне не было тяжко!»

Приговор был приведен в исполнение примерно через месяц после суда, за несколько дней до Первого мая. В последние свои минуты старый коммунист не призывал отомстить за него, ничего не завещал, не запел.

Этот человек прошел через полицию и суд, через всех нас, через жизнь и смерть как некое говорящее молчание и унес с собой тайну, которую мне, как я ни бьюсь, никогда не разгадать до конца.

Не хочу называть его имя,—мало ли одинаковых имен? Имена повторяются, а этот человек неповторим!

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ

ОДНА НОЧЬ, ОДИН ДЕНЬ

Низкое, тяжелое небо, как огромный пресс, сжимало влажную тьму. Хотя Камен знал эти места с детства, он едва не наткнулся на шлагбаум у переезда. Тронул локтем товарища по патрулю, и они бесшумно вернулись к отряду.

Колонна двигалась за ними в нескольких шагах.

— Товарищ комиссар, пришли. Село за полотном.

Слышно было, как партизаны, подходя, наталкивались на тех, кто уже остановился, и приглушенно чертыхались.

Комиссар шепотом отдал бойцам последние приказания и положил Камену руку на плечо.

— Ты, Райчо и Пешо останетесь здесь, в боевом охранении. Глядите в оба... хотя что толку глядеть в этой темнотище — держите ухо востро!

Это было так неожиданно, что Камен охнул. По лицу его комиссар не видел, как он ошарашен, но уловил тревогу в голосе бойца.

— Что? В штурмовую группу хочешь? Еще бы...

— Я ведь знаю село...

— Зато и село тебя знает. Чем позже там станет известно, кто ты теперь, тем лучше: мы всюду можем тебя послать — солдат, с увольнительной... А план села ты нам нарисовал — справимся!

Сказать комиссару правду?.. Нет — если так, наспех, кто знает, как он его поймет. Больно он скор на выводы, комиссар... А вдруг что-нибудь случится? И Камен пробормотал:

— Товарищ комиссар... у нас староста... неплохой человек. Только вот упрямый...

— Что это ты вспомнил про старосту? Коли он староста, лучше уж его не хвали...

— Так-то оно так... но люди ведь разные...

— Ладно, ладно. Лишь бы вел себя по-человечески...

Тридцать партизан один за другим утонули в темноте, их мягкие шаги затихли, а Камен все еще смотрел им вслед.

— Ну что, так и будем здесь торчать? Командуй — тебя командиром поставили.

Райчо партизанил уже давно, и ему стало обидно, что командовать им будет новичок.

«А ты завидуешь?» — хотел было огрызнуться Камен, но куда более важные мысли занимали его в эту минуту. Он приказал товарищам патрулировать вдоль полотна в обе стороны от переезда на сотню шагов, а сам пошел по дороге. Сейчас лучше всего побыть одному.

Шумливая тишина дышала невидимой, но напряженной жизнью. Воздух был насыщен терпким запахом влажной земли и прелых трав. Речушка, вздувшаяся от снеговых вод, звонко журчала, и ее болтовня доносилась, как неясный человеческий говор. Что-то неуловимо весеннее оживляло ночь — еще не сама весна, а ее предчувствие.

Напряжение,— Камен чутко вслушивался в каждый звук,— не мешало его мыслям. «Надо было мне раньше сказать. Но я думал — в селе, при случае... А теперь нá тебе».

Камен повернул к переезду.

— Все спокойно! — услышал он голоса товарищей, и они снова разошлись.

«Спокойно... вам-то спокойно... А мне каково? Эх, был бы здесь Венко, не пришлось бы ничего объяснять...»

Венко, его товарищ, командир одного из батальонов, ушел накануне в сторону Искыра вместе с остальными партизанами из их села. Камен застал только тот батальон, который стоял лагерем на склоне Мургаша. Его приняли в отряд, поверив на слово,— он знал пароль и сказал, что это Венко передал ему указание уйти в горы. Но, оказавшись один среди незнакомых людей, в чьих душах накопилось столько праведной ненависти к врагу, Камен побоялся признаться: сын старосты...

Собачий лай вернул его к действительности. «Учуяли. Хоть бы удалось... А старик... Только б его не тронули! Случись с ним что-нибудь, я себе не прощу... Но он и сам виноват. «Я всю жизнь был честным человеком, ты меня опозорил!» Это я его опозорил! И чем? Тем, что решил

уйти в партизаны! А старостой быть — не позор? В конце концов, что посеешь...»

Но тревога Камена росла, он ускорял шаг и поворачивал у переезда, не дожидаясь товарищей.

Село было занято неожиданно легко. Полицейский в общине, услышав: «Жандармерия!» — открыл партизанам дверь, сонный, не успев подпоясаться. Он ждал нагоняя за то, что не стоит на посту, но партизаны ехидно поблагодарили его, и от этой любезности у него глаза полезли на лоб. Лесного объездчика и полевого сторожа взяли в постели. «Общественная сила»[1] предпочла не рисковать собой в темноте этой неверной ночи.

Штурмовая группа остановилась у здания общины в полной боевой готовности.

Комиссар приказал нескольким бойцам набить вещевые мешки продуктами из кооперативной лавки, других разослал по двое с наказом раздобыть хлеба и созвать крестьян на собрание, а сам с двумя партизанами в солдатских гимнастерках отправился к дому старосты.

Домик был маленький, с деревянными ставнями на окнах и крепкой дубовой дверью. Партизаны постучали, прислушались — не раздастся ли скрип кровати или шлепанье босых ног. Тишина. Снова постучали.

— Господин староста, капитан тебя требует. Чтоб сказали, куда, мол, роту размещать.— Комиссар хотел сойти за простоватого жандарма.

Ни звука...

Прижавшись к стене, староста изо всех сил сдерживал дыхание. Тревожные мысли не дали ему этой ночью сомкнуть глаз, а с той минуты, как яростный собачий лай поднял его с постели, он ходил и курил, курил и думал. Услышав шаги, он застыл у окна. В темноте сквозь дырку в ставне все равно ничего не было видно, но тут он лучше слышал.

Что это еще за жандармы посреди ночи? Ведь уже и дома́ партизанские сожгли, и людей повысылали, и отобрали у кого что было. А может, они уже знают о Камене?..

И снова стук в дверь:

---

[1] «Общественная сила» — созданное в 1943 г. объединение реакционных сил, которое фашистские правители безуспешно пытались сделать массовой организацией.

— Эй, господин староста, просыпайся, ждет ить капитан. Злой— лучше не связываться...

Этот голос не прервал его мыслей, словно не к нему относился... Наверное, знают. Телеграмма из части пришла сегодня, значит, и в полицию уже сообщили... Нет, пусть приходят утром. На свету другое дело... А дом подожгут? Может, и бить будут. Особенно если те приехали, агенты... Глазом не моргнули — забили до смерти и Сандо, и Латина, и деда Станко. Нет, все-таки я староста... Ох, этот Камен! Болгарию спасать вздумал! Я небось побольше добра людям сделал... А позор? Камен — дезертир! Ведь не из полиции — из армии сбежал.

Комиссар за дверью недоумевал: «Отчего он не открывает? Или пароль у них? Верно, дома его нет...» И решил действовать открыто — терять было нечего.

— Слушай, староста, мы не жандармы. Мы партизаны. Открой, а то хуже будет. Нам только ключ от секретного архива нужен.

Староста едва не вскрикнул. Окрестные села полны жандармов, и вдруг — партизаны!.. Нет, наверное, это те, в штатском. Испытывают его... Ну-ну, старый Рангел тоже не лыком шит...

— Товарищ комиссар, и что мы его уламываем? — послышался нетерпеливый мальчишеский голос.— Подпалим дом,— как крыса, выскочит.

— Мы что, по-твоему, жандармы? — строго возразил комиссар.— Не к лицу тебе эти разговорчики!

— А они нас жалеют?

— Не в жалости дело. И кто — они? Ты его знаешь? Камен сказал, что староста хороший человек... Черт его знает, может, правда, дома нет... Пошли!

От досады — столько времени потеряли! — комиссар упустил из виду, что многие новые партизаны сохранили свои настоящие имена. Староста прислонился головой к стене, схватился за сердце. Сердца не было, его место заняла болезненная пустота. Когда шаги на улице затихли, Рангел вытащил синий шершавый платок, долго им утирался. Потом, пошатываясь, добрался до кувшина. Лицо было мокрое, а губы — пересохшие, потрескавшиеся. Он пил жадно, словно давно не видел воды. Напившись, закурил, присел на кровать. Пряча цигарку в горсти, глубоко затягивался, но табак казался ему слабым.

«Камен сказал, что староста — хороший человек...» Радость пришла так внезапно, что Рангел не сразу с ней

освоился. А как они с Каменом сцепились, когда тот уходил. «Ты мне больше не сын!» — «И ты мне не отец!» Камен был младшенький. Староста, суровый крестьянин, и себе не признавался, что любит его больше других детей, считал это несправедливым, но сердцу разве прикажешь?.. А вдруг Камен с ними? В общине?.. Рангел ощупью нашел башмаки, сунул в них ноги. Накинул полушубок, надел кепку. Что еще? А, хлеб. И немножко брынзы, сала.

Приготовил все и... сел. Кто тебе сказал, что Камен с ними? Будь он в селе, пришел бы домой. Должен был прийти! И та самая гордость, которая мешала ему понять правду сына, снова заговорила в нем... Почему Камен не пришел? Или хочет, чтобы я пошел, поклонился в ножки? Ну, нет!.. Или он не верит отцу? «Ты староста,— все, бывало, толковал Камен,— староста, пойми. Кто поверит, что ты честный?» (И опять же из гордости он не признавался сыну, что, когда в соседних селах начались грабежи и насилия, он хотел уйти, но его подвели под гражданскую мобилизацию. Видно, среди тех, образованных, не нашлось охотников забираться в эту дыру[1]. «Вот ведь эти люди поверили, ничего мне не сделали». Ему показалось странным, что он назвал их «эти люди», хотя он и раньше никогда не хулил партизан. Просто далеки они ему были, да и не понимал он — как это можно поднимать на государство руку. Но парни, которые ушли из села в горы, были хорошие ребята — что правда, то правда. И эти — «мы ведь не жандармы». Гордость у них есть. Что им стоило поджечь дом... Интересно бы на них взглянуть, поговорить с ними. Но разве мог он отдать ключи?..

Три удара сельского колокола — и снова залились собаки. Уж не уходят ли?

Он выкурил еще одну цигарку и взял узелок.

Небо очистилось, крупные звезды блестели, словно умытые, и староста жался к домам, чтоб его не заметил недобрый глаз, прислушивался, потом снова шел дальше.

На площади было тревожно тихо.

---

[1] Одним из мероприятий, направленных на фашизацию государственного аппарата Болгарии, была проводившаяся тогдашними правителями, под предлогом повышения «образовательного ценза» местных властей, замена сельских старост присланными из города «надежными» людьми.

Он наступил на что-то мягкое, нагнулся. А, понятно, это они всюду делают,— сожгли реквизиционные списки, налоговые книги...

В его комнате все было разбросано, и он испытал невольное раздражение. Беспорядка Рангел не любил! Он чиркнул спичкой. Сейф закрыт, но секретный архив они взяли. Деньги лежат на месте, а сверху записка: «Как мы поняли, эта сумма предназначена для расчета за продукты, реквизированные у крестьян. Немедленно выплатить им все. *Политкомиссар Войнов»*. Смотри-ка, даже приказывают! И со списком — кому сколько получать — не дали маху, не сожгли.

Партизаны сделали свое дело и без него. «Сборщик налогов им помог, у него запасный ключ».

Староста прошел в комнату писаря, сторожей с безотчетной надеждой найти ответ на вопрос — был ли здесь Камен?

На улице у него под ногой зашуршала какая-то бумажка. Он поднял ее, прикрыл полой полушубка. «Дорогие товарищи крестьяне, сегодня боевой праздник труда...» Спичка догорала, и он взглянул вниз, на подпись: «Штаб первого батальона бригады «Чавдар». Он сунул листовку в карман, огляделся. Вот оно что — Первое мая сегодня... да, уже сегодня, ведь скоро рассвет... Взгляд его остановился на крыше общины: над трубой легкий ветерок колыхал два перекрещенных флага. Один — трехцветный: ясно видна верхняя белая полоса, другой — темный, верно, это их, красный. Мелькнула мысль — надо бы их снять, но он не сдвинулся с места. Карабкаться в его годы... Да и не в годах дело. Значит, и национальный они тоже вывесили...

А площадь была все так же пустынна, тревожно тиха. Пусто, тревожно было и у него на душе. Вверху темнели горы, туда шел отряд, в котором был Камен. Далеко внизу мерцали огоньки Богрова,— там был штаб тех, других, которые завтра спросят с него за все. А он был один среди этой необъятной ночи, один в примолкшем селе, один под высокими холодными звездами. Куда податься? В горы? Они, верно, не успели далеко уйти. Рангел ясно сознавал, что уйти с ними он не может. Но если б он хоть повидал их!

В руках староста держал узелок — никому не нужный...

В ту ночь партизанам предстоял далекий путь, и, когда колонна вышла из села, комиссар устроил привал, чтобы люди подкрепились. Бойцы сразу возбужденно загудели.

Камен запихивал в рот большие куски — два дня в желудке посасывало,— но еда не была ему сладка: отцовского-то пая в этом хлебе не было!

Еще у переезда, только товарищи подошли, Мишо кольнул его:

— Хороший, говоришь, у вас староста, да? Это мы хорошие — не подожгли его... Или дураки...

Значит, ничего плохого не случилось! Отец жив... Но радость длилась только миг. Ничего плохого? Заперся, как... А тем бы открыл!

Тайна мешала ему сблизиться с людьми, которые делились с ним куском хлеба, и потому в разговорах товарищей он слышал обвинение себе.

— Шопы [1] они и есть шопы! Прав был Захарий Стоянов [2] — пятьсот лет им еще нужно, чтоб проснуться! — философствовал Ицка, партизан со стажем.

— Чем это шопы так перед тобой провинились? — подал голос кто-то из товарищей, верно, родом из ближних сел.

— Чем? Ты знаешь, как нас под Пирдопом встречали? Все село на площадь высыпало. Тут тебе и «ура», и цветы, и объятия. До того приятно — слеза прошибает... А здесь — собрания и того не проведешь...

После этой операции новичкам действительно трудно было убеждать Ицку, да и неловко им было спорить с опытным бойцом, но возражения все же посыпались:

— А кто дал тебе хлеб, который ты сейчас ешь?

— Слушай, Ицка, а позавчера под Мургашем? Человек двести вышло сразу, и все шопы...

— И как ты не понимаешь, друг,— люди в себя прийти не могут — высылают их, избивают, жгут. Некоторые не верили, что мы партизаны...

Но Ицку тоже не так легко сбить.

— Ну, ладно, ладно. Все вы здесь шопы, вот друг друга и защищаете... А когда они поняли, кто мы, тогда почему не вышли?

---

[1] Шопы — коренное население некоторых западных областей Болгарии.

[2] Захарий Стоянов (1851—1889) — болгарский писатель, автор известных воспоминаний о борьбе против турецкого ига.

— Сколько вышло, и то много. Ты, брат, винтовочку за спину — и айда в чащу, за дубочки! А им Кочо Стоянов[1] покажет завтра, где раки зимуют...

Комиссар увидел, что ему пора вмешаться.

— Тихо, вы не в лагере! И что ты болтаешь, Ицка? Подумай сам: только жандармы убрались из села, мы — тут как тут. А Дочо Христов хвастался, что нас истребили. Завтра взбесится — вон в какую лужу сел! И почему нам это удалось? Помощникам нашим спасибо, сразу нам сообщили. Помощники — шопы... Ясно? Пусть ты партизан, и хороший партизан, а перед народом нос не задирай!

Ицка прикусил язык, бойцы перешептывались одобрительно. А Камену и стыдно и горько: не защитил села, своего родного села. И все из-за отца...

Староста уснул только на рассвете, и когда услышал: «Капитан тебя требует»,— солнце поднялось уже высоко, а ему казалось, будто он только что лег. Он потер глаза, но кошмар не исчез: у дома стояли унтер-офицер и два жандарма. Стояли молча. Винтовки — с примкнутыми штыками.

Повели его как арестанта.

По площади сновали солдаты и полицейские. Крестьяне в ближайших проулках, увидев старосту меж торчащих штыков, переглядывались. Но невинно-лукавое выражение не могло сразу исчезнуть с их физиономий,— не каждый ведь день такое увидишь: пятеро храбрецов, расставив руки, переступали по мокрой крыше общины, словно танцуя обрядовый танец вокруг проклятых флагов, которые полоскались в воздухе, сверкая утренней чистотой красок. Жандармы боялись какой-нибудь партизанской ловушки. Наконец, подбодренные руганью самого капитана, они уцепились за трубу и яростно сбросили флаги в грязь.

В комнате старосты сидели повесив головы местный полицейский, сборщик налогов, лесной объездчик, двое полевых сторожей. Партизаны заперли их в подвале, посоветовав «не рыпаться» до утра, и теперь они раскаивались, что вняли совету. Это чуть успокоило старосту,— значит, ночью они его не видели... Но у них было какое-

---

[1] Кочо Стоянов — генерал болгарской царской армии.

то оправдание — они не могли ни о чем сообщить, а он?.. В углу кладовщик из кооперативной лавки прикладывал мокрый платок к лилово-синему кровоподтеку под глазом,— он по наивности сказал, что партизаны ему за все заплатили.

Два желто-зеленых армейских «штайера» угрожающе взвыли и вдруг затихли посреди площади. Из машины вышел пожилой генерал, за ним, в полном безмолвии, несколько офицеров. Они возвращались, проехав часть пути с подразделениями, направленными на преследование партизан.

— Дайте мне сюда старосту...— процедил генерал, ни к кому не обращаясь.

Адъютант козырнул и кинулся выполнять приказание.

Генерал медленно прохаживался по площади — пять шагов вперед, пять назад. Надо собственным хладнокровием поднимать дух у подчиненных, да, но попробуй выдержи такое! Поголовное бегство в лес. Удар за ударом. Только за два дня — Саранци, Негушево, Долни Камарци... А теперь здесь! И какое коварство — именно первого мая!.. Генерал чувствовал себя уязвленным: он лично руководил блокадой, он сам составил план, он знал от нескольких сбежавших трусов, где формировалась партизанская бригада. Но он опоздал и теперь находился в идиотском положении человека, который стоит с повязкой на глазах и бессмысленно, никого не задевая, размахивает в воздухе руками, а его то и дело огревают по затылку. Ведь в его распоряжении армия, жандармерия, полиция, «контрчетники», «общественная сила». Но человеку свойственно сваливать вину на других, и генерал с негодованием думал об «этом типе» (министре внутренних дел), который раззвонил в газетах, что партизаны на Мургаше уничтожены. У генерала было прочное положение, и он мог позволить себе некоторые вольности... в мыслях. «Тупица. Трепло. Кого он обманет? Немцев — чтоб подержали его еще немного? Сегодня же вся София, вся Болгария будет знать...» Генерал, быть может, преувеличивал, но не слишком. Утром из села в Софию отправилось бог знает сколько рабочих и эвакуированных. Он задержал бы поезд, он изолировал бы село, как чумное, но... Чтобы за целую ночь ему не сообщили! Это не власти, а сброд. На одну ночь остались без военных и наложили в штаны. Чтоб во всем селе не нашлось ни одного смельчака, ни одного патриота, который прибежал бы

в Богров! Зараза проникла повсюду, надо вырывать ее с корнем!..

Он остановился. Вели главного виновника.

Староста, увидев генерала, приободрился: «Хорошо, что он, а не те выродки». Он слышал, что и перед генералом все дрожат, но все-таки — человек пожилой, ответственный, высшую власть представляет...

Генерал курил, не снимая кожаных перчаток, слегка постукивая ногой по земле. Время от времени болезненный тик передергивал его пепельно-желтое лицо.

— Н-ну-с, господин староста?..

— Слушаюсь, гос-син генерал! — Староста снял кепку, сдвинул пятки.

— Слушать потом будешь...— прошипел генерал.— Сейчас отвечай. Почему вы не оказали разбойникам сопротивления?

— Но как, гос-син генерал? С одним полицейским и двумя полевыми сторожами? Да и... их заперли...

— Так...— Генерал яростно растер сапогом окурок, шагнул вперед.— А ты-то, староста, кто — чучело ты или представитель власти? Почему ты не поднял «общественную силу», болгарских патриотов? Почему сам не дал им отпор?..

Вчерашнее — те незнакомые люди, «он хороший человек» — казалось сейчас прекрасным, как сон... и, как сон, далеким. А эта сила — реальная, враждебная — стягивала вокруг него свой обруч. Но о Камене они, наверное, не знали, и Рангел попробовал выпутаться.

— Как начались... эти дела, — он вовремя проглотил более точное слово,— никакая я не власть. Любой жандарм выше меня...

— Молчать! Молчать... убью... На армию клеветать...

И чтобы не изменить своему принципу,— хладнокровие! — генерал снова зашагал взад и вперед. Только бросил коротко, зло:

— Почему не сообщил?

Староста ждал этого вопроса и все-таки не был готов — сказал первое попавшееся:

— Телефонный провод люди эти перерезали...

Генерал на мгновение уставился на него, потом подался вперед и, не снимая перчаток, размахнулся одной, потом другой рукой. В плотной тишине пощечины отдались глухим, тупым звуком.

Староста стоял, словно врос в землю, коренастый, седой, с лицом, потемневшим от солнца и ветров шести десятилетий. Рубец от шрапнели, который пересекал его левую бровь и уродовал нос, сейчас налился кровью и вздергивал губу в гримасе лютой обиды и отвращения. Одеревеневшее от старой раны плечо торчало выше другого, и он весь словно ощетинился, однако по-прежнему был полон достоинства. Генерал невольно отвел взгляд от его глаз, налившихся влагой и ненавистью. Генерал считал себя солдатом, и ему на минуту стало неловко, что он ударил старого фронтовика.

— Господин генерал, я... я две войны... Никто не поднимал руки...— Он задыхался, гнев захлестывал слова.— Я... не прощу...

Генерал почувствовал облегчение — было за что ухватиться. Махнул рукой, чтобы разогнали крестьян («досадно, видели!»), и снова стал перед старостой, сгорбленный, заложив руки за спину, упершись затылком в воротник шинели.

— Не простишь, а? «Лю-ди»! Ты... разбойников людьми называешь? Бандитов?

Староста молчал. Полоснувшие его удары раскрыли ему многое, чего он не понимал, во что не хотел верить. Стоило ли сердиться на капитанишек, на агентов? Он считал, что они превышают власть, что отсюда все зло. Нет, их так учат! Этот вот, с лошадиной головой. Он и есть власть. Он и есть государство. И армия, о которой ты все толковал... Бьет в перчатках, брезгует, чистюля...

Вдруг появился сборщик налогов. Низкорослый, плюгавенький, он притронулся пальцами к засаленной кепке и комично вытянулся, распираемый не нашедшим себе применения усердием нестроевого:

— Г-син генерал, разрешите доложить!

Генерал посмотрел на него с отвращением: «Этот еще откуда взялся?» Он не выносил хилых людей, может быть, потому, что сам не отличался богатырским телосложением. Сборщик скоро не выдержал воинственной позы и принял свой обычный вид — заговорщически поманил начальство пальцем и противно подмигнул двумя глазами сразу:

— Можно... в сторонку... конфиденциально?

Нет, человечишка не был наивен. Он знал — генерал простит ему фамильярность. Накануне он прочел — незаметно для старосты — телеграмму о дезертирстве Камена.

Чего ради ему всю жизнь торчать в сборщиках, если есть шанс сделаться старостой?.. Генерал повернулся кругом и пошел на свою жертву шагом победителя. Да, и до этого он держался громовержцем, но тайное сомнение грызло его: «Если уж и старосты таковы, государство погибло». Это было слишком сложно для него и слишком страшно. А теперь все снова просто: староста говорит так не потому, что он прав, а потому, что виноват...

— А-а-а, скры-ва-ешь, скры-ваешь? — шипел генерал и, схватив седовласого старосту за подбородок, свирепо встряхивал его голову.— Сын у него бандит, дезертир, а он... предатель! — Генерал искал слово покрепче, по-убийственнее и, найдя, сам обрадовался: — И-у-да-предатель... И-у-да проклятый... — Он отряхнул одна о другую перчатки и кивнул офицерам: — Дом, его дом, немедленно! И расстрелять!

Наконец он успокоился и пошел к машинам.

— Хоть пожитки вынести. Все-таки добро, чего ему гореть! — вдруг заговорил староста.

Генерал застыл на месте — эти слова показались ему неслыханной насмешкой.

— Да ты что, идиот?! На тот свет без пожитков легче доберешься!

Только теперь все происшедшее дошло до Рангела. И он, не раздумывая, шагнул вперед.

— Как, без суда?

Это была не просьба, а обвинение. Генерал почувствовал это, с явным удовольствием вернулся, уперся кулаками в бока и, покачиваясь на носках, задекламировал:

— Я — суд. Я — закон. Ни апелляций, ни помилованья. Ну?

Староста стоял, расставив ноги, откинув голову, словно оберегая себя от какого-то зловония, и выглядел куда выше и сильнее генерала. По крайней мере, так казалось ему самому. Лицо его было неподвижно, и даже рубец побледнел, став такого же цвета, как щеки. Только пальцы слегка вздрагивали, он сжал их в кулак, вытянул руки вдоль тела, по-солдатски. Он смотрел поверх голов, на горы... Как это так — расстрелять? За что? По какому праву? Лиха беда начало, этак он всю Болгарию перестреляет... Его тешила смутная надежда, что это будет не сейчас, что, может, этого никогда не будет, но двое жандармов стояли рядом, и над их головами торчали штыки... Не может быть! Ходишь по земле, живой-здоровый,

и вдруг — конец? И так вот — ни за что ни про что?! Но эти двое со штыками ждут. Просить пощады? Или хотя бы суда?.. Хм, он был старостой и ничего не сумел выпросить для тех троих, ни в чем не повинных, у капитанишки не сумел, так где уж у этого... «Ни апелляций, ни помилованья...» Зачем унижаться...

Генерал уже давно покачивался на носках, ожидая, вероятно, именно этого развлечения, но староста не шевельнулся, только перевел взгляд и посмотрел генералу в глаза:

— Гадина...

Генерал вздрогнул, перестал покачиваться, лицо перекосила злая гримаса, но он сделал над собой усилие и засмеялся. Потом резко повернулся к машинам.

Старосте показалось, что он бежит...

Он шел по селу, в котором прожил всю жизнь, по которому проходил сейчас в последний раз, и прощался... Старуха померла. Вовремя — хоть не видит его теперь. Если назначена где-то встреча, они свидятся... Гаце и Милена в Софии, ничего не знают. Оно и лучше, каково бы им было прощаться с живым... Только Камен близко. Вот с Каменом непременно надо проститься...

Но никого не было. Страшно умирать, когда вокруг никого нет... Людей, что ли, не осталось в этом селе?..

Из-за гнилого плетня выглянули дедушка Стамен и его сноха. Неожиданно для себя Рангел крикнул:

— Прощайте, люди. Конец мой пришел...

Сноха Стамена подняла руку к глазам и застыла. Стамен держал в одной руке топор, в другой — чеку, которую только что вытесывал. Они смотрели на старосту и ничего не понимали,— он ли ведет жандармов, они ли его тащат?

— Прощайте... говорю. Если увидите Камена, поклон ему! Так и скажите...

Он отвернулся, здоровое плечо его дрогнуло. Услышал только:

— Прощай, Рангел. Да постой... как же так...

У жандармов не было приказа — не давать арестанту говорить,— но на всякий случай они подтолкнули его. Все едино, больше ему и не требуется. Несколько тяжелых, застрявших в горле комков, несколько трудных слезинок, вытертых прежде, чем они провели борозды по

лицу, — этого достаточно, чтобы принести облегчение мужчине, идущему на смерть... Хорошие люди попались. Племянник у Стамена там, в горах... Они всё поймут...

За селом, у навозных ям, его остановили. Неужели здесь конец? На свалке?! Постой-ка, как это говорил Камен... «на свалку истории». «Только бы громкие слова болтать!» — ответил он тогда сыну. А теперь... Вот тебе и история, у навозных ям.

— Послушайте,— он не знал, как их назвать,— а нельзя подальше, на полянке...

— Здесь приказано! — виновато отозвался один, небольшого росточка.

Рангел в первый раз взглянул на них. Может быть, и в них есть что-то человеческое? И внезапно содрогнулся от страшной мысли: ведь и Камен мог... По приказу...

— А тебе не все равно, где ноги протянуть? — подал голос другой.

— Знаешь, как в песне: «Рубашку наденьте чистую...»

— Ты что ж думаешь, ты комита? — смерил его жандарм насмешливым взглядом.

Это была последняя обида, которую можно было нанести Рангелу. Но она его уже не тронула.

Снова вмешался первый, маленький:

— Ну, коли он просит... Только гляди, не пробуй сбежать, ты...

Солнце пригревало ласково, усыпляюще. Снежный Мургаш то сверкал, как стеклянный, то гас под тенью случайного облачка. Лес, ржавый наверху, у подножья горы оживал. Луга и озимые мягко зеленели. Могучее дыхание пробудившейся земли било в нос, вливалось в тело.

В этой земле он копался всю жизнь, а теперь ляжет в нее. Она знает его, она примет его, как родного, как труженика. Какой он староста! Если и согласился когда-то, так потому, что думал — добро будет делать. И делал. Люди помнят... Он верил — если все будут честные, будет и справедливость. Но он ошибался... Прав, видно, был Камен. А ты не вышел вчера. Хоть бы руку ему пожал...

Когда подошли к месту, Рангел был готов. Снял полушубок, остался в потертом пиджачке домашнего сукна, в выпачканных грязью штанах, в резиновых опорках. Одно только тяжело — он умрет молча. Он слышал рассказы о том, как умирают пленные партизаны: поют, кричат «да здравствует...», улыбаются... Он не мог их понять,

но чувствовал: для этого мало сознавать себя честным человеком... Этой ночи и этого дня было достаточно, чтобы привести его сюда, на эту полянку. Но они были слишком коротки, чтоб он мог стать рядом с Каменом...

И все же он был спокоен. Он умирал один, но не был одинок.

Ему показалось невероятным, что крохотные бледные огоньки могли толкнуть его с такой ошеломляющей силой. Но это был только миг — тот миг, когда исчезает всякая боль...

ЭМИЛ МАНОВ

ВЕТОЧКА МИНДАЛЯ

Валентину Андрееву

Над городом, странно притихшим и порозовевшим в это февральское утро, летят чайки. Низко проносятся над крышами, издавая время от времени хриплые крики, и крылья их, словно белые молнии, сверкают в прозрачном солнечном воздухе. Садятся бесшумно,— крыльями не всплескивают,— и вертят с глупым удивлением долгоносыми своими головами: что это, уже весна?..

Весна всегда приходит с моря и прежде всего высаживается на этом берегу. Но она никогда не наступала так рано, и люди любуются солнечным утром с какой-то недоверчивой радостью: не обманет ли погода, не ворвется ли опять на улицы северо-восточный ветер, а море потемнеет и над волнорезом повиснут тучи серой пены?..

Сейчас море нежно-синего, сапфирового цвета. С высоты оно похоже на огромного кита, упершегося спиной в небо. Кит приплыл из дальних стран и улегся отдохнуть среди желтых песков и коричневых скал. Его лоснящийся хребет слегка вспенен после утомительного путешествия. Чуть позже кит успокаивается, и до города доносится теперь только неясный, равномерный шепот, словно он вспоминает в полудреме о страшных бурях в холодных морях, о белых медведях и голубых зорях северного сияния, о призрачных скитальцах — айсбергах...

Юноша в дымчатых очках стоит на самом краю деревянного причала и смотрит на море. Стоит с непокрытой головой. Шея его, как бинтом, обмотана линялым светло-зеленым шерстяным шарфом. Сырой, прохладный ветер, напоенный запахом водорослей и дальних просторов, играет темными прядями его волос. Юноша протягивает руки, сжимая и раскрывая ладони, словно стараясь поймать ласку ветра, подольше сохранить в пригоршнях

его соленую влагу. И пристально смотрит на море: недавно, когда море открылось перед ним из города, с горы, оно было синим-синим и напоминало ему мифического кита, а сейчас, когда он спустился на берег, раскинулось перед его взором, будто бескрайний луг, на котором разбросаны головки белого клевера... Но вот он переводит взгляд ближе — и луг исчез. Быстрые курчавые волны идут прямо ему навстречу, вздымаются и опадают возле железных опор причала, и юноше кажется, что сам помост, поднимаясь и окунаясь в сине-зеленые воды, стремительно плывет туда, к светлому, подернутому дымкой горизонту. У юноши слегка кружится голова — от запахов ветра, от этого движения в неизвестность,— и ему хочется стоять так вечно, прислушиваясь к мягкому плеску волн.

Вдруг молодой человек вздрагивает без видимой причины. Он пришел в себя и оглядывается по сторонам. Справа, за волнорезом, высятся мачты большого корабля и нескольких парусников. В заливе, близ лежащего напротив полуострова, дремлют два темно-серых миноносца и три или четыре военных катера. Берег пуст, только несколько чаек расхаживают невдалеке между темной полосой мертвых водорослей и водой. Чайки оставляют на мокром песке ажурное плетение своих следов, а волна слизывает его единым взмахом.

Словно успокоенный безлюдьем вокруг, юноша поворачивается к гавани спиной и снимает темные очки: вода у берега приобретает спокойный травяной цвет, посветлевшее небо поднимается высоко. Он разматывает шарф, снимает пояс и расстегивает старенький бежевый плащ. Ветер сразу распахивает полы одежды, проникает к груди и с легким холодным щекотанием расползается по всему телу. Юноша жмурится. На тонком умном лице его появляется усмешка.

«Пусть продувает,— шепчет он, как человек, привыкший в одиночестве говорить сам с собой.— Пусть... Разве я не прощаюсь с морем? Кто знает, когда я опять увижу его. А может, и никогда не увижу...»

Он жадно вглядывается в сверкающий простор, и только это «никогда» на миг омрачает ему радость свидания с морем.

«Очень просто»,— произносит юноша, с улыбкой прислушиваясь к собственному голосу. Голос его звучит спокойно, даже дерзко: в душе он не верит, что это действи-

тельно «просто», потому что трудно этому верить в двадцать два года и потому что живой человек никогда не верит в смерть.

Юноша влюблен в море. Он вырос возле него, он рисовал его — сначала карандашом и акварелью, а позже и на холсте — во всем многообразии его цветов, во все времена года. И после того как они переселились с матерью в столицу, он при всякой возможности возвращался сюда, и ему казалось, что только здесь он живет настоящей жизнью. Сколько волнений и тревог, сколько мук и чистой радости испытал он на этом солнечном берегу, сидя на каком-нибудь камне с палитрой в руке! Поступив в Художественную академию, он был убежден, что самое главное его призвание — переносить на полотно величавую нежность моря, улавливать чудесные мгновения его изменчивой красоты.

Он прикрывает глаза и сквозь ресницы видит только синеватый свет, необъятный и чарующий. Он весь проникнут ощущением солнца и воды, и он думает: как мало нужно, чтобы человек чувствовал себя счастливым,— ломоть хлеба, лоскут синего неба над головой и несколько красок. Он соскучился по кисти. Месяцы он уже не рисовал, пальцы его, наверное, огрубели, рука потеряла гибкость. Увы, в этом мире, где многие лишены куска хлеба, невозможно думать только об искусстве...

Слабый шум, отличный от морского прибоя, заставляет юношу обернуться. Какой-то мужчина в шляпе, надвинутой на самые глаза, спускается по крутой тропинке к причалу. Юноша застегивает плащ, надевает очки и шарф. Немного выжидает и, взглянув на ручные часы, идет к берегу, слегка сутулясь, засунув руки в карманы. Сейчас он опять похож на человека, который в первый раз вышел подышать свежим воздухом после долгой болезни. На краю причала он встречается с мужчиной, бросает сквозь очки быстрый взгляд на его лицо. Незнакомый...

«Все же не следовало ходить сюда,— думает юноша, поднимаясь по берегу.— Солнце делает меня легкомысленным».

Около года путь его был строго определен необходимостью: не допускать ничего лишнего и оставаться незамеченным. Он очень долго, целых двадцать, а может быть, и тридцать дней, прожил в заплесневелом мраке и духоте чердака, и, когда сегодня утром вышел в первый

раз на волю, солнце поманило его на берег. И столь сильна была власть этого февральского утра, что он даже не сожалел о необходимости сменить квартиру в самый канун отъезда. Друг его, товарищ по гимназии, у которого он скрывался, потерял покой в последние дни: отец, мол, начал что-то подозревать, поблизости вертятся сомнительные личности. Вчера вечером, избегая глядеть ему в глаза, он прямо заявил, что не может больше держать его у себя, и юноша понял, что страх у друга взял верх над совестью. А страх — плохой советчик. Да и так его одноклассник уже сделал для него больше, чем многие решаются делать в это страшное время.

Юноша медленно шагает в восточную часть города, размышляя о завтрашней встрече с товарищем, который переправит его в отряд. Там его ждет другая жизнь, там исчезнет это проклятое ощущение, что опасность всегда за спиной, все будет просто и ясно: ты на этой стороне, плечом к плечу с товарищами, по ту сторону — враг. Тут же никогда не знаешь, откуда нагрянет беда, и это портит нервы. Вот и сейчас он вздрагивает, встретив двух полицейских конного патруля, и делает над собой усилие, чтобы не оглянуться, когда они проезжают мимо.

На улицах полно людей: одни озабоченно торопятся, другие спокойно прогуливаются, болтают о своих делах, смеются. Высунувшись в окно, мать бранит сынишку за то, что тот убежал играть в «чижика», не выучив уроков. Раздосадованный мальчик кидает «чижика» товарищам. Два гимназиста вдохновенно размахивают руками: фильм, правда, старый, но хорош, и до чего же загадочная женщина эта Грета Гарбо!.. Молодому человеку кажется, что это люди из другого мира. Они ходят свободно, не пряча лица, имеют свою квартиру и теплую постель. Судьбы мира их не интересуют, поскольку это не касается их шкуры... На миг его охватывает чувство горестного одиночества: все окружающее так чуждо тому, чем живет он. Ах, когда еще он сможет пройти по своему родному городу с открытым лицом, как гордый и свободный человек...

К нему подбегает, вертя хвостом, охотничий пес. Белый, в коричневых пятнах, с обвислыми ушами. Смотрит, выжидая, умными своими глазами и нетерпеливо повизгивает. Юноша наклоняется и гладит его по жесткой шерсти. Пес лижет ему руку.

— Извини, дружок, нечего мне тебе дать,— с сожалением говорит юноша.

Собака бежит за ним и сопровождает его некоторое время. Потом, не попрощавшись, бросается разгонять стайку воробьев, слетевшихся к мусорному бачку. Воробьи серым облачком проносятся над головой юноши, а пес разочарованно глядит им вслед, высунув красный язык и часто дыша.

Молодой человек смеется и идет дальше. Он уже не чувствует себя таким одиноким. Навстречу ему появляется девушка в темном пальто, с беретом в руке. Русые косы ее уложены на голове короной. Глаза блестят — глаза чудесного сине-зеленого цвета моря. Девушка насмешливо глядит на юношу, и тот думает: «На какое же чучело я похож в этом шарфе и этих очках». Он улыбается, а та кокетливо и гордо отворачивается.

Албанец, торговец шербетом, тащит свой медный бидон за спиной, словно ружье. Бидон, круглый и широкий у основания, постепенно сужаясь, завершается двумя тоненькими трубочками, он похож на минарет. Наверху развевается зеленая шелковая кисточка. Медные побрякушки звенят при каждом движении продавца: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Юноша, не вытерпев, снимает очки: пиджачок на продавце голубой, отделанный черным шнуром, лицо цвета охры, феска, едва держащаяся на бритой голове,— белая, бидон — золотисто-желтый. Чистые, неповторимые тона... И голос неповторимый, когда он выкрикивает свое «шербет» с горским акцентом и тоненьким извивом в конце.

Юноша удивленно качает головой: он забыл совсем, что существуют еще столь живописные остатки прошлого века. Нарисовать бы этого шербетчика на фоне залива с двумя дымящимися миноносцами... И не известно еще, что выглядело бы более нелепым и ненужным. Лично его симпатии безоговорочно на стороне шербетчика. Он напомнил ему босоногое детство, маленькие светлые радости минувшего, ласковый голос матери: «На вот, купи себе шербету... Только смотри, скажи торговцу, чтоб хорошенько сполоснул кружку...» Теперь старая в Софии, перебивается в одиночестве на свою жалкую учительскую пенсию. Ждет его в тревоге не дождется. Когда их организация решила направить его в родной город, мать тут же узнала об этом,— у сына не было от нее тайн. Не удерживала его. Только всплакнула малость и сказала:

«Не смотри на меня, ступай... И береги себя, родной мой».

Юноша уже на окраине города, у цели своей вынужденной прогулки. Вот знакомая улица и в ста метрах — серый, облупленный двухэтажный дом. Там живут родители его хорошего друга. Друг этот в тюрьме, но он не сомневается, что тетушка Магда сразу примет его. Эта скромная женщина, так похожая на его мать, прирожденный конспиратор и никогда не теряет хладнокровия. Сколько времени она служила курьером у своего сына — разносила воззвания, прятала стеклограф... Но вдруг, охваченный сомнениями, он останавливается. Вместе с тетушкой Магдой живут и другие квартиранты, которые знают его в лицо, а может быть, весь дом взят под наблюдение. Да, лучше не заходить... При других обстоятельствах он и не подумал бы об этой квартире, но теперь выбора нет: после крупного провала в молодежной организации он потерял все связи. Но и под открытым небом нельзя остаться... Решено, он придет сюда вечером, постучит в окно. К счастью, они живут на первом этаже. Но куда деваться до вечера?

Юноша поворачивает назад и опять идет к морю, в греческий квартал. До обеда два часа. Он пойдет туда якобы в поисках рыбы. Посидит с рыбаками. Или просто на пляже, на какой-нибудь опрокинутой лодке. Потом пообедает в знакомой закусочной,— гимназический товарищ дал ему два талона на хлеб. После этого... сходит, например, в кино. Посмотрит глупый немецкий фильм — два, три раза, сколько угодно, пока не стемнеет...

План готов, и на душе у него становится легче и веселее. Он идет очень медленно. В голубом свете дня даже бедная улочка перед ним имеет праздничный вид. Старые черепичные крыши отсвечивают красным и напоминают японские фонарики, развешанные на невидимой веревке. Окна в домах чисты, как детские глаза. Две белоснежные чайки пролетают над головой с возбужденными криками, будто ссорятся между собой.

Юношу охватывает головокружительное ощущение нереальности происходящего. Странной кажется мысль, что где-то бушует война, люди убивают друг друга. Невероятно, что на его родине преследуют честных людей, что где-то там, в горах, гибнут смелые люди, что столько его товарищей в тюрьме и сам он должен скрываться, словно дикий зверь, от погони рассвирепевших охотников...

Невозможно, чтобы человек, переживший хотя бы вот такое утро, мог стать рабом жестоких нравов. Кто-то сказал, что красота спасет мир. Он понимает это — красота всегда человечна... И революция — красота. Ах, каких людей породит она! Каких гордых, хороших, сильных, светлых людей. Им будут чужды ложь и алчность, лицемерие, клевета, убийства. Они будут рождаться с песней и умирать с чистой душой. И будут жить долго, потому что сама природа будет в дружбе с этими людьми...

Он улыбается своим мыслям. Мечта его растет, заполняет его целиком, как синева небес и моря заполняет утро. Как бы нарисовать эту мечту?

Юноша сворачивает в другую улицу и вдруг останавливается, затаив дыхание: за низким деревянным забором цветет пышное ветвистое дерево. Чудесное розовое облако на густо-синем фоне неба.

«Миндаль,— думает юноша,— в нашем городе много миндаля, как я мог забыть об этом? Миндаль цветет первым...»

Он подходит к забору и становится под самым деревом. Пронизанное солнцем, пенно-розовое облако делается все светлее и легче, словно каждый миг оно может взлететь и раствориться в синеве. За забором цветут еще два деревца, а за ними, в глубине двора, белеет домик со светло-зелеными рамами окон. Юноша широко раскрывает глаза: дома вокруг серые и скучные, редкие деревья еще голы, а тут — настоящий маленький рай, сказка... Вот сейчас из домика выйдет добрый старый волшебник, взмахнет чудодейственным жезлом, и все деревья расцветут разом, а серенькие домишки превратятся в дворцы из хрусталя и рубинов.

Он глядит, онемев, на цветущий миндаль. Значит, и мечта имеет свой образ и ее можно нарисовать?.. С трудом отрывает он взгляд от дерева и идет дальше, но в последнее мгновение ему захотелось унести с собой кусочек этой красоты. Он возвращается и осторожно отламывает небольшую веточку. Темно-зеленый блестящий прутик, густо и плотно усыпанный цветами. Цветочки, пятикрылые розовые звездочки, сидят по нескольку на каждой ножке. Тонкий, необыкновенно сладкий аромат исходит от этих звездочек, и юноша с благоговением вдыхает его.

— Эй, парень, зачем ломаешь деревья?

Юноша вздрагивает и едва не роняет ветку. Сердце часто стучит от резкого, неприятного ощущения,— так чувствует себя человек, внезапно и грубо разбуженный.

За оградой, у самого дерева, будто из-под земли выросший, стоит пожилой мужчина в жилетке. Высокий и тощий. На лоснящейся лысине отражается солнце. У него странное лицо. Крупное и плоское, даже слегка вдавленное, так что широкий нос его сидит глубже подбородка и уродливого, бугристого лба. Глаза не имеют цвета, несколько белесых волосков обозначают брови. Человек опирается на мотыгу с налипшей на нее землей.

«Волшебник,— усмехается своей мысли юноша. — Собственник всей этой красоты...» И не знает, как отозваться. Сердится этот человек или шутит?

— Что тут смешного? — резко спрашивает хозяин и, приставив мотыгу к стволу, подходит к калитке.— Портишь чужое добро и смеешься...

— Простите, ваш миндаль так красиво цветет, что я позволил себе...

— Цветет, цветет...— бормочет хозяин. Выйдя на дорогу, он подходит к юноше.— Люди трудились, а разные бездельники рвут... Давай сюда ветку. Цветет...

Неожиданно он хватает юношу за рукав плаща, а другой рукой тянется за веткой. Инстинктивно юноша прячет ее за спину.

— Что? И не отдаешь еще? Вор...— повышает голос хозяин, глядя на него в упор с таким злобным удивлением, что юноша чувствует, как кровь бросается ему в голову.

Беспричинное и глупое озлобление этого человека рассеивает весенний дурман. В сердце юноши проникает холод. Говорят, люди с возрастом становятся мудрее, но этот совсем не похож на мудреца. Что он хочет от него?

— Взвешивайте свои слова,— сдержанно говорит юноша.— И не кричите.

Он дергает руку, но человек не пускает его, вцепившись в плащ. Тогда юноша толкает его и освобождается. Протягивает ему ветку. Но лицо человека приобрело землистый цвет, и, вместо того чтобы взять веточку, он опять хватает юношу за рукав.

— Пустите меня.

Юноша старается овладеть собой. Из соседних дворов уже выглядывают женщины, двое прохожих остановились и наблюдают за ссорой. «Необходимо уйти»,— думает

юноша и не знает, на что сердиться — на вздорность этого хозяина или на собственную неосторожность.

— Вор,— шипит хозяин, а пальцы его превратились в железные скобы.

— Слушайте, да замолчите же наконец!

Юноша весь дрожит, и на лице его появляется такое выражение, которое заставляет хозяина выпустить свою жертву и отступить. В эту минуту из домика с зелеными окошками выходит парень в матроске и вразвалку, держа руки в карманах, идет к калитке. Хозяин снова смелеет.

— Поди сюда, Ваню. Отца твоего бьют, а тебе хоть бы что.

Матрос подходит ближе. Широкие его штанины взлетают при каждом шаге и опадают на носки черных ботинок. Он похож на своего отца, но молодость смягчает грубые черты. Голубые глаза его смотрят дерзко и наивно.

— Не кричи, никто тебя не бьет,— хрипло говорит матрос и поворачивается к юноше: — Тебе что тут надо, а?

Вопрос грубый, но в голосе звучит добродушие, и это успокаивает юношу.

— Ничего,— отвечает он.— Сорвал вот веточку, а отец ваш рассердился.

— А зачем сорвал?

— Зачем?..

Юноша конфузливо улыбается. Как объяснить этому грубоватому парню, зачем он сорвал ветку? Сказать ему, что миндаль возник перед ним, как розовая мечта среди тревог этого жестокого времени, после двадцатидневного пребывания на чердаке — в духоте и мраке, среди крыс? Объяснить ему, что значит месяцами жить в нечеловеческом напряжении и выдерживать это только потому, что мечта сильнее страха за жизнь?

— Люблю цвет миндаля,— говорит он просто.

Матрос удивленно смотрит на него и шевелит своими русыми бровями. Чудак какой-то! Так сказал, что рука не поднимается ударить его. А тут в воротах показывается и мать — маленькая женщина с сединой в темных волосах. Она озабоченно смотрит на сына, потом на мужа и незнакомого юношу. Вся иссохшая, женщина устало и нервно моргает глазами.

— Ваню, ради бога... Чего вы привязались к этому пареньку? Оставьте его в покое.

— Не лезь не в свое дело,— хмуро отвечает хозяин, и женщина умолкает.

— Не будем собирать народ, отец... А ты давай проваливай,— говорит матрос юноше и поворачивается к нему спиной.

Хозяин оторопело глядит на него. Такого, по-видимому, не случалось, чтобы сын вмешался в ссору и дело не дошло до драки. Но вдруг лицо его светлеет и усмешка растягивает тонкие, вялые губы.

— А вот сейчас мы поговорим с этим типом.

Юноша, уже шагнувший было вперед, невольно оборачивается и смотрит по направлению его взгляда. И чувствует противную тошноту: к дому идут двое полицейских, медленно и важно выступая в своих плотно облегающих шинелях и блестящих сапогах. Теперь он уже не может уйти, его остановят. Бежать — глупо... Так, наверно, чувствует себя муха, попавшая в сети к пауку,— чем нетерпеливее спешит она выбраться, жужжа и суча ногами, тем сильнее запутывается в липкой паутине. Юноша сжимает зубы и вымученно улыбается.

— Что тут происходит, Семо? — спрашивает старший полицейский, здоровенный мужчина.

Хозяин по-свойски здоровается с ним за руку и, притянув к себе, шепчет что-то на ухо. Лицо старшего сосредоточенно, как оно и полагается при исполнении служебных обязанностей. Несколько раз он бросает на юношу испытующий и строгий взгляд. Потом подзывает его кивком головы.

Молодой человек приближается неохотно, на одеревенелых ногах. Единственная его надежда — матрос и собравшиеся любопытные.

— Ты зачем нарушаешь спокойствие, а?

— Ничего особенного не случилось,— говорит юноша.— Господин поднял шум из-за этих нескольких цветочков.

— Вот как? — огрызается хозяин.— А кто меня обложил, кто замахивался?

— Это неверно. Есть свидетели.

Юноша оборачивается к моряку, но тот смотрит исподлобья на отца и опускает голову. Молчит. Молчит и его мать, только часто-часто моргает глазами. Молчат и двое любопытствующих граждан — не хочется связываться с полицией, чтобы их потом таскали по судам. Но тут вмешивается услужливый сосед:

— Верно, господин старший, я сам видел. Семо сделал ему замечание, а этот, бродяга паршивый, замахнулся...

Хозяин торжествует. Юноша беспомощно озирается, проклиная в душе и этого сварливого человека, и людей, хранящих молчание. Старший гладит свои пышные усы.

— Давай, парень, следуй за нами, — говорит он, с ухмылкой поглядывая на хозяина.

— Я ничего не сделал, господин старший. Вы не имеете права арестовывать меня за...

— Вот как, права не имею? А ну, без рассуждений!

Юноша сжимает губы, и челюсти его каменеют; дальше разговаривать бесполезно. Теперь он ни на кого не смотрит и жалеет, что и в самом деле не ударил хозяина. День померк. Из глубины узкой улочки равнодушно поблескивает синий мертвый глаз моря. Полицейские сапоги отвратительно скрипят.

Юноша идет между двумя полицейскими, отрезвев от солнечного опьянения. Тревога, словно змея, впилась в его сердце. В руке он еще держит маленькое светло-розовое облачко. Его взгляд падает на него, он вздыхает: сейчас это лишь свидетельство его глупости и неловкости.

«Дикая история... Как теперь выкарабкиваться? Даже фальшивого паспорта нет. В моем указана настоящая фамилия, а ее упоминали во время процесса. И в полиции... Меня раскроют. Непременно раскроют. Из-за одной веточки... Как я отвечу перед товарищами?.. Красота спасет мир... Во всяком случае, в полицейский участок идти нельзя. Ни за что на свете...»

— Господин старший,— говорит юноша с равнодушным, скучающим видом. — Я заплачу вам штраф, и отпустите меня, я иду по делу. И вам только лишние хлопоты.

И он начинает шарить по карманам, словно вопрос уже решен. Вынимает серебряную монету в сто левов — все свое богатство — и протягивает старшему. Большая тяжелая монета блестит перед глазами полицейского. В нерешительности он поглядывает на своего спутника: не проболтается ли начальству? Потом лицо его снова принимает недоступное выражение.

— Спрячь свои деньги, парень,— бурчит он сердито.

— У нас квитанций нет при себе,— говорит другой полицейский.

Юноша машинально опускает монету в карман плаща и чувствует, как холодеет его лицо. Выхода нет... Участок, наверно, где-нибудь рядом, и через несколько

минут будет поздно. Напряжение нарастает и душит его. А сейчас ему как-то особенно хочется жить, и мысль о тюрьме кажется невыносимой. Может быть, потому, что утро такое солнечное, а в глубине улочки светится синее око моря. Оно ведь живет, это око! Как он мог подумать, что у моря есть что-то общее со смертью? Море — это вечность...

Они подходят к переулку и сворачивают в него. Море исчезает. Юноша сильнее сжимает в руке веточку миндаля, и у него мелькает в уме, что, пока он держит эту ветку, ничего плохого с ним не случится. Нелепая мысль, в ней нет никакой логики, и все же он верит в это. Он перекладывает ветку из правой руки в левую, разматывает шарф и несколько секунд размахивает им в такт своим шагам. Ветер охлаждает ему шею. Потом он выпускает шарф и отскакивает в сторону. Прежде чем полицейские приходят в себя, он успевает оторваться от них. Полы его плаща разлетаются, плещутся, словно крылья птицы...

Соседи, собравшиеся у двора с миндальными деревьями, еще не разошлись по домам, когда два сухих выстрела прорезают тихое утро. Люди вздрагивают, переглядываются и замолкают. Хозяин открывает рот, бледнеет... Еще один выстрел и одновременно — крик, хриплый и протяжный, будто крик раненой чайки. И тишина опять смыкается над головами соседей, как море смыкает воды над телом утонувшего. Только ветер покачивает ветви миндаля.

Глаза всех медленно обращаются к хозяину, и лицо его становится землисто-зеленым. Жена его в ужасе моргает. Сын тоже смотрит на него молча, исподлобья. Потом произносит побелевшими губами:

— Ты... с твоими деревьями!

— Боже милостивый,— шепчет мать.

* * *

Вечером, когда звезды выплыли на синий небосвод и взбунтовавшееся море зашумело, по соседней улице шли юноша и девушка с короной русых кос на голове. Они остановились под широкой нависшей стрехой заброшенного дома и долго целовались. В холодном синеватом мраке глаза девушки казались черными, и юноша не отрывал от них восхищенного взгляда: ничего не видел он в жизни красивее этих глаз.

Девушка опомнилась первой, подняла руки к косам.

— Надо идти. Дома опять будут ругаться.

— Но завтра в четыре возле кино, да?

Юноша притих,— до того ему не хотелось расставаться. Что-то белело у стены полуразрушенного дома. Юноша нагнулся и поднял.

— Смотри, Мария, цветущий миндаль...

Веточка была слегка смята, часть цветов облетела. Но все же была красива. В вечернем свете она казалась серебряной. Девушка взяла ее и поднесла к лицу.

— Чудесно,— сказала она тихонько, словно боясь, что от голоса ее разлетятся лепестки.— Веточка со звездами... Знаешь, говорят, что миндальный цвет приносит счастье...

И молодые люди унесли с собой веточку миндаля.

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

В ОБНИМКУ СО СМЕРТЬЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В пустынных осенних полях ветер разносит тяжелый, дурманящий запах опаленной солнцем травы, шелестит жухлыми листьями подсолнухов. Их обезглавленные стебли уныло темнеют на притихшей земле. Всё умирает вокруг, умирает тихо и безвозвратно, и поля молчат, как заброшенная римская дорога, слушавшая некогда стук колесниц и глухой звон щитов.

И только солнце, склонившееся к Илчову холму, желтеет, как цветущий подсолнух.

Я лежу на спине, охваченный тупым безразличием. Мне кажется, мир вокруг тихо угасает, как угасают мои силы, подточенные голодом. Отчаяние убило надежду, а этот неотвязный запах травы одурманивает меня. Большая зеленая муха надоедливо кружит над головой, садится мне на лоб, ползет по лицу, но ни желания, ни сил прогнать ее у меня нет. Муха вызывает мысли о смерти, встречи с которой у меня уже были, и всякий раз появлялись предвестники ее, эти зеленые мухи. И сейчас, прислушиваясь к жужжанию надоедливого насекомого, я жду встречи с неумолимой странницей, что приходит однажды, чтобы подвести итог нашей жизни.

Но удивительно: после всего, что я видел и пережил, она, эта странница, стала как бы избегать меня, хотя и не выпускает из поля своего зрения... До меня доходит звук ее шагов за соседними кустами. Мне чудится, что я слышу, как в ближней рощице потрескивают сучья, чуть внятно шуршит палая листва. Это она... Смерть превратилась в человека, который упорно меня преследует. Сначала я пытался прятаться, приходил в ужас, но постепенно притерпелся. Нервы мои словно перегорели от напряже-

ния, голода и усталости, тело стало как бы невесомым, и я перестал пугаться. Лежу и вслушиваюсь — человек движется медленно, точно черепаха. Время от времени, должно быть, колеблясь и раздумывая, он замирает на месте, и листья перестают шуршать. Не кошмар ли это, который сразу же рассеется, стоит мне лишь моргнуть? Я прикрываю глаза и снова слышу шуршание листьев, оно затихает рядом со мной, за ближним кустом...

Десять суток уже длится этот кошмар. Десять суток я, как бирюк, скитаюсь по лесам и полям, неся в себе свои страхи и сомнения, свою судьбу, проклятую судьбу отверженного... Своей свободой, если считать, что я ее имею, я обязан чистой случайности. Она пришла нежданно, ее принесли мне вчерашние мои друзья, для которых я сейчас не кто иной, как преступник.

Друзья разбили ворота тюрьмы и освободили меня, освободили для того, чтобы я очутился в страшной камере одиночества, страха и сомнений... Они, наверное, поняли, что сделали ошибку, и теперь ищут меня, ищут того, кто, не выдержав пыток, растоптал партизанскую клятву, выдал явки. Они ищут меня, а я боюсь их, боюсь, скрываюсь и жду... Но чего я жду? Смерти? Да! Если б она пришла! Нет, она притаилась за кустом скумпии. Листья уже не шуршат под ее ногами, и тишина делается все более тягостной.

Холм наполовину прикрыл солнце, тень куста, за которым прячется смерть, тянется ко мне, словно черная рука. Вот-вот она закроет мне глаза, я сольюсь с черной землей и снова стану одинокой летучей мышью, блуждающей во тьме сентябрьской ночи, принявшей скитания без дороги и цели как свою судьбу. Нельзя так жить. Пустота отверженности страшнее всего. Мне кажется, что я опустился на дно океана и меня окружает вечный мрак и безмолвие. Кто услышит мой плач? А сердце мое плачет, тихо, безмолвно плачет, соленая горечь слез копится в нем, готовая разорвать его на части. Да, когда-нибудь оно разорвется от страданий, потому что в этой жизни нет ничего вечного. Разве только честное имя может остаться вечно живым, но я ведь потерял свою честь, и имя мое запятнано навсегда... Оно не покидает меня ни на минуту, прячется вместе со мной, боится смерти и зовет ее. А когда оно слышит шорох ее шагов, оно трепещет, точно пламя свечи. И мы спрашиваем друг друга: кто это? Почему он нас преследует? Если он хочет нас

убить, он может сделать это в любое мгновение. Ничто ему не помешает. Но он не делает этого. Он только тащится за нами следом — за мной и моим запятнанным именем. Я приподнимаюсь на локтях и долго вглядываюсь в кусты, потом, обессилев, падаю на землю. Вдруг мой воспаленный мозг прорезает мысль: «Я позову его... Кто бы это ни был, я позову его...» Кладу руку под голову и спрашиваю:

— Послушай, почему ты прячешься?.. Иди сюда!..

Он не откликнулся, но кусты качнулись, их тень удлинилась и отодвинулась: тот, должно быть, колеблется.

— У тебя хлеб есть? — спрашиваю.

— Есть!

Голос резкий и, главное, знакомый. Я его слышал, много раз слышал. Еще вчера, позавчера, может быть, сегодня. Я слышал его ночами, носил в себе, словно вонзенный нож. Человек приближается. От неожиданности и бессильной ярости прикрываю глаза. Кровь ударяет мне в голову, сердце вот-вот остановится. В теле слабость и пустота, будто все, что еще оставалось в моих жилах, медленно вытекает и впитывается в землю. На лбу выступает пот. Передо мной Меченый, агент полиции. Это он согнул меня, словно виноградную лозу. Палач с железным голосом и рваной губой! Правой рукой яростно ощупываю землю: не попадется ли что-нибудь твердое, что-нибудь тяжелое, но между пальцами течет лишь мелкая сухая земля. Меченый видит мои тщетные усилия, и его раскроенная и плохо сшитая хирургом губа растягивается в безобразной улыбке. Окончательно убедившись в моей беспомощности, он склоняется к своему вместительному рюкзаку, достает кусок хлеба и бросает его мне.

— Возьми! — Голос его, словно плеть, бьет больно и расчетливо.

Надо бы отказаться, но рука сама ловит черствую горбушку. Такое со мной случается второй раз. Первый раз — в тюрьме. Там рука так же изменила моей воле и подписала показания. Какой-то странный ужас, внушаемый этим человеком, заставляет ее быть такой послушной.

Мы молча, напряженно смотрим друг на друга, и я отступаю. Снова отступаю. Веки мои опускаются, чтобы скрыть страх. Агент сидит на корточках перед рюкзаком. Одна рука его засунута в карман, другая висит вдоль тела. Тень его шевелится, уродливая и темная.

— Надеюсь, у тебя нет оружия?

— Скажи за это спасибо...

— Да, вижу, ты меня не любишь. Но почему? Потому что я позаботился и принес тебе хлеба? Думаю, умрет без меня парень. Товарищи бросили его. И нет у него никого на всем белом свете. Тьфу! — Меченый плюнул, показно возмущаясь.— И это называется друзья! Человек постарался обеспечить им бесплатную квартиру в тюрьме, а они взяли и вынесли ему смертный приговор за предательство...

— Я никого не предавал!

— Вот и я говорю,— насмехается агент.— Парень чистый, как святой Яков, только не выдержал пыток и указал явки, а там божьи архангелы отправили на тот свет одного товарища.— Меченый растягивает в улыбке свою изуродованную губу.

Зачем спорить? Молчу, раздавленный и бессильный. Черствая горбушка хлеба дрожит в моей руке, кусок в горле горчит, словно отрава. Небо кружится перед моими глазами, но кажется, что это я верчусь вокруг своих воспоминаний, будто конь с завязанными глазами под однообразное поскрипывание водоподъемного колеса. Крепкая веревка боли тянет меня к той страшной ночи. Тогда земля была теплой, пели цикады, пели так грустно, монотонно, будто предчувствовали, что́ должно было случиться. Я лежал в высокой кукурузе и ждал сигнала связного. А связной где-то задерживался, чего с ним никогда не случалось. Только шелест кукурузных листьев нарушал тишину глубокой летней ночи. Ветер дул со стороны темнеющих холмов, он крался, осторожно, по-гайдуцки, но я знал, что он скоро доберется до меня. Это видно было по трепетанию широких, подпаленных солнцем листьев кукурузы. Они звенели, как мечи. Их шум мне знаком с детства, и если я сейчас боялся чего-нибудь, то только того, что этот шепот мог меня усыпить. После долгого пути я чувствовал себя совсем обессиленным. Это была моя последняя явка на равнине. И тут на последнем переходе не выдержал — сон свалил меня... Проснулся я от пинков, от торжествующих криков полицейских. Потом истязания и первое ложное показание. Потом Меченый...

Вот он. Ухмыляется, взгляд его холоден. Сейчас мы оба — беглецы, похожие на полевых мышей, которые мечутся по бороздам, — плуг уничтожил их жилища. Нет

запасов еды, нет теплого угла, нет семейного нежного попискивания. Есть только пустое поле, страшные дороги, испепеленные надежды... И — вопрос вопросов: зачем жить? Но этот вопрос, видно, волнует только меня. Меченый продолжает ухмыляться:

— Его изувечили, а он все равно твердит, что не предатель. Верь после этого святым...

Нет смысла спорить. Да, я не выдержал мучений, боли. Да, раскрыл явки, и мои вчерашние друзья вынесли мне смертный приговор. Но было кое-что другое, о чем они не знают. Я долго молчал, долго врал, чтобы выиграть время, надеясь на то, что молва о моей судьбе дойдет до подпольщиков и они успеют уйти в горы. Моя хитрость удалась, но подпольщики понесли в горы и другую молву, молву о том, что я сдался полиции добровольно в расчете заработать прощение. Все это камнем лежит на сердце, съедает меня, как золотуха. Мне бы умереть, раствориться, исчезнуть... Пусть на свете одним отверженным будет меньше. И каждую минуту я жду, что смерть явится откуда ни возьмись, схватит меня и унесет в обитель вечного сна. Потому что вызвать ее сам я боюсь, боюсь. Покончить с собой не так легко, как об этом пишут в иных романах. Когда-то я читал о смерти одного известного героя, о вложенном в рот дуле пистолета, о его твердой руке, о последнем его возгласе... И, шагая с винтовкой за плечом по горным тропам, я часто думал о его поступке и приходил к парадоксальным выводам. В его жесте мне чудился не только героизм, но и жуткий, нечеловеческий страх — страх перед возможностью оказаться в руках врага, страх перед пытками, которые не каждый может вынести. И я давал себе клятву сражаться до конца, а последний патрон сохранить для себя. Так думал я, но получилось не так. Быть может, бог, которому я молился, неправильно понял мою мольбу. А этим моим богом был случай, всесильный в жизни партизан случай.

Теперь мои дни текут под сенью неспокойных вечеров и одиноких звезд. Меченый не умолкает. Его неприятный дребезжащий голос режет слух, раздражает меня. Я стараюсь не слушать, а в моем мозгу камнем засела тяжелая мысль: «Не упусти его!» Мой взгляд скользит по поломанным стеблям подсолнухов. Их длинные тонкие тени постепенно сливаются, и вечер поглощает их, обливает чернотой своих тайн. И мои мысли как ночь: «При первом удобном случае, и... конец!..»

Поднимаюсь, осматриваюсь и медленно иду к реке. Жду, что Меченый остановит меня, спросит, куда я, но он молчит. Шелестят сухие листья подсолнухов. Внизу, в долине, там, за мельничной плотиной, мерцают огоньки села. Откуда-то доносится стук телеги. В белесой пыли остается ее след. Люди готовятся ко сну. Они радуются тому, что так долго ждали и все же дождались его. Какой может быть сон?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

Иду впереди. Меченый за мной. Прислушиваюсь к его шагам и представляю, как он сгибается под тяжестью рюкзака, его порченая губа неестественно отвисла, а рука в кармане куртки сжимает взведенный пистолет.

Небо светлеет. Отчетливо выделяется темное пятно болота. На мельнице кукарекает петух, раскатисто и длинно. Из села ему отвечают другие. Чтобы прогнать мрачное настроение, пытаюсь думать о постороннем: вспоминаю тропинки своего детства. А их много, и все памятны. Тут, близ села, на мельнице, я родился, тут сделал первый шаг. Меня убаюкивал стук мельничного колеса, я слушал веселые рассказы мукомолов. Летом я ловил усачей в тенистой запруде, купался в глубоких омутах, а шепот тростника на большом болоте вошел в меня, словно чудесная музыка, однообразная и все-таки каждый раз иная,— времена года определяли ее тон.

В этот час ее дирижер — вечерний ветер. Я представляю его босоногим мальчишкой, который бежит сквозь сухой тростник, и за ним, как след, тянется шум. Вот озорник останавливается, смотрит на нас удивленно и бросается к селу, чтобы сообщить о нашем появлении. Еще не достигнув крайних домов, он натыкается на заборы, перепрыгивает их и теряется в путанице улочек. Может, это его топот, а может, и наши шаги разбудили двух-трех сонных собак. Они отчаянно тявкают. Их лай наталкивается на темное молчание сельского неба и замирает у стогов соломы.

По кривой тропинке спускаюсь к реке, вот и дамба и запруда. Вхожу в тростники. Под ногами вязкая земля, но дожди еще не начались, и идти можно. Перепрыгиваю через канавки, огибаю низкие заросли вербы. Вот и под-

ходящее место для ночевки. Меченый молчит. Он тяжело дышит,— ведь я шел быстро, к тому же неясность моих намерений явно тревожит его.

Сели поодаль друг от друга, каждый занят своими мыслями. Я стараюсь не смотреть на Меченого, забыть о нем: нет его, и все! Мне бы радоваться близости родного места, почувствовать былую беззаботность, но нет, не удается. О чем бы я ни начинал думать, все упирается в мое теперешнее положение, и боль подступает все ближе и горше. Встаю, гляжу в сторону мельницы. Слышу глухой и однообразный шум воды. Значит, колесо не вращается, жернова стоят. Да и поляна, где бывало тесно от крестьянских телег, пуста.

Окна в домике мутны, словно глаза слепца: не теплится в них свет, не поднимаются опущенные веки. Глухая темень...

Где-то там, за низкими стенами, старики мои уже спят. Что им снится? Их сны должны быть безнадежны и страшны... А может, только в снах и приходит к ним радость, только в них они могут встретиться со мной, поговорить, как когда-то? Спите, мои дорогие, спите, и пусть вам снятся наши былые беседы при коптилке, когда я рассказывал вам о большом городе, о моих профессорах, о высоких зданиях: для того чтобы увидеть их крыши, надо задрать голову так, что валится шапка... Спите!.. Сын не оправдал ваших надежд. Он осрамил вас и теперь скитается, как бирюк... Но пусть вам снится тот, другой, студент, пусть вам снится хороший. Едва удерживаюсь, чтобы не зареветь в голос, не броситься на землю. Выплакать бы всю свою боль, накопившуюся за столько дней, проведенных в партизанских землянках, в тюремной камере. Слезы текут из-под зажмуренных век, обжигают щеки, я не могу их удержать. Давно отстоявшаяся в груди боль готова вырваться криком. Она уже на кончике языка, собралась в одно с детства родное слово, которое я всегда носил в себе, шептал в самые трудные минуты жизни. Оно приводило ко мне грустное, в морщинах, лицо, излучающее свет вечного прощения и вечной доброты.

Выдержу ли или закричу, как испуганный парнишка: «Мама!..»

Чувствую, как раскрывается рот, как легкие набирают силу. Еще немного... Но на мое плечо ложится рука:

— Хватит тебе торчать, как столб...

Мурашки пробегают по телу от одного прикосновения этой руки. Слезы высыхают. Испуганной собачонкой свертывается, замирает крик. Собачонка где-то глубоко во мне скулит, но тихо, совсем тихо. Колени слабеют от одного звука дребезжащего голоса. Сажусь около вербы, и меня охватывает глубокое безразличие ко всему, словно я сломанная игрушка, не нужная никому вещь.

Меченый некоторое время стоит рядом, потом отходит, раздвигает тростники и исчезает. Наверно, подыскивает удобное место для ночевки. Лихорадочно соображаю, пытаясь угадать, где он залег. Он, конечно, боится меня и старается держаться особняком. Мысленно оглядываю болото. Дальше третьей канавки он податься не мог. За ней — топи. Если утонет, избавит меня от греха. Приподнимаюсь, вслушиваюсь в тишину. До меня доносится злобное бормотание. А вот и он — возвращается. Нагибается надо мной и цедит сквозь зубы:

— Если ночью сделаешь хоть один шаг — прикончу! Запомни хорошенько! Где тебя оставлю, тут и должен найти...

Он скрывается за вербами, некоторое время шуршит тростником, потом все стихает. Заснуть бы, но сон не приходит. Цепь страданий вновь приковывает меня к тяжелому грузу воспоминаний, и я возвращаюсь в прошлое.

...Далекая луна заходит за холм. Пора двигаться. Надеваю на плечи рюкзак и тихо вхожу в камыши... У тех же зарослей вербы меня ждут товарищи из отряда. Их двое — обросшие бородами в скитаниях, усталые от ожидания, они упрямо курят, пряча цигарки в ладонях. Табачный дым разгоняет комаров, рои которых ехидно гудят над ними.

— Пошли...

— Да, уже время...

Нас ведет тропинка. Я второй в колонне. Знаю тут каждую пядь земли, но глаза не привыкли к темноте, и я то и дело спотыкаюсь. Тяжелый рюкзак водит из стороны в сторону, но на сердце легко. Мне кажется, у меня выросли крылья, и я, не щадя жизни, готов на подвиг. Черная спина гор, куда мы идем, кажется мне самым светлым местом на земле. И я сгораю от любопытства, дрожу от надежды... Эх, время!.. Где ты?.. Вздох глохнет во мне.

Я похожу на заколоченный гроб: мертвые мечты, мертвые надежды, полуживой крик, и только ненависть гложет меня и питает неустанное чувство отмщения...

«При первом удобном случае, и... конец!..»

С этой мыслью я засыпаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кто-то идет берегом запруды по тропинке и поет, тихо, беззаботно. Уже рассвело, и слова песни слетают, как влажные капли с листьев деревьев. Воздух свеж и прохладен. Сентябрь подходит к концу. Осень идет из-за далеких горных вершин. (Одиночество помогает разыграться фантазии. Я научился одухотворять самые отвлеченные вещи.) Я воображаю, как она прячется за холмами и, когда мрак покроет поле, приходит, невидимая и таинственная, чтобы погулять до того, как вспыхнет заря. По утрам я нахожу ее следы: листья акаций и груш вдруг покраснели, вязы и айва вспыхнули желтизной, а виноградники заиграли всеми цветами ее палитры.

Но ни один цвет, даже самый веселый, не радует меня. Для меня эта осень — тяжкая пора. Проклятая осень...

А песня продолжает звенеть. Я нагибаюсь и отвожу ветви ладонями, чтобы видеть изгиб тропинки, которая спускается к тростникам, перебегает через узкий ручеек и вливается в полянку, где обычно останавливаются возы с зерном.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Звенит голос, мелодичный, беззаботный. На повороте мелькает пестрая косынка. Тяжелые косы спускаются из-под нее. Знакомое лицо, чуть курносый нос. Меряя тропу мелкими шажками, певица размахивает пустым мешком, бьет им по тростнику, и он шуршит, шуршит... Временами она умолкает, и тогда слышен только шорох. Я еще больше раздвигаю ветки, забывая об осторожности. Воспоминания взволновали меня, беззаботность певицы вызывает улыбку. Так бы и засвистал дроздом, подозвал, как когда-то...

— Ты ее знаешь?

— Да... Мария...

— Как фамилия?

Делаю вид, что не слышу вопроса. Какое ему дело и что он прилип ко мне? Я разве пристаю к нему с вопросами? Поворачиваюсь и, стараясь быть как можно сдержаннее, говорю:

— А не настало ли время тебе проститься с полицейскими привычками?

Мой уверенный тон обескураживает его. Он смотрит на меня широко открытыми глазами, словно не веря своим ушам. Его рука ползет к карману, где пистолет, но останавливается на полпути. Я знаю, он не решится стрелять: слишком близко мельница и деревня. Чтобы сразить его окончательно, добавляю:

— Если тебе не хочется смотреть, убирайся, но не мешай мне глупыми вопросами.

Поворачиваюсь и вновь гляжу на тропинку, но Марии уже не видно. Даже сухой тростник перестал качаться. Меченый топчется позади меня. Его острый нож может вонзиться сейчас в мою спину, и я превращаюсь в слух. Я готов постоять за себя... Тело мое натянуто, словно тетива лука. Но Меченый садится в стороне и начинает выгребать крошки из своего рюкзака. Будто ничего и не произошло.

Ложусь на спину, закидываю руки за голову и про себя торжествую. Наши силы как бы уравновешиваются. Даже хлеб, который я беру из его рук, сейчас уже не кажется таким горьким. Должно быть, страх не дал Меченому спать всю ночь, и это сделало его более уступчивым. Я породил в нем страх... Значит, и меня можно бояться. Это придает мне смелость, а смелость возвращает спокойствие. В эту минуту я чувствую, что в мыслях вновь могу вернуться к Марии, припомнить поздних соловьев... Но зачем мне начинать с конца?.. Я вижу ее озорной, темноглазой, с сердцем птицы, которая не знает забот и готова на день-два привязаться к любому, пожалеть его, приласкать застенчивого и улететь, не думая о том, где и как его оставит... Каждый день для Марии маленькая неожиданность, распустившийся цветок. Над могилой мужа давно не раздавался ее голос. Дома висит его полицейский ремень, и ее любовники часто точат на нем бритву. Он погиб во время облавы. Община похоронила его торжественно, и уже в ту ночь староста переночевал у ветреной вдовы, у бабочки, которая не знает, на чьем огне

обожжет крылья. Все это я знал, но не утерпел... Неудержимое мальчишечье любопытство привело меня к ней... Это случилось однажды летним вечером, когда поздние соловьи поют лениво и грустно и когда чабрец опьяняет своим запахом. Вспоминаю шум жерновов, грудной смех Марии, ее влажные ладони... А слова? Нет, не могу вспомнить, о чем мы говорили. Она что-то весело болтала, поучая меня, а я краснел в темноте. С того вечера я стал мужчиной и имел свою тайну, которую скрывал от друзей. Если бы я сказал им, что спал с вдовой полицейского, они этого никогда бы не простили мне... Для нее все это — пустяки, а для меня — воспоминание, которое никогда не может исчезнуть, которое вызывает во мне чувство вины, а сейчас и грусть. Вот она прошла по тропинке, все такая же веселая и беззаботная, улыбаясь, размахивая старым мешком, может быть, тем самым мешком, который она тогда постелила нам двоим. Радостная, она может петь, а я не могу, я, который имеет право на эту песню, на эту долгожданную песню, обречен молчать, прятаться в тростнике, задыхаться от душевной боли...

Ложусь на живот и вновь раздвигаю ветки. Вижу покривившуюся мельницу. С балкона доносится сухое старческое покашливание. Отец... Он прислонился к изъеденному червями столбу и курит толстую, свернутую из газеты цигарку. Вспоминаю, сколько шуток рождала эта привычка отца курить толстые самокрутки. Я слыхал, как мукомолы, осматривая свои разбитые телеги, притворно сердились:

— Опять ты бросил окурок на дорогу!..

— Что-нибудь случилось с телегой?..

— Конечно!.. Колесо ударилось о него, и ось поломалась...

Горластый смех гремел над мельницей, над запрудой, над круглой, как ток, поляной. И среди гогота мукомолов слышался смех отца.

Сейчас я гляжу сквозь просвет в зарослях тростника и стараюсь рассмотреть его лицо. Глаза почти не видны под низкими бровями, а как поседели волосы и усы! Утреннее солнце мягким светом заливает и балкон, и лицо старика. Что-то грустное, печальное вижу я в его позе, в опущенных плечах, в наброшенной на них потертой телогрейке. Какая крепкая, молодецкая шея была у него, а теперь вроде бы обтаяла, утончилась, словно у старого орла. Где прежний мельник? Нет его! Нет его молодецкой

фигуры, лихо закрученных усов, громкого смеха. Я, сидя в тюрьме, ни разу не дал о себе знать. Лучше бы меня считали мертвым, чем делили мой позор... Знал ли он правду? Должно быть, знал, иначе не состарился бы так быстро, не уступил бы годам... Из низкой двери мельницы вышла Мария и глазами ищет кого-то. Увидев отца, показывает тугой мешок и говорит что-то и смеется. Шум воды заглушает ее слова. Не дождавшись ответа, она забросила мешок за спину и пошла по тропе. Вот она подходит к зарослям вербы, и я вижу, как губы ее сложились для свиста, а глаза озорно смеются. Все в ней возбуждает желание. Взглядом провожаю ее до поворота. Действительно ли она красива, или просто мне так кажется? Но вдруг эту мысль сменяет другая. «Мама! Где мама? Здорова ли? Почему не проводила Марию?» Не думая ни о чем другом, вскакиваю, готовый бежать на мельницу, но тут слышу покашливание отца, и это возвращает меня к реальности. Я снова ложусь, и глаза мои безотрывно следят за дверью. Мария не закрыла ее, и дверь болтается на одной петле. Если мама там, то она непременно выйдет, чтобы прикрыть ее. Она видеть не может дверь, похожую на перебитое крыло птицы. Где же она?

Отец в последний раз затягивается толстой самокруткой, осторожно просовывает ее между деревянными перилами балкона. Поворачивается лицом к болоту и долго вглядывается в даль, задумчивый, сосредоточенный; я вижу его профиль, резко очерченный, заостренный и вроде ссохшийся.

По всему видно, отец угасает, догорает, как его самокрутки, которых он выкурил вдоволь за свою жизнь. Вот он делает шаг, сгорбленная его фигура сливается с тенью. Он уходит. Глаза мои слезятся от напряжения, но я не перестаю всматриваться. Передо мной мир моего детства и моей молодости, и я не хочу упустить того, что могло бы меня обрадовать, отвлечь от мыслей о суровом завтрашнем дне. Но сколько я ни всматриваюсь в мой вчерашний мир, настоящей радости не ощущаю. Для меня все это — что перезревший одуванчик. Пришло, расцвело, улетело под свист ветра. Остался только корень, и он еле жив. Может быть, еще наберет силы, вскинет веселую шапочку. Может быть!.. Но какой-то голос внутри меня, наверное, голос злобы, ехидно вмешивается, насмехается над этим «может быть». Издевается и над искоркой надежды, над последним светлячком. Ах, этот голос, этот

злобный голос, спрятавшийся в самом темном уголке моего подсознания, до каких пор он будет мучить меня, до каких пор подстерегать? Разве мне мало Меченого и этого безымянного враждебного мира?..

«Что? Безымянный? — говорит голос.— Зачем ты обманываешь себя? Неужели ты не знаешь имен своих бывших товарищей? Они сейчас олицетворяют мир, от которого ты бежишь. Не будь наивным. И если ты себя обманываешь, то меня не пробуй, не пытайся, тебе говорю, иначе... Слышишь?..»

Сердце гулко бьется, голова горит от мыслей, разрывается грудь от нехватки воздуха. Обессиленный, падаю на землю...

— Эй, приятель, что ты?.. Не надо так!..

Меченый нагибается надо мной, но боится ко мне прикоснуться.

— Если ты каждый раз будешь так переживать, до чего ты дойдешь?

Слушаю его, а в голове крутится: «Смотри ты, пробует говорить по-человечески... Поддается воспитанию, но едва ли у него будет время стать другим...» Эта мысль заставляет меня подтянуться, собрать в кулак свои силы. Покажу ему, что я сильный, что я не какой-нибудь хлипкий интеллигентик. Лежу тихо, стараясь успокоиться. Из мельницы выходит отец. Он запирает дверь на ржавый замок, оглядывается и кладет ключ под черепицу над самой дверью. Отряхивает запорошенную мукой одежду, идет в село. Я смотрю, как он приближается ко мне, слышу его покашливание, а морщинки на его лбу растут в моих глазах, словно складки на бумажном фонаре. Кажется, он меня увидел, в его глазах вспыхивает удивление, вот-вот он шагнет в тростник... Но ничего такого не случается. Тропинка уводит его вверх, уводит, все дальше уводит от меня. Сначала скрываются из глаз его ноги, обутые в резиновые постолы, потом грубошерстные штаны, залатанная телогрейка и, наконец, потертая шапка. Его словно поглотил белый меловой холм. Я встаю и короткими перебежками устремляюсь к мельнице... Слышу за собой сдавленный, испуганный голос Меченого:

— Эй, что ты делаешь? Стой! Остановись, тебе говорят!..

Машу ему рукой, чтобы он заткнул себе рот. Я уже миновал тростниковые заросли. Вот и тропинка. Отсюда до мельницы каких-нибудь двадцать — тридцать метров,

стоит только перебежать поляну. Прикроют ли меня от посторонних взглядов кусты и заросли дикого винограда? Оглядываю эту пеструю живую стену. Листва поопала, но все-таки еще достаточно густа, чтобы прикрыть меня. Прислушиваюсь: вокруг тихо, и я в несколько прыжков пересекаю поляну. Поднимаю черепицу, и ключ у меня в руке. Может, я внушаю себе это, но мне кажется, что железо еще хранит теплоту отцовской ладони. Лихорадочно отпираю замок. Дверь с легким скрипом отворяется, ударяясь о внутреннюю стену. Переступаю, словно вор, порог собственного дома. Хочу сразу все увидеть, понять. Везде запустение. В углах белая от мучной пыли паутина, будто разорванные занавески болтаются тут и там. Мельничное колесо молчит. Несколько мешков лежат в углу. Большая деревянная ложка в коробе разломлена пополам. Миную рабочее помещение, иду в кухню, в горницу. И там тот же беспорядок. Портреты деда и бабушки, написанные бродячим художником, все так же висят над широкой кроватью. Густой слой пыли покрывает и его, едва можно различить глаза. Взять бы веник да убрать жилье, но нет, нет, надо спешить.

В шкафу хлеб. Я хватаю большой черствый каравай. Беру нож, широкий нож с костяной рукояткой, кладу в ножны, прячу под майку. Потом снимаю старое пальто, завязываю его рукав шпагатом и сую туда кусок сала. Я уже готов в дорогу. Прощально окидываю взглядом комнату, и пыль снова бросается в глаза, вызывает досаду. Где же мама? Подхожу к окну и тотчас отшатываюсь, объятый ужасом. На маленьком холмике торчит крест. Черная краска на нем еще не облупилась. Но земля над могилой уже улежалась... Хлеб выпал из моих рук, отлетел от стены. Машинально подхватываю его и иду к двери. Запер я дверь? Не помню. Иду через поляну, пошатываясь. Я чувствую себя стариком, настоящим стариком. Слышу чей-то крик, но слова не доходят до моего сознания. Там пусто, там ничего нет. Добираюсь до верб и бросаюсь на смятый тростник.

— Телок!.. Как ты мог наклюкаться так быстро? — шипит Меченый. — Я знал, что ты трус, но не знал, что ты пьяница...

Держа в правой руке пистолет, левой он выхватывает у меня хлеб, подозрительно ощупывая меня с ног до головы холодным взглядом. Вдруг тревога вспыхивает в его глазах.

— Что у тебя там? — Его взгляд прикован к моей куртке.

Когда я садился, майка задралась, открыв нож...

— Нож,— отвечаю машинально. Врать бессмысленно.

— А, значит, нож... Дай мне!..

— Иди возьми!..

— Дай... иначе!.. — И он нажимает на предохранитель пистолета.

Вытаскиваю нож и бросаю в сторону. Меченый нагибается, чтобы поднять его, но глаза его зорко следят за мной...

Мне не до разговоров, но я не могу сдержаться:

— Кажется, ты трусливей меня...

Сейчас он делает вид, что не слышит.

— А там что? — Палец его указывает на рукав пальто.

— Сало.

— Хорошо, что ты догадался.— Он заглядывает в рукав, и, убедившись, что я не обманываю, смягчается: — Ничего, поносишь и ты... Не одному же мне таскать груз.

Он еще что-то говорит, но я не слышу его слов. Крест стоит перед моими глазами. Черный, с белой надписью и высохшим букетиком поздних цветов. А может быть, не было цветов. Нет, были, были... Или не было... С цветами... без цветов... с цветами... без цветов... Глупая, надоедливая мысль. Словно цветы тут самое главное. Не сойти бы с ума. Вот цветы приближаются ко мне, нет, не цветы, а крест... Он шагает сквозь тростник, покачивается, ухмыляется. Я вскакиваю и бросаюсь ему навстречу с мучительным криком. Крест отшатывается, словно удивленный. Размахивается... и я чувствую, как падаю на землю. Когда я открываю глаза, солнце уже перевалило за полдень. Голова кружится, и боль, тупая боль над виском. Пытаюсь подняться, но сил не хватает. Рядом со мной сидит Меченый и курит в горсть.

— Это тебе урок. В другой раз не нападай на меня. Если бы я ударил тебя чуть пониже, сейчас ты уже стучался бы к святому Петру...— не спеша говорит он.

— Убирайся!..

— Придет время, и уберусь, но пока ты мне еще нужен.

— Тебе?

— Мне, мне... Ты же знаешь, когда вы готовились сбросить царя... я занимался совсем другим делом и на

науку у меня не оставалось времени... Даже географию не изучал. Разве мог я подумать, что она мне когда-нибудь понадобится...

— Зачем она тебе?

Меченый затаптывает окурок, глушит иронические нотки в голосе и говорит:

— Хочешь, поговорим, как человек с человеком? То, что ты меня ненавидишь,— да, ненавидишь, что ты терпеть меня не можешь — это я знаю. Но чего ты так безрассудно на меня наскакиваешь, не могу понять. Подумай трезво: и тебя преследуют и меня. У тебя смертный приговор, у меня еще нет, но если меня поймают, тоже не помилуют... Тогда зачем нам ссориться? Давай взвесим все как следует... Ты лучше меня знаешь эти места. Может, мы проберемся в Турцию? А если перейдем границу, тогда сам черт нам не брат. Каждый пойдет своей дорогой. Вот почему я заговорил с тобой о географии... Ну, что скажешь?

— Я подумаю...

— Подумай! Подумай, но не воображай, что я испугался тебя. Я не из пугливых. Многим людям я переломал кости и, если надо, снова займусь этим.

— Это я знаю...

— Знаю, что знаешь, но я потому тебе говорю, чтобы ты понял, что я думаю не только о себе, но и о тебе... Вот сейчас мог тебя прикончить, но не прикончил. Пожалел: молодой, красивый парень...

— Ладно, ладно...

— Как хочешь... но подумай...

— Я уже сказал тебе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я обещал подумать и думаю. Времени не много, но и не мало. До вечера он едва ли захочет узнать, что я решил. А к тому времени... к тому времени я должен изменить свою тактику. Силой ничего не добьешься. Он ведь прав: что стоит ему прикончить меня? Еще один удар рукояткой пистолета — и конец. Жил когда-то двадцатитрехлетний парень, запутался, попал между жерновами, и вот нет его. А то, что этот молодой человек был идеалистом, честным человеком и отчаянно ненавидел своего мучителя, едва ли кто узнает. Найдут его в трост-

нике или нет, вспомнят его добрым словом или не вспомнят... А хорошо бы, умирая, знать, что отомстил за свои страдания, за муки тех безымянных товарищей, которые погибли от рук вот этого скота... Поднимаю руку и нащупываю на голове место, куда ударил меня Меченый. Тупая боль от одного только прикосновения. На пальцах липкое. Значит, еще кровоточит. Оторвав лист вербы, приклеиваю к ранке. Меченый видит это и придвигается ко мне:

— Положить немного пепла от сигареты, а?

— Можно...

Он отклеивает листик, насыпает на него пепел и снова приклеивает.

— Странно, что это вдруг на тебя накатило...

Мне хочется закричать, что ничего странного в этом нет, но, сделав над собой огромное усилие, начинаю задуманную игру.

— Здорово ты меня припечатал...

— Это что... Были случаи...— Но, сообразив, что хвастаться этим не время, неуклюже изворачивается: — Были случаи, когда я не хотел бить, но что поделаешь — приходилось защищаться. А сейчас разве не то же самое...

Какой благородный! Мне так и хочется пнуть его в пах, чтобы он взревел быком. По правде сказать, разница между ним и быком не так уж велика. Плоский скошенный лоб, жесткие, зачесанные вперед волосы, толстая загоревшая шея и широкая спина. Попробуй, померься силами с таким бугаем. Хорошо, что умом не блещет, а то б мне ничего не оставалось, кроме как сбежать как-нибудь вечером, и пусть бы он сам разбирался в географии...

Да, надо действовать по-другому. Я опускаю глаза.

— Больно? — спрашивает мой «брат милосердия».

— А если бы тебя ударили с такой силой?..

— Пройдет... Главное, чтоб мы больше не ссорились...— В голосе его чувствуется самодовольство.

Слежу за ним сквозь опущенные ресницы: уродливая губа оттопырена, и в складке играет тонкая ухмылка. Не поймешь, когда он смеется... Шрам так безобразит его лицо, что тошно смотреть. Да и вообще — никогда б его не видеть! Но меня радует, что он легко поддается на похвалы. Для начала это не плохо...

— Перекусим.

Меченый придвигает рюкзак и мое пальто, нарезает сало и хлеб и сует мне в руку.

— Ешь, нас ждет тяжелая дорога.

Откусываю хлеб и перекашиваюсь от боли.

— Ты там у нас не то выдерживал, а тут от пустяковой раны корчишься.

Это «там» заставляет забыть боль, и я медленно жую хлеб. Чтобы отомстить за все, мне нужны силы. И за «там»... Я налегаю на хлеб, и это радует моего «благодетеля».

— Вот правильно!..

Потом он вдруг замолк и стал вглядываться в тропинку...

— Что?

— Тот старик возвращается. Нализался, еле дверь нащупал...

Отец пьяный!.. Столько я пережил сегодня, что у меня уже нет сил волноваться и удивляться... А может, это и к лучшему... Не заметит исчезновения хлеба и пальто. Но, как я ни пытаюсь утешить себя, что сегодняшнее пьянство отца мне на руку, чувствую, как на душе делается все муторнее. Боюсь и того внутреннего голоса, который в таких случаях любит меня изобличать, но сейчас он почему-то молчит. Убедил я его, что ли? Или пал так низко, что он исполнил свою угрозу: перестал меня уважать...

Зашло солнце. Сумерки легли на равнину легкой тенью. Черные вершины далеких гор четко вырисовались на фоне еще светлого неба. Меченый зашевелился.

— Ну, что скажешь?

— Ты прав. Что было, то было... Надо спасать шкуру, пока нас не поймали.

— Значит, здорово я придумал?

— Лучше некуда...

Я отозвался слишком торопливо, не так я думал вести себя, но он не заметил скрытой насмешки.

— Люди уйдут с поля, и мы тронемся...

— Как скажешь,— соглашаюсь я.

— Ты слушайся меня и не бойся. Я стреляный воробей.

Я промолчал: а вдруг скажу не в тон, и все мои усилия пойдут насмарку.

* * *

Вот уже два дня мы в пути. Точнее, две ночи. Днем мы отсиживаемся в лесу, где-нибудь около реки, или на холмах, в виноградниках. Нас больше устраивают убранные участки, где меньше вероятности встретиться с людьми. С едой у нас все еще не так дурно. Правда, хлеба уже мало, но сала пока хватает. Рукава моего пальто набиваем виноградом или поздними грушами-дичками. Я разыгрываю покорность и как бы не помню зла. Так я надеялся притупить бдительность Меченого, но после первого же ночного перехода моя надежда угасла.

— Ложись сюда! И от этого дерева ни на шаг! Понял?

— Понял!

Я лег, вновь охваченный отчаяньем. Так будет проходить ночь за ночью, и как бы не получилось, что я выведу его к границе живого и невредимого. Я поднимаю голову: может, удрать, пока он спит?.. Но разве я знаю, что он делает? Может быть, стоит за кустом и наблюдает за мной. Закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Точнее, упорно борюсь со сном, который мутит сознание, давит на веки, но какое-то предчувствие вынуждает меня бодрствовать... Так продолжается около полутора часов. И когда усталость и сон готовы взять верх, я все же улавливаю легкие шаги. Чуть приподняв веки, вижу, как подходит Меченый, останавливается возле меня и, убедившись, что я сплю, скрывается в лесу.

Это повторяется почти всегда, когда мы останавливаемся на отдых. Да, его не застанешь врасплох. Надо придумать что-нибудь другое. Смерть должна настичь его, когда мы будем стоять друг против друга и разговаривать. Но для этого необходимы оружие, сила и смелость... Что касается смелости,— я знаю, она у меня есть. Ее питает ненависть, желание мести. Но голыми руками!.. Если бы я мог добраться до его рюкзака, я постарался бы вытащить нож.

Мы собрались идти дальше, и я протягиваю руку к его рюкзаку.

— Давай я понесу... Ты же устал.

— Какая там усталость,— говорит он и закидывает рюкзак за спину.

Жду, не пойдет ли Меченый впереди, но он не спешит. Затем требует:

— Давай веди!..

Идем... И на этот раз не удалось обмануть его, а больше и не попробуешь — он окончательно усомнится в моих намерениях.

Остаются позади заснувшие села, вспаханные поля, далекие огни. Переходим вброд маленькие речки, переваливаем покатые гряды холмов. Дни тянутся однообразно. Хлеб кончается, а нашему походу не видно конца. Я нарочно вожу его по кругу, удлиняю переходы. Мы давно могли быть в горах Странджи, но я не спешу. Меченый нервничает:

— Кто бы знал, что Болгария такая большая...

— Еще немного,— успокаиваю я его.

Я вижу, как с каждым днем страх и бессонница подрывают его силы. Темные круги легли у него под глазами. Он шагает за мной, и я иной раз замечаю, как он засыпает на ходу, будто уставшая лошадь. Но стоит мне замедлить шаг, как он тотчас приходит в себя.

Мне удалось в рукав пальто засунуть острый ребристый камень, поверх я насыпал дикие груши. В долгом пути упорно изучаю привычки агента. Как только мы останавливаемся на отдых, он садится лицом ко мне, осматривает место и, как хозяин, приказывает:

— Ну-ка, сбегай, набери груш.

Я ходил неохотно и постепенно стал понимать его хитрость. Пока я хожу, он отдыхает, даже успевает подремать. Странная дремота напуганного кабана. Что касается меня, то я использую привалы самым рациональным образом. Сплю как убитый и, пока меня не разбудит мой сопровождающий, не встаю. Это действует ему на нервы, но он бессилен что-либо изменить. Кто его понуждает вечно бодрствовать? А мне сон нужен. Мне нужны силы для его смерти...

Луна прилипла, как тлеющая сигарета, к черным губам громадной тучи. Идем по буковому лесу, в стороне бежит речка. Большие камни мешают идти, путаются в ногах. Рана на голове перестала болеть. Шаг мой легок. Молодость и партизанские навыки заметно сказываются. Зато спутник мой сдает. Бессонница измотала его, да и годы не сбросишь со счетов. Спотыкаясь о камни, он приглушенно ругается. Сидячая жизнь дает себя знать: он задыхается. Не идет, а почти ползет. Ноги его в ранах, грубые ботинки натерли мозоли.

— Отдохнем немного.
— Твоя воля...
Садимся. Он дышит тяжело, прерывисто.
— Далеко еще?
— Не так чтобы... Завтра вечером будем на той стороне.
Это его успокаивает.
— Я уж подумал, что дороге не будет конца.
— Ты вроде устал?..
— Чего врать — устал. Я не привык, как ты, карабкаться по камням. И если бы меня не обезобразил в свое время один из ваших, я не тащился бы сейчас, как побитая собака...
— А какая связь между тем и другим?
— Есть, есть... Знаешь, каким красавцем я был, когда работал в тайной полиции? Девки липли ко мне, как мухи к меду. Но дьявол не сидит без дела...
Он готов рассказывать еще и еще, только бы я не напомнил, что пора идти... Ладно. Подожду.
— Так что сделал дьявол?
— Был у меня на службе один приятель, с ним мы каждый вечер ходили в тюрьму развивать мускулы. Ворвемся в камеру, схватим какого-нибудь «товарища» и массажируем его до утра. Как-то вечером попался нам один горец. Его только что привезли, на нем еще звенела цепь. А какая цепь была! Громадная! Должно быть, сняли с деревенского быка. Вытащили мы его и начали обрабатывать. А он вырвался и так хрястнул меня этой цепью по лицу, что чуть не развалил надвое. Рану мне зашили, но я уже не годился для тайной полиции. Я стал меченый, и ваши люди легко меня узнавали. Одним словом: провалился. Пропала моя карьера. Потом меня перебросили в тюрьму... Там я хоть отомстил... Но что тебе рассказывать, ты и сам знаешь...
Да, я знаю: прошел через его узловатые руки, сквозь его злобу. Испытал ее. Страшный гнев поднимается во мне, я задыхаюсь. Еще немного, и все, чего я достиг хитростью, пойдет прахом. Сжимаю зубы и вглядываюсь во мрак, жду продолжения рассказа. И он продолжает:
— А во внутренней службе, в тюрьме, было недурно: женщины, жратва, выпивка... Плохо было только, что жили мы, как камни, на одном месте. Я только сейчас это начал понимать. Вроде бы сильный, а задыхаюсь...

Поднимаюсь и сквозь зубы цежу:
— Пошли...
— Раз пора...

Гнев придает мне силы. Сбегаю по склону, как коза. Меченый спотыкается, пыхтит, но старается не отстать. Хочу уморить его быстрой ходьбой. Через некоторое время слышу его голос:

— Давай отдохнем, что-то ноги у меня...
— Какой может быть отдых! Тут пограничная зона...
— А-а...

Я решил вывести его на самый хребет. Он торчит перед нами, как бы подпирая небо. Когда мы его перевалили, начало светать. Устали мы оба, но мой спутник устал куда сильнее: он выложился до конца. Опустившись на плоский камень, он кладет пистолет рядом с собой и начинает разуваться. Я стою перед ним, но не смею приблизиться.

— Хочешь груш?
— А, груш? Положи сюда,— устало выдыхает он, не глядя на меня.

Я приближаюсь, стискивая в рукаве камень. Голова его почти упирается мне в живот. Я не кладу ему груш, нет. Я размахиваюсь и что есть сил ударяю его камнем в висок. Меченый откидывается назад, левая нога его отталкивает пистолет, и я наступаю на него...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я в родном доме, на старой мельнице. Точнее, возле нее, так как убежище, в котором я живу, чуть поодаль, около маминой могилы. Тесный проход из него ведет на кухню. Оттуда часто приходит отец. Он садится около моей узкой койки и курит толстые самокрутки.

Керосиновая лампа освещает сырую землянку, ее свет колеблется, скользит по озабоченному лицу, по серебряным усам и голове отца. Он состарился еще больше после того, как я пришел. А как я пришел сюда? Напрягаю измученный мозг, стараясь припомнить, но все мое недавнее прошлое словно в тумане. Правда, приходят мгновения, когда странный ветер разрывает туман и в моем сознании возникают картины пройденного пути. Вижу, как рука моя тянется к оброненному Меченым пистолету, как поднимает его и как тяжелое железо доканчивает работу

камня. С последним ударом уходят и мои силы. До тех пор что-то поддерживало меня, жизнь имела смысл. Я жил надеждой отомстить за себя и за товарищей. Жгучая ненависть давала мне силы, но вот агент лежит мертвый, и все потеряло смысл. Я чувствую себя тяжелым, как камень, камень, который никогда не сдвинется с места. Не отрываю взгляда от Меченого. Зеленая муха ползет по его лицу. Смерть совершает осмотр жертвы, принимает его душу. И тут холодная дрожь проходит по моему телу. Ужас сжимает сердце. Пытаюсь оторваться от этого плоского камня, убежать, но сил нет. Наконец откатываюсь на метр, и, падая, засыпаю у ног мертвеца. Все остальное — как в кошмарном сне. Вспоминаю, как инстинктивно шел я назад, не шел, а тащился, словно побитая собака. Вспоминаю какую-то сумку, которая висела надо мной. Она висела на высокой ветке бука, на опушке густого лесочка. Отсюда начиналось поле. Голос крестьянина, погоняющего волов, движется с одного его конца до другого.

Я стараюсь раскачать дерево, но сил не хватает. Сумка висит, как черная капля. Я не спускаю с нее глаз. Сознание во мне еле теплится. Стою, как та лисица под виноградной лозой, и мучительно сглатываю слюну. Ползком возвращаюсь в лес. К ногам цепляется отломленная сухая ветка. Подбираю ее — и снова к дереву. Наконец сумка падает на землю. Хватаю ее, боюсь, как бы она не исчезла, не ожила и не сбежала. Вешаю ее на шею и взбираюсь по лесистому склону, медленно, словно черепаха. К полудню я поднимаюсь на кручу. Оглядываюсь, обнимаю сумку и скатываюсь вниз. Тут тихое место, и ветер намел листву, она и спасла меня от удара. Миновал лесок, притуливаюсь под скалой. Дожди вымыли в ней маленькую пещеру. Вползаю ногами вперед в тесную дыру и открываю сумку. Мне хочется съесть все сразу, но благоразумие останавливает меня — сказались партизанские привычки. Поел немного, совсем немного и попытался заснуть, но то, что у меня есть хлеб и брынза, не дает мне покоя. Кажется, кошки рвут когтями мой желудок.

Я голоден, страшно голоден. Стараюсь не глядеть на сумку. И все же, куда бы я ни повернулся, взгляд натыкается на нее, рука тянется к хлебу. Отламываю маленький кусочек и по крошке бросаю в рот. Это отвлекает мое

внимание от сумки... И вскоре засыпаю. Сон стирает мое представление о времени. Просыпаюсь и не могу понять, где я... Темно. Сырые косматые тучки гусеницами ползут по небу. Между ними остро лучатся холодные звезды. Хватаюсь за спасительную сумку и снова ем. Потом спускаюсь к маленькой речке. Пью. И не могу вспомнить, когда я ее перешел и была ли она вообще. Останавливаюсь у пещеры и вглядываюсь в темноту. Нет, я не переходил речку. Я спустился с противоположного холма. Смотрю вверх. Ищу на небе Полярную звезду. Она низко, совсем низко. Кладу камень в сторону севера и снова залезаю в пещеру. Сплю, словно медведь в берлоге. Просыпаюсь снова ночью. Не знаю, та это ночь или уже другая. Ухожу. Меня охватывает чувство одиночества. Чтобы отвлечься, стараюсь вспомнить, куда подевались рюкзак и пистолет Меченого. Когда я был у дерева с сумкой, рюкзака и пистолета уже при мне не было. А, да, я постепенно расставался с ними. Сначала я забросил рюкзак, потом пистолет. Вспоминаю, как что-то положил во внутренний карман пиджака вместе с документами мертвеца. Нахожу в кармане мешочек. Он сделан из бараньей мошны и имеет ту же форму. Только кнопка приделана. Ощупываю: что же за содержимое в нем? Чуть было не забросил, но любопытство победило. В проем между туч выглянула луна, и я открываю мешочек. На ладонь сыплются золотые коронки с человеческих зубов. В некоторых еще сохранились потемневшие корни. Рука моя дрожит, и золотые зубы сыплются на палую листву. Объятый ужасом, бросаю мешочек в ручей, засовываю документы Меченого под камень и бегу. Только бы подальше от этого места. Гнев перемешался во мне со страхом. Гнев против мертвого и страх за собственную жизнь. Если бы меня поймали с документами Меченого и с его богатством, никто не поверил бы моим объяснениям. Конец, точка. И хотя я не боюсь смерти, но нет ничего страшнее, чем умереть под именем палача, ответчиком за его грехи...

Дальше ничего особенного не произошло.

Помню только, что начались дожди и что идти было трудно, но я радовался дождю: в полях ни одного человека. Как я добрался до мельницы, где меня нашел отец, не помню. Да и он не хочет рассказать мне об этом. Только однажды, когда сильно рассердился на меня, бросил:

— Нелегко на одном и том же месте раз встретить родного сына как героя, а второй раз как жалкого бродягу...

Из этих слов я понял, что он нашел меня возле верб.

Несчастье! Кончились листы толстой тетради. Подожду, когда отец принесет мне новую. Вот уж месяц, как я в землянке. За это время я и записал все. Чужие глаза никогда не заглянут в мои записки, но что мне еще делать длинной — в месяц длиной — ночью, как не писать. Ведь надо же что-нибудь делать...

15.XII.1944 г.
Землянка

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отсырел стол, одежда, казалось, и мое тело все пропиталось влагой. Керосиновая лампа бросает тусклый свет на стены землянки. Пахнет прелью, влажной землей. Воздух тяжелый. Задыхаюсь...

Беру вторую тетрадь с моими многолетними записками, и пальцы с раздутыми от ревматизма суставами с трудом сжимают карандаш. Пишу мучительно, словно собственный приговор. Так оно и есть: в этой одной строчке заключена моя дальнейшая судьба. Поправляю очки и, как столетний старец, вглядываюсь в кривые буквы. Смысл написанного мной предложения беспощадно ясен. Я обдумывал его целые годы. Но сейчас, не знаю почему, хочу его услышать. Я произношу по слогам:

— Я решил сдаться.

Не узнаю своего голоса. Он глухой, будто мои голосовые связки распухли или ослабли. Меня охватывает страх не от смысла решения, а от звука моего голоса. Мне кажется, что в землянке есть кто-то еще. Этот другой заглядывает через мое плечо и загробным голосом читает мою последнюю мысль. Оборачиваюсь. Тень моя тоже оборачивается. Она ломается в углу, лезет на потолок. Сжимаю карандаш и ставлю дату: первое мая тысяча девятьсот пятидесятого года.

С этого дня я должен или начать жить, как люди, или умереть. Достаточно с меня шести лет, прожитых под землей. Больше не могу.

Беру тетрадь с записями и открываю первую страницу... Крупные, круглые буквы складываются в ровные строчки. Это говорит о том, что когда-то у меня еще было терпение, что всякое начало бывает освещено надеждой,

хотя мысли мои были безнадежны... и печальны... Вот — один путь и одна жизнь, запертые в подземную гробницу, с лампой и тетрадкой. Я читаю записи, чтобы снова пройти этот путь, прежде чем выйти на белый свет...

«...Вот уже месяц, как я в землянке, в холмике, где могила мамы. Землянка жмется к самой стене мельницы. Когда-то ее выкопали как убежище для партизан. Сейчас в нее можно пройти только из кухни, и я спокоен. У меня есть столик, керосиновая лампа и хлеб. Хлеб я положил перед собой, чтобы можно было увидеть его в любую минуту, чтобы он насыщал и глаз и душу...»

Кладу ладонь на тетрадочный лист, и какое-то подобие улыбки искривляет мое лицо. Я, правда, не вижу своей улыбки, но я ее чувствую. Каким наивным я был шесть лет назад! Какой это человек может жить одним только хлебом? Где он, как увидеть его? Покажите: вот он! Искалеченная ревматизмом рука хватает карандаш, чтобы зачеркнуть написанную глупость, но тот тайный голос, молчавший во мне долгое время, вдруг заговаривает:

— Почему ты отрекаешься от себя? Боишься, что по этим записям, когда ты сдашься, твои бывшие товарищи поймут, с какой радостью ты залез в этот гроб? Не спеши зачеркивать, дружок. Эх, если бы это было самой большой твоей ошибкой!.. Оставь, не тронь...

И я кладу карандаш.

Подслеповатые глаза мои скользят вниз по рядам строчек.

«...Впервые испытываю что-то, подобное радости. Нет дождей. Нет необходимости куда-то идти. Нет неизвестности...»

Останавливаюсь и вновь берусь за карандаш, но внутренний голос стережет:

— Ведь мы же условились...

Втыкаю карандаш в стену, пусть будет подальше от меня, и снова берусь за страницы.

«...Вчера я кончил первую часть своей одиссеи. Отец принес новую тетрадку в клеточку, толщиной в палец. Она напоминает мне школьные годы. Мою первую учительницу и весенние дни, когда мы ходили за фиалками в рощу за селом. Фиолетовые цветочки глядели из-под кустиков, и мне было жалко их рвать.

— Почему у тебя нет букета? — спросила меня учительница.

Я неопределенно пожал плечами.

— Ты не любишь цветы?

— Я их люблю!

— А почему тогда не собираешь?

— Пусть себе растут!

Она взглянула на меня удивленно... Сколько людей после этого смотрели на меня удивленно! Одни удивлялись моим хорошим поступкам, другие — плохим. Где ты, моя первая учительница? Почему не научила меня большому искусству — не удивлять людей, не преподносить им неожиданности. Особенно когда речь идет о плохом. Никто не сумел научить меня этому... Даже жизнь. Она первая преподнесла мне неожиданность, горькую неожиданность. В ее мельничных жерновах я — зерно, которое стремится сохранить себя.

Сохранюсь ли? Кто знает...

Появится лопата мельника и подтолкнет меня, сунет между жерновами... Грустная перспектива грустного человека, у которого впереди нет дороги...

А что такое дорога? Пост? Власть? Богатство? Нет, у человека только тогда может быть дорога, когда он честен... Без честности у него могут быть взлеты и падения, настоящей дороги не будет».

Вдруг что-то всколыхнуло мое сердце. Это голос моего внутреннего спутника:

— Эгей, друг, тут ты, пожалуй, попал в точку... А тебе не кажется? В теории ты нащупал это верно, но на практике... ох, уж эта практика...

Намек меня раздражает. Верно, на практике не всегда получается так, как хочешь, но кто виноват? Неужели мне не хотелось жить честно, без утомительных бессонных ночей, без метаний мысли по бескрайним дорогам человеческого отчаянья? Неужели в молодости каждый не мечтает прожить жизнь идеального героя романов? Но дорога наша не всегда чиста. Там ложь и деньги. С ними мы бы все-таки как-нибудь справились, но когда насилие поднимает свой тяжелый кулак, не каждый может выдержать...

— Но почему ты отделяешь насилие от человека? — отзывается голос.— Разве он не носит его образ?.. И ты, когда взял в руки винтовку, разве не позвал насилие в свои спутники?

— Ошибаешься, дорогой друг, я на борьбу с насилием позвал свою веру. Лично надо мной насилие восторжествовало, но, в общем, победила вера.

— А ты веришь, что это так?

— Верю!

— Странно. Если бы я не чувствовал твоей убежденности, я бы подумал, что ты страшный демагог...

— Но что тебе дает право так думать?

— Что? И ты еще спрашиваешь... Все! И эта сырая землянка, и твое бескрылое будущее... Все! Зачем ты живешь? Чего ждешь?

— Чего? Правды! Правды, которая скажет мне однажды: ты не виноват.

— А ты думаешь, что ты не виноват?

— Думаю.

— И ты думаешь, что из-за твоих признаний никто не погиб?

— Думаю.

— И тот убитый, Митё?

— И он.

— Тогда почему ты не выйдешь и не докажешь это?

— Не могу.

— Странная логика,— вздрагивает голос.— Не понимаю, на что ты надеешься. Кто тебе сможет помочь?

— Время.

Этот диалог с самим собой утомил меня. Дрожащей рукой вытираю вспотевший лоб. Хоть бы заплакать, чтобы облегчить душу. Опускаю голову на раскрытую тетрадь. Сетка клеточек вырастает передо мной, словно железная решетка. За ней, где-то вдали, течет пестрая жизнь, разнообразная, напряженная, а тут — могила, где зарыто страдание... Человеческое страдание.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мельница работает. Крутится колесо, бормочет что-то непонятное... Мужики курят в тесной кухне, курят и разговаривают о деревенских делах. Иногда я подбираюсь к самому лазу, прижимаюсь к стене и слушаю их тревожные разговоры, а порой соленые шутки. Слышу, как поминают имена моих вчерашних товарищей, одних — доб-

рым словом, других — с едва прикрытой ненавистью. В такие мгновения тесная землянка и на самом деле тесна мне. На меня наваливается тоска. Так бы и вышел к людям, вдыхал бы запах перегорелого трута, смеялся во все горло, ругался, громко и вольно, как и они...

По голосам стараюсь узнать крестьян, но каждый вечер приходят другие мукомолы, и различить голоса трудно. Разгадал я только деда Добри, Горуна Хромого, который через слово повторяет «значит», и Ивана Копчика с его хриплым голосом. Они, одногодки отца,— частые посетители мельницы. Таскаются по делу и без дела. И разговоры их, как прожитые ими годы, пестры и разнообразны, в них — все наше село, со всеми переменами, заботами, сплетнями. Иногда заходит Иван Паунов — новый староста. Он мой давнишний приятель, бывший партизан. Он садится рядом с отцом, и разговоры их вертятся вокруг полевых работ. Справится ли народ с бедностью? Оправдает ли надежды их новый трактор? Уйдут гости, и отец три раза стукнет по крышке лаза,— наш условный сигнал. Тогда я выхожу подышать свежим воздухом, взглянуть в окошко на мир. Обычно это бывает ночью. Я стою у занавески и смотрю на улицу. Поле перед домом светится свежим снегом. Красная луна висит над белым холмом, над запрудой, над вербами, разукрашенными инеем.

Возвращаюсь в темную землянку, унося с собой эти редкие счастливые минуты. Они вбирают в себя и веселое кружение снежинок, и блеск льда на замерзшем ручейке, и одинокие деревья, обсыпанные снегом. Первое время свежесть впечатлений от увиденного долго гостит в моей землянке, но постепенно я стал выходить наверх все реже. Причина этого не одна. И сборища крестьян, и ночевки охотников, допоздна засиживающихся в тростнике в ожидании дичи, и многое другое, в том числе — мое собственное желание. После каждой такой вылазки я возвращаюсь в землянку удрученный. Там, на свету, уже одна мысль о том, что я вновь должен вернуться во тьму своей сырой норы, заставляет меня нервничать. Чтобы избавиться от постоянного насилия над собой, я стараюсь заняться записями или чтением при слабом свете лампы. Это не нравится отцу.

— До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает он.

— Что?
— Да это прозябание...
— До весны, — успокаиваю я его.
— Нехорошо это...

Я и сам понимаю, что нехорошо, но ничего не поделаешь. Под землей во мне проснулась давнишняя страсть: чтение. Отцу приходилось туго. Он просто терялся, не зная, где доставать мне книги. В два счета можно вызвать подозрение своим запоздалым книголюбием, да и книг в сельской библиотеке мало. И не всегда они стоят на полке. Наконец, многотомные приключения капитана Дрейфуса на некоторое время избавили его от терзаний. Я читал, а он тем временем беседовал с друзьями-одногодками, которые зачастили к нему. Они допоздна засиживаются в теплой кухоньке и вспоминают все больше свои молодые годы.

В этих разговорах дед Добри — главный герой. Он рассказывает о своих давних похождениях, о какой-нибудь молодухе, о тайных свиданиях с нею. В таких случаях я оставляю книги, какими бы увлекательными они ни были, и приникаю к крышке лаза. С особым интересом слушаю я комментарии стариков после того, как дед Добри уходит.

— Помнишь, как за ним Гиндиха с галошей гналась? — гогочет Копчик.
— Каждый сходит с ума по-своему,— отрезает отец.
— А ум, значит, до времени работает, значит, как и то дело, значит,— вновь обобщает Хромой.

Эти комментарии заставляют меня улыбаться, и это единственные в моей жизни веселые минуты. Я ждал их, они были точно лучи солнца в моей темнице...

Спустившись к себе, спешу занести услышанное в свою тетрадку. Записывая, я вторично переживаю приятные минуты, и тогда я забываю, что в метре-двух от меня лежит мама. Единственная женщина, которая любила меня по-настоящему и которая до последнего своего часа думала обо мне. На смертном ложе своем она не забыла наказать, чтобы ее похоронили тут, рядом с мельницей.

— Нельзя,— сказал священник.
— Можно или нельзя — я хочу здесь! — настояла мать.— Пусть сын, когда вернется, поймет, что я жду его.

А ты,— повернулась она к отцу,— всегда клади ключ на условное место...

Об этом мне однажды рассказал отец. Рассказал с болью в голосе, с укором глядя на меня.

— Она хотела быть ближе к тебе, но никогда не предполагала, что ваше соседство будет таким...

— Как будто я этого хотел, отец...

Он приподнял голову, и две слезы на его щеках блеснули при скудном свете моего светильника.

— Раз так получилось, будем терпеть...

Эта смиренность отца тронула меня. Когда он ушел, я накрылся с головой одеялом и долго плакал. Это были слезы жалости к самому себе, и к отцу, и тоска по маме. Я чувствовал себя обманутым. Но кто обманщик, я не знал. Знал только, что я несчастен... Из-за сырости и спертого воздуха мною стала овладевать странная сонливость... Лежу и не могу встать. Едва поднимаю веки. Даже после больших усилий движения у меня все равно ленивые, вялые.

Это пугает меня. Осматриваю на свету свои руки — они словно бумажные. Отец тоже замечает эту перемену и беспокоится. Под разными предлогами он все чаще закрывает мельницу, и я поднимаюсь наверх. Подолгу стою у маленького окошечка, выходящего в сторону холма, и жадно вдыхаю запахи талой земли и распустившихся на деревьях почек. На припеке солнце греет по-весеннему. На маминой могиле первые подснежники кивают своими белыми колокольчиками. Зеленая травка, густая, будто щетка, пробивает тонкий слой прошлогодней листвы.

Смотрю на эту вечную жизнь, и мысль моя возвращается к самому себе. Я, наверное, похож на росток, который потерял направление. Вместо того чтобы пробиваться к свету, пошел в обратную сторону, туда, где темно и откуда непросто выбраться. Гаснет мое светлое настроение, на душе делается смутно.

Весна пришла и в мою землянку. Она пришла вместе с набухшими почками на ветках вербы, ее принес мне отец. Не помню, чтобы в детстве случалось такое: отец никогда не приносил мне ни цветов, ни веток вербы. Значит, он считает, что я беспомощнее ребенка. А чему тут удивляться? Это так и есть. Ребенок может удрать из

дому, переходить вброд ручейки, может убежать в поле, где распустились крокусы, следить за полетом птиц и орать во все горло веселую бессмыслицу при появлении первых аистов.

Сколько раз и я приветствовал криком стаи аистов! И сейчас этот крик рвется из моего горла, но я не могу... не смею...

И еще кое-что принесла мне весна. Влагу... Сначала отсырела левая стена. Наверху земля оттаяла, и вода старается укрыться от света. Так же, как я. Я сочувствую ей, но не могу помочь. Она становится одним из самых страшных моих врагов. Мне придется сражаться с ней. Влага напоминает мне о партизанских землянках в горах. Там мы делали специальную облицовку, утрамбовывали землю. Каждый советовал, как сделать лучше. И рождались новые способы защиты от воды. А сейчас ничего, почти ничего я не могу ни придумать, ни сделать.

— Как-нибудь надо будет перевести тебя на чердак и подправить землянку,— говорит отец.

Я знаю, что он это сделает. Знаю, но от этого моя могила не станет светлее. А я все теряю и теряю силы. Что-то странное происходит и с моими глазами. Они все чаще побаливают. Прежде чем подняться наверх, приучаю их к свету, подолгу гляжу на лампу... Поможет ли мне эта уловка?

Нет, лучше думать о чем-нибудь другом. Я лежу на спине и представляю себе, как оживает болото, сбрасывая последние льдинки. Болото наливается водой осенью, когда река набухает от дождей и вода, выйдя из берегов, враждебная и мутная, затопляет все вокруг. Достигнув меловых холмов, она устало затихает. Весной по краям болота пробивается осока, тростник там и тут прокалывает зеркало воды и размахивает на ветру тонкими стеблями. Дальше поднимается рогоз, и в топи начинается жизнь, полная жужжания стрекоз, гудения комаров, кваканья лягушек. А сколько птиц находит приют в тростнике! Там они гнездятся, высиживают птенцов, там вся их жизнь. Мне особенно нравится черная птица, которая издает звук, подобный кошачьему мяуканью. Как она называется? Не знаю. Мы называем ее «котенок». Сейчас ее «мяуканье», наверное, звучит над тростником, как в те дни, когда я ходил на нее смотреть и восхищался ее полетом. Она, как прежде, будет выращивать потомство, и

голос ее полетит над болотом. Но меня там не будет, хотя я всего в нескольких метрах от ее гнезда...

По цветам, которые мне приносит отец, я узнаю, что весна в зрелой своей силе. Вместе с цветами он приносит и новости. Я уже знаю об организации в селе кооперативного хозяйства, знаю, как прошел первый свободный Первомай. Знаю о страшных боях и о том, что Германия капитулировала. Сейчас я лежал бы, быть может, где-нибудь на берегу Дравы, над моей могилой зеленела бы чужая трава... А теперь надо мной даже трава не растет. Но хватит себя оплакивать! Если я не смог умереть достойно, кто же виноват. Отец говорит, что кооператив назвали именем нашего политкомиссара. Он погиб за несколько недель до того, как меня поймали, но он продолжает жить. Брат, я преклоняюсь перед твоим подвигом, преклоняюсь я, твой несчастный... Останавливаю себя: могу ли я назвать его товарищем? Не кощунство ли это? Не обижу ли я его?

Если бы он остался жив и меня бы поймали партизаны, может быть, он сам захотел бы исполнить приговор, чтобы стереть все то, что нас связывало... Он из тех, кто не признает никаких компромиссов, когда речь идет об идее...

В стакане на моем хромоногом столе стоит колосок пшеницы. Крупный свежий лист запеленал свое дитя и хранит его. На этот раз отец принес его не по своему выбору. Я сам выпросил его. Да, «выпросил» — это точное слово. Чувство вины перед отцом растет во мне с каждым днем. Я — трутень, который ничего не дает, а только превращает в полынь его годы, его старость. Знаю, все, что он делает для меня, выше его сил. Я сильный и здоровый, пришедший в этот мир, чтобы быть отцу опорой на старости лет, — сижу у него на шее. Понуждаю его исполнять мои капризы...

Но о колоске я мечтал неотступно. Словно без него представление о весне было бы неполным, не хватало бы самого главного в ней.

Но только ли в этом было дело? Нет, было и другое, что я понял из слов отца...

— Колос? — сказал он. Посмотрел на меня.— Твои муки не убили в тебе крестьянина... Крепкий корень у нас, крестьян. Я приносил цветы, чтобы обрадовать тебя, а ты — колос просишь. На надежду крестьянскую хочешь взглянуть, ей порадоваться...

В этот вечер у отца вновь собрались его однолетки. Знаю, им грустно. Умер дед Добри. Из разговора узнаю, что он остался верен себе: его нашли на сеновале под высокой балкой; оказывается, он свалился с нее, когда наблюдал за соседкой, принимавшей солнечные ванны.

— Значит, на своем посту умер, значит, — не забыл обобщить Хромой.

С этой смертью, может быть, умерла и моя последняя улыбка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Боюсь выйти из подземелья, боюсь посмотреться в зеркало, боюсь за свою жизнь, боюсь подумать о завтрашнем дне...

Боюсь...

— Люди, я боюсь!

Внутренний голос, мой спорщик, не выдержал, заговорил. Сейчас он желчный.

— Эх, друг, оставь людей, пусть занимаются своими делами. Какое им дело, что ты боишься... Надо было думать раньше, а не сейчас. Вылезай из своей дыры, прислушайся к звукам жизни.

Что ему ответить? Он прав. Напрасно лишь уговаривает меня вылезти из дыры. Я и сам готов вылезти, но она не пускает. Она держит меня в своих объятиях, словно молодайка. Скоро исполнится три года с тех пор, как я повенчался с ней, и поэтому она такая ревнивая. От ее ревности за это время стали еще глубже морщины на моем лбу, голова поседела.

Беру зеркало.

Я ли это?

Испуганные глаза в отечных мешках под нахмуренными бровями, опухшие щеки, морщинистый лоб, кожа серовато-синего цвета...

Нет, это не я. Я был веселым парнем, который любил птиц и людей, пел народные песни и носил в колодцах своих глаз наивную доверчивость, а в сердце своем — большую веру...

— Не ожидал, что ты сам придешь к ней,— отзывается во мне голос.— Не странно ли при твоем положении говорить о вере?

— Смешное обвинение! Та вера, о которой я говорю, не может быть чьей-то монополией. Она рождена побеждать,

направлять тот трактор, который получил кооператив, она ведет по дороге тяжелые машины, она поет.

Я много думал о ней. В разном обличье возникала она в моем воображении, но чаще всего как огромная виноградная гроздь. Прекрасная зрелая гроздь. Но одна из ягод в ней подпортилась. Начала гнить. Ее надо выкинуть. Приходит виноградарь и отрезает ее. Маленькой ягодки уже нет. Она выброшена, как ненужная. Она страдает, она мучается. И пусть мучается. Хорошо, что гроздь здорова, она сверкает, радует глаз, восхищает своей красотой и свежестью...

— Тайный друг, не заставляй меня опять жалеть самого себя. Я ведь только маленькая ягодка. Я грущу, страдаю о большой грозди... Только глупцы не могут понять этого.

— Благодарю за комплимент. Прощай... Раз ты такой умный, я оставляю тебя одного,— отрезает голос.

Мне хочется окликнуть его, остановить, но я опускаю голову на стол и думаю: теперь я уже совсем один...

Вздрагиваю от шагов отца. Они тихие, неуверенные. Он садится на кровать, и взгляд его упирается куда-то в угол. Я понимаю, он хочет что-то сказать мне, но не решается. Жду. Наконец рука его опускается мне на плечо.

— Хочу, сынок, поговорить... По-мужски. Смотрю на тебя... Или, признаться, боюсь на тебя смотреть... Постарел ты. Живым похоронил себя. В деревне и без того говорят, что ты убежал за границу, почему бы тебе не сделать это? Хоть там заживешь как человек.

Смотрю на него и не знаю, что ответить. Тяжело мне, но и ему нелегко. Три года ухаживать за смертником...

— Подумаю,— отвечаю я.

Отец молчит. Поднимается и уходит. Слышу, как он тяжело вздыхает. Поправляет доску у входа в лаз и снова все тихо. И я опять остаюсь наедине с собой — сижу, нахмурив брови, сжав кулаки, совсем один. И, кажется, только сейчас до меня доходит совет отца. Во мне вскипает злость: хочется буйствовать, ломать, орать... Нет, никуда я не уйду! Я коммунист, у меня есть земля, есть родина. Может, я умру, но тут, в этой земле, рядом с шумом жерновов, под тенью верб. Тут, где мои товарищи строят

жизнь, которая когда-то рождалась в наших партизанских мечтах! Пусть считают меня предателем, пусть каждый откажется от меня, пусть меня забудут, но я останусь травкой на этом поле, камешком в родной земле, посеянной, хотя и не давшей плодов, надеждой... Нет, никуда я не уйду!!! Эти слова проходят сквозь мое сердце. После них, как после вихрем промчавшегося эскадрона, остается только белый пыльный след. Когда он рассеивается, в голове как-то сразу пустеет. В ней, словно в чисто выметенном амбаре. Появилась бы хоть одна мысль, побежала бы резво, как испуганная мышь... Ничего... Ничего... Растягиваюсь на кровати и тону в тумане воспоминаний. Однажды командир отряда Радан рассказывал нам такой случай.

Обнаружила его полиция и начала преследовать. С обеих сторон каменные стены ущелья. Подняться вверх нечего и думать. Впереди, у выхода из ущелья, слышатся выстрелы. Позади — тоже. Полицейские не тревожатся, зная, что ему некуда деться. Уже слышно рычание крупной, сытой овчарки. Еще немного, и она нагонит его. Тогда командир подходит к каменной стене и взбирается на нее. Как он взобрался, знает один черт. Поднялся на вершину, с облегчением заметил, что собака скулит у подножья скалы, не может взобраться... Этот его рассказ всегда заканчивался одними и теми же словами:

— Ребята, поймите одно: человек не знает своих сил. Приходит момент, когда он понимает, что может совершить необыкновенное, и удивляется сам себе.

Странно, но сейчас эпизод этот не действует на меня ободряюще, как бывало раньше. Я однажды уже проверил свои силы, когда попал в руки палачей... Мои силы не вызывали моего удивления... Я удивляюсь лишь своему терпению и терпению отца. Но терпение отца уже кончилось, а мое? Оно переросло в обреченность, в бессилие, и это медленно убивает меня. Прежние волнения приходят все реже. Наступает какое-то отупение...

Зима вновь стоит у входа в мою нору, а я, как скотина на бойне, равнодушно жду, когда меня схватит мясник, чтобы уничтожить. Прислушиваюсь к себе и пугаюсь этой обреченности. Иногда ловлю себя на том, что целый день не двигаюсь с места, как вбитый кол, а взгляд мой прикован к какому-нибудь предмету. И если спросить меня потом, что это за предмет, убей меня, не вспомню...

Живу на дне своей могилы, день за днем, год за годом, ни живой среди живых, ни мертвый среди мертвых. Падают листья, выпадают мои зубы. Вот так, толкну зуб языком, и он отлетает, как ножка подберезовика. Не знаю, встречается ли в медицине подобное, но со мной это происходит, и я ничем не могу себе помочь. Наверно, не хватает каких-то витаминов.

Отец ходил к местному зубному врачу, а тот посмеялся над ним:

— Ты, дед, скажи спасибо, что живой еще, а что зуб выпал — велика важность. И так у тебя для твоих лет много...

Сижу в своей могиле и собираю в горсти зубы, словно людоед, готовый сделать из них бусы... Это еще можно бы терпеть, но когда меня начинает терзать невралгия, я готов... покончить с собой. Эта мысль все чаще приходит ко мне. Да я и сам то и дело возвращаюсь к ней, чтобы привыкнуть, внушить себе, что единственное оставшееся мне — это смерть.

Отец, видно, заметил мое мрачное настроение. Пока я спал, он убрал все острые предметы, которыми я бы мог убить себя. Бедный, он все еще не может понять, что его сын жалкий трус. Чтобы поднять на себя руку, все-таки требуется мужество, сила... А у меня их нет. Нет их! Поднимаюсь и иду к лазу. Открываю крышку. Отец спит. Подхожу к иконостасу, где отец держит бритву. Беру ее и возвращаюсь в постель. Засучиваю рукав и зажмуриваюсь. Режу...

Лежу в кровати. Рука забинтована. Чувствую себя слабым, очень слабым. Темная тень отца дрожит на стене. Отец задумчив. Брови нахмурены, лоб наморщен, руки устало лежат на коленях... Мне стыдно на него смотреть. Кому я преподаю героизм, ему? Мало у него других забот, так сейчас еще и это...

Закрыв глаза, трудно попасть в цель. А я зажмурился, прежде чем полоснуть бритвой по вене. И все-таки потерял много крови...

Отец замечает, что я пришел в себя и смотрю на него, качает головой. Но в этом жесте нет ни угрозы, ни презрения. Только тихое примирение, глубокий укор.

— Этого я от тебя не ждал. Так умирают трусы...

Странная философия. Я думал, что буду трусом, если не сделаю этого.

— Только трусы спешат умереть,— говорит он.— Смелый нашел бы силы, чтобы жить. Всегда выживают сильные. Конечно, важно и то, как жить. У сытого жизнь разве жизнь? Пустое дело. Там нет ни страха, ни силы, ни смелости. А ты попробуй выстоять, когда время высыпает мешок с заботами и они все сваливаются на тебя. Вот это, я понимаю, героизм... Подумай, не больше ли у меня причин покончить с жизнью, чем у тебя, но я не делаю этого. Ты спросишь: почему? Потому, что я сделал тебя ремсистом, направил, как маленький ручеек, в нужную сторону. Значит, я отвечаю за тебя. Но подумай и о том, что я, помогавший партизанам, член партии с двадцатого года, сегодня прячу своего сына от моих и его товарищей. Смотрю им в глаза и так или иначе обманываю их... Обманываю, да, но потому, что знаю: ты не виноват. Ты, сын, оказался намного сильнее, чем я предполагал. Ты отомстил и за себя и за своих друзей, ты выдержал три года в этой дыре. Этого никто не смог бы сделать... и сейчас...

Голос отца дрожит и смолкает.

Смотрю на него и не узнаю. Он ли говорит мне все это?.. И только сейчас до меня доходит давнишняя мысль, что страдания делают человека философом.

Медленно прихожу в себя. Целый день мной владеет странное спокойствие. Это радует. Но стоит закрыть глаза, как налетают кошмарные воспоминания. В последнюю ночь моя больная память восстановила мою первую встречу со смертью. Это было в самом начале моего партизанского пути.

...Туманный и медленный рассвет. Нагруженные продуктами, я и мой товарищ спешим добраться до лагеря или хотя бы до густого лесочка, в котором он расположен.

Тяжелые рюкзаки мешают идти быстро. Но ведь ради них мы и прошли столько километров. Прежде чем войти в лес, надо пересечь широкое шоссе. Осматриваемся и, не заметив ничего подозрительного, бежим через белое полотно. Бросок и мы по ту сторону кювета. И вдруг страшный крик ворон раздается с соседнего дерева. Шумят крылья, и стая улетает. В тот же миг взгляд мой останавливается на чем-то темном у моих ног. Вглядываюсь и каменею. Человек! Убитый человек! Он лежит на

спине. Босой, в руках ботинки. Я знаю его... Парнишка работал в городе подмастерьем портного. Его родители живут в горном селе, за тремя поворотами дороги. К его пробитому пулями лбу прикреплена записка. Я нагнулся.

«Каждого, кто помогает партизанам, ждет такая смерть!»

Я протянул руку, чтобы взять записку, но тут взлетела и зажужжала крупная зеленая муха, и я отшатнулся. После этого случая я еще долго ходил, словно оглушенный. В ушах звучал крик ворон... Со временем он заглох, но сейчас снова возник в моем расстроенном сознании.

Просыпаюсь в холодном поту.

Здоровая рука дрожит от слабости и напряжения.

Прерываю записи на неопределенное время.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мельницу национализировали.

Попытка к самоубийству мне кажется далеким сном... Сейчас я пухну. Нажму пальцем на щеку, и остается ямка, а потом белое пятно. Коже медленно возвращается прежний цвет.

Разглядываю себя в зеркале. Невероятно, но морщины на лбу исчезли. Лицо стало гладким, но болезненно бледным. Губы провалились, подбородок выдался, заострился.

Я похож на одного моего односельчанина, пострадавшего от собственной жадности. Чтобы отвлечься от своих несчастий, я пытаюсь представить себе, как он выглядит: невысокий, с плоской грудью и широкими плечами. Когда-то он был красавцем, но вот раз он узнал, что в общинное управление привезли халву и будут давать ее по карточкам. Чтобы не упустить лакомый кусочек, он прибегает первым. Входит в коридор и видит железный бак, из которого высовываются жирные комья... Он хватает один и быстро запихивает в рот. В это время в коридор выходит секретарь и кричит ему:

— Плюй!

От страха он начинает плеваться, и это спасает его. В баке была не халва, а каустическая сода.

Когда он вернулся из больницы, у него не было ни одного зуба. Рот ввалился, как у черепахи, и весь он был какой-то помятый, постаревший.

Сейчас из зеркала словно смотрит на меня его физиономия... Долго ли я выдержу такую жизнь? Проходит лето пятого года моего затворничества. Плоды крестьянского труда наполняют амбары, и мельница работает во всю силу. Вблизи засыпки постоянный шум. В очаге пекутся пресные лепешки из новой муки, мужики ведут долгие разговоры — о фронте, о кооперативе: кто вступил и кто не захотел; сколько имел земли и как жил раньше; наживался на перце, а теперь не может свести концы с концами; почему сын одного уехал учиться, а у другого остался в коровнике. Говорят о какой-то черной доске, повешенной у сельсовета; о том, как дрожат у крестьян руки, когда они записываются в кооператив; о каком-то крестьянине, который от волнения забыл при этом свое имя...

— Может быть, он дурака валял? — подбрасывает кто-то.

— Как бы не так! — возражает другой.— Он от страха проглотил язык...

Жизнь, жизнь, такая близкая и такая далекая... Я завидую всем.

Поток крестьян схлынул... Он потечет вновь, когда зарядят осенние дожди. Но и без них я не скучаю. У меня целая армия друзей, с которыми я могу разговаривать, сколько хочу. Плохо лишь то, что они не отвечают мне, не оспаривают моих суждений. Что бы я ни сказал, они верят всему. Почему я не вспомнил о них раньше?..

Ставлю на стол стакан, насыпаю в него хлебных крошек. От стола к стакану бумажный мостик. Гашу лампу и жду. Зашелестела бумага, и я зажигаю лампу. В стакане бегает таракан. Черная спина блестит. Иногда он развивает такую скорость, что центробежная сила закидывает его на стенку, но лапки не держат его, и он падает на спину. Помогаю ему перевернуться, и он успокаивается. Сейчас я уже могу с ним разговаривать. Начинаю с банального: как живешь, что нового дома? Хорошо ли чувствуют себя дети?..

Насекомое шевелит длинными усами.

— Значит, хорошо,— говорю я.— Ну, что ж, тогда я расскажу тебе сказку. Хочешь?

Таракан кивает. И я начинаю.

Рассказываю ему о прекрасном уголке земли под голубым небом, о маленьком солнечнооком лютике,

расцветшем там, и о реке, которая пыталась унести цветок в другую страну, в еще более прекрасное место. А он отвечал реке: не хочу в другую страну, не хочу в другое место. Здесь мне лучше всего. И тогда, когда осенние дожди обезобразили поляну, где он рос, он не уставал твердить, что ему тут лучше всего...

— И скажи мне, усатый чернушка, почему так говорил лютик? Не знаешь? Тогда я скажу тебе. Потому, что лучше родного места нет ничего на свете. Понял? А сейчас иди, расскажи эту сказку своим маленьким таракашкам...

Опрокидываю стакан. Таракан падает на стол, одно мгновение не двигается, словно размышляя над сказкой, потом убегает.

И вновь я один... Лампа трещит, тени прыгают по стенам. Закрываю глаза. Сон приходит осторожно, на цыпочках. Наверно, боится моих кошмаров. На этот раз во сне ко мне является Меченый. Он открывает тюремную камеру и, смеясь, спрашивает:

— Этот — новичок?

— Этот,— отвечает надзиратель.

— Приведи его ко мне вниз.

— Слушаюсь!

Дверь закрывается, но на ней остается тень агента, изуродованная губа обнажает зубы и часть десны. Особенно врезаются в память крупные волосатые руки. Вот они, эти руки, уже протягиваются ко мне, и я понимаю, что нахожусь в его «приемной». Внизу... По стенам висят железные клещи, мешки с песком, хлысты, а в углу молчаливо ждет меня грубо отесанная палка. Меченый берет ее и расцветает в улыбке.

— Познакомьтесь!..

Гляжу на обожженную палку, и холодная дрожь проходит по спине.

— Читай!

Читаю про себя надпись. Она гласит: «Я все знаю!»

— Давай читай вслух!

— Не вижу, пододвинь ближе.

— Смотри-ка, за хитреца хочет сойти...

И, поплевав на ладони, начинает меня бить. Если упаду, только бы не на спину, а на живот. И, падая, просыпаюсь... Под руками пол и рогожа. На мне одеяло. С трудом

встаю. Присаживаюсь на кровать, но лечь боюсь. Мне кажется, что Меченый стоит в темном углу землянки и ждет, когда я закрою глаза. Прибавляю огня в лампе, чтобы отогнать видение. Беру книгу и заставляю себя читать. Но как я ни стремлюсь забыть только что виденный кошмар, ничего не получается. Мурашки не перестают ползать по спине. Хочу услышать свой голос. Я вновь устраиваю стакан с бумажным мостиком, но боюсь погасить лампу. Закрываю свет газетой так, чтобы западня для таракана оказалась в тени, и жду. Бумага шелестит, и я быстро убираю газету. На этот раз в стакане два таракана. Они замерли, удивленные, голова к голове, перекрестив усы.

— Здравствуйте, приятели! — Голос мой звучит неуверенно.

Тараканы вздрогнули и засуетились. Вскоре они успокаиваются, вновь скрещивают усы, как бы обмениваясь впечатлениями, и бегут к стенке. Один встал, изображая лестницу, другой начал карабкаться по нему, потом по гладкой стенке стакана, но тщетно. Тогда они меняются ролями. И снова провал. Их товарищеская взаимопомощь наконец отвлекает меня от моего кошмарного сна. И я начинаю говорить. Слышу свой голос, но мне кажется, что говорит кто-то другой,— слова не доходят до моего сознания. Наконец я улавливаю их смысл и понимаю, что рассказываю сказку о дружбе...

— ...Их было много, братьев, и когда они шли через горы, стихали листья в лесу, луна выходила из-за облака, чтобы взглянуть на них, звезды садились им на шапки, чтобы осветить дорогу. Однажды самая маленькая звездочка проспала, опоздала вовремя сесть на шапку младшему из братьев, и он заблудился. Его захватили враги и заперли в холодную темницу. Маленький пленник видел лоскуток голубого неба через окошечко под самым потолком и тихо вздыхал по далекому лесу, чистым ручейкам и мягкой буковой листве. Вспоминал блеск ружей своих братьев, слышал во сне их голоса и не мог простить звездочке, что она проспала и не осветила ему дорогу...

А каково было маленькой звездочке! Сестры не хотели разговаривать с ней. Тогда она пошла одна-одинешенька искать младшего братца. Обошла все темницы, наконец заглянула в одно маленькое окошечко и увидела узника. Он сидел со связанными руками и опущенной на грудь

головой... Обрадовалась звездочка и стремглав полетела к братьям. Они сидели у высокого костра и грели озябшие руки.

— Я нашла его! — сказала она.

— Хорошо. Но как ему помочь? — задумались братья.

— Пусть каждый из вас даст мне по два волоса со своей головы и по одному — из усов, я сплету крепкую веревку, спущу ее в окошко и приведу его к вам живым и здоровым.

— Из таких тонких волос? Едва ли что-нибудь получится!..

— Получится! — ответила звездочка.— Получится, лишь бы они были даны от сердца...

...Я замолкаю. Где я читал эту сказку? Роюсь в памяти. Мысленно перелистываю книгу за книгой, прочитанные когда-то, и вдруг во мне оживает далекое воспоминание: я лежу в камере, распростертый на полу, кровь стекает с разбитой губы, голова откинута так, что я вижу лишь маленькое окошко под потолком, а в затуманенном сознании блуждает странная мечта о какой-то волшебной веревке, по которой я смог бы подняться наверх... И конец этой веревки держит звездочка.

Закрыв руками лицо, опускаю голову на стол. Так и засыпаю, и сон мой впервые за все это время был спокоен. Когда я просыпаюсь, взгляд мой падает на стакан с тараканами, и я спешу извиниться перед ними за то, что я про них забыл. Они смотрят на меня и не спешат убегать... Они сыты.

Сон освежил меня, и я склонен к сентиментальности. Оглядываю кипу книг на столике и вытаскиваю снизу томик стихов Пенчо Славейкова. «Неразлучные» настраивают меня лирически, «Цыгане» — романтически, но «Чумные» вдруг спускают меня на землю. Жаль, что я прочел эту балладу. Вставший из могилы брат, пахнущий землей, испортил мне настроение. Я пытаюсь вызвать своих приятелей, чтоб они разогнали мои мрачные мысли. Хочу рассказать им сказку о любви, о девушке, которая сажает на ладонь божьих коровок и по их полету гадает, где ее возлюбленный, но все напрасно. Апатия снова завладела мной. И я смотрю на пустой стакан невидящими глазами...

Запушилась белым снегом зима. Вода в запруде замерзла, и мельница остановилась. Большую часть времени я теперь провожу наверху, в кухне. Я постепенно крепну, равнодушие к жизни отступает перед ожиданием чего-то нового. Одно то, что в любую минуту могут постучать, держит меня в напряжении. Я жив и понимаю, что живу.

И вот кто-то стучится в дверь... Отец молчит, молчу и я. От меня требуется сейчас одно — спрятаться. Темная пасть лаза проглатывает меня. Отец продолжает сидеть, словно не слыша стука. Те, снаружи, не отстают, стучат и стучат... Взвивается песня, знакомая колядка.

— Открой, не видишь, вот-вот вылетит дверь!

Отец открывает. На мельницу врываются детские голоса.

— Ты спал? Извини, что разбудили...— говорит кто-то.

По голосу определяю его возраст — это взрослый. Слышу, дети строятся, и раздаются новые колядки. Голоса тонкие, простуженные, дрожат, звенят, как колокольчики.

Старик замотался со мной и, потеряв представление о времени, пропустил приход рождества. Да и до праздников ли ему? Но ничего не поделаешь, если дети пришли поздравить его в такую даль. Представляю, как он суетится, как ищет, что бы им подарить, вытаскивает узелок и дает им по мелкой монете. Но ребятишки довольны и этим и снова поют. Голоса их наполняют мою душу воспоминаниями детства. Мама, пестрый мешочек, ночь без сна, ожидание первых песен... И собранные орехи и монетки. Кто сколько набрал денег? И что можно купить на них? И над всем этим тихая улыбка мамы. Она — небо моего детства. Что бы я ни стал вспоминать, я вижу ее глаза, ее улыбку или ее добрую ладонь. В воспоминаниях все это существует по отдельности и в то же время вместе.

Слышу, дети уселись у печки и весело щебечут. Это самый длинный путь, который они прошли в это зимнее утро, и потому их возбуждение еще не улеглось.

— Когда я им сказал, что пойдем на мельницу к деду Ставри, они уже не отстали от меня. Пошли да пошли,— слышу голос взрослого.

Звенит посуда. Наверно, отец ставит кофейник на печку, подогревает сливовицу с сахаром, и в голосе его я улавливаю нарочитую приподнятость и в то же время смущение.

— Ребятишки как воробьи. Дай им только перелетать с крыши на крышу... Мы — другое дело. Мы, старики, должны еще долго раскачиваться, чтобы сдвинуться с места. И подумать: стоит ли...

Наступает пауза, и я жду, что отец кашлянет и скажет: «Ну, на здоровье». И не ошибаюсь. Он начинает долгое благословение, полное пожеланий изобилия, доброго здоровья.

Старший, что привел ребят, пьет молча. И, выставив детей на улицу и велев им подождать его, говорит:

— Одни мы остались, приятель, одни... Словно кукушки. Умрем, и некому нам будет глаза закрыть. Такая, видно, судьба. Нет моего Митё, нет и твоего Костадина... Закружило их время, бросило твоего на чужбину, моего — в могилу.

Вдруг страшная догадка огнем обожгла меня. Отец Митё! Я приник к крышке лаза.

— Сердился я на тебя, нет, ненавидел... Ненавидел весь ваш род из-за твоего Костадина. Думал, ну ладно, сдался полиции, выдал своих, но почему он именно на моего Митё указал? Правда, дома его не застали... Убили в кукурузе, но ведь он же указал им место, где скрывался Митё. Он...

Холодный пот окатил мой лоб. Я хотел было спуститься вниз, но раздумал: что же дальше?

— Месяц тому назад гостил у меня Радан Трындев. Большой человек теперь, работает в Софии. Насколько я знаю, он был командиром у твоего сына... Слово за слово, зашел разговор о моем Митё... и о моей ненависти и тоске... Напрасно, говорит, ты сердишься на него — на тебя, значит,— и ему нелегко. Хочу, говорит, чтоб ты знал: Костадин не виноват в смерти Митё. Говорит, недавно рылся в архивах времен Сопротивления в нашем крае и нашел протокол о том, что отпускается пятьдесят тысяч левов предателю, какому-то Делё из Бягова. Он увидел Митё в поле и выдал его. Обо всем там написано. Черным по белому... Сейчас, говорит, я уезжаю в Советский Союз. Вернусь в апреле. Приеду тогда в село, повидаюсь с дедом Ставри. А вы к тому времени помиритесь, оба одинокие, нечего вам друг на друга коситься...

Что он еще сказал, я не понял. В ушах у меня зашумело, зазвенело. Уперся обеими руками, чтобы не упасть, и хватаю ртом воздух. Сердцу стало тесно в груди, так сильно оно забилось. Вот ведь как — не виноват я в его смерти, не виноват. Я испугался, как бы от радости не потерять рассудок, не сломать крышку лаза и не выскочить наружу. Сел на узкие ступени, а сердце стучит и стучит, и удары его отдаются во всем теле. Надо же было случиться этому, да еще на рождество, в ночь под рождество. Я атеист, но рука моя сама поднялась, чтобы перекреститься...

Ушел гость, я открыл крышку, и головы — моя и отца — едва не столкнулись.

— Слышал? — крикнул отец.

— Слышал,— едва проговорил я и заплакал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Надежда — моя гостья. Я не расстаюсь с ней. Медленно, слово за словом, вспоминаю показания и признания, вырванные у меня в полиции. Помню, что указал одну явку между Беговскими и Оповскими землями. Но эта явка была в паршивом лесочке около сухого вяза. О другой я ничего не сказал. О Митё я знал только, что он в армии. Когда и как он сбежал оттуда, чтобы стать партизаном, я тоже не знал. Я даже имени его не упоминал. Он пришел в эти места, когда мои товарищи уже не пользовались здешними явками. Встревоженные моей «добровольной» сдачей, они поспешили уйти в горы.

Но, может быть, я все-таки виноват в его смерти? Этот вопрос омрачает мою радость. Я мечусь, полный сомнений. И ступенька за ступенькой дохожу до тупика. Разговор между стариками — не уловка ли это? Может, отец Митё догадывается, где я хоронюсь, и хочет узнать правду? Или Радан сказал все это только для того, чтобы помирить двух одиноких стариков?

Я запутался в своих сомнениях. И беспомощно опускаю голову. Выход из подземелья снова кажется далеким, как бесконечный туннель, где дневной свет мерцает впереди манящей точкой величиной с булавочную головку. И снова оживает ревматизм, и невралгическая боль в оставшихся зубах, и я опять сваливаюсь. Не узнаю себя...

Начинаю считать на пальцах дни, и мне хочется плакать. Я с трудом успокаиваюсь...

Столько ждал, подожду еще...

Но вот снова приходит надежда. Что бы я ни делал, чувствую ее присутствие. Она волнует сердце, делает светлыми мои сны. Пока ее не было, я жил как крот, считающий слепоту своим естественным состоянием, но теперь, когда она постучалась мне в сердце, я сгораю от нетерпения. Считаю дни. Каждый отмечаю колышком, вбитым в стену над столом. Это вехи на пути к свободе. Я мог бы отмечать их карандашом в тетрадке, но мне кажется, что это не так наглядно. Их я могу не только видеть, но и трогать руками, радоваться, на них глядя.

Едва проснувшись, я забиваю колышек. Ряд прожитых дней становится все длиннее. Они выстраиваются, как солдаты. Отец часто застает меня за тем, что я заостряю вербовые палочки, садится ко мне на край кровати и начинает помогать. Это наши посиделки. Понятно, без песен, без девушек, но с нами самая красивая девушка на земле — Надежда, — и мы не унываем.

— Вернется ли Радан?

— Вернется,— уверяет отец.

Его поседевшие виски белеют в полусвете землянки. Он заостряет вербовые веточки медленно, сосредоточенно. И вдруг, подняв глаза, говорит:

— Все собираюсь попросить у тебя прощения и не смею...

— За что, отец?

— Эх, да за те слова... Помнишь? Чтобы ты бежал за границу.

— Не помню.

— Помнишь, сынок, помнишь... Я видел, что ты записал это в тетрадке.

— Даже если это так, ты же не хотел для меня дурного.

— Это правда.

Отец смотрит на меня долго, сосредоточенно, словно видит впервые.

— Если я выдержу и это, то еще поживу...— говорит он, словно читая мои мысли.

Столько пережил я за эти годы, столько времени смерть шла по моим следам, но никогда мои нервы не

были так напряжены, как сейчас. Я привык к добровольному отшельничеству, но теперь, когда надежда пришла в мое подземелье, я начал бояться за себя. Все чаще я подхожу к зеркалу, смотрю на свое одутловатое лицо, поредевшие волосы. Жажда жизни заставляет меня не только больше есть, но и вспомнить о гимнастике. Я готовлю себя к свету, к солнцу, к небесной синеве. Воображаю, как иду по зеленой весенней равнине. Белые монеты ромашек целуют мои ладони, запах переспелого клевера волнами плывет за мной, соловьи в ветвях ракиты насвистывают свои песни...

Говорят, мечтатели живут дольше. Что ж, это, пожалуй, правильно. Если бы у меня не было мечты, я давно бы погиб, побежденный одиночеством. Мечта меня вела всюду. Сейчас, в мечтах, я путешествую с закрытыми глазами. Обхожу далекие партизанские тропы, гуляю под звездами Кремля, разговариваю с Раданом.

— Скоро ли ты вернешься?

— Скоро,— отвечает он и, стиснув мою ладонь, добавляет: — Постарел ты от тревог...

— Хорошо еще, что жив!..

Провожу рукой по лицу, прогоняя это прекрасное видение. Боюсь обмануться. А вдруг мечта останется только мечтой, надежды — пустым сном? У меня не хватит сил пережить разочарование. И тогда уж я покончу с собой. Нет, лучше не дразнить надежды, не тешиться мечтой...

На маминой могиле подснежники снова качают белыми колокольчиками. В их белизне я ищу для себя знамение. Мне кажется, что их никогда не было так много и никогда они не цвели так ярко. В эту ночь мне снилось, что один из них долго звенел над моей кроватью.

К добру ли это?..

Открываю глаза и тянусь к лампе, прибавляю фитиль. Язычок пламени вздрагивает, разгорается, красноватый свет скользит по стенам подземелья. Темнота уползает в углы, затаивается, готовая в любой миг снова захлестнуть столик, книги, меня. Голова падает на подушку, и глаза обшаривают потолок. Темное мокрое пятно заметно расширилось. В центре его висит капля. Она медленно набухает, блестит в свете лампы и вот падает, со звоном ударяясь о печку. Этот звук напоминает мне звон

подснежника из моего сна. Прежде падающие одна за другой капли растревожили бы меня, но сейчас — нет. Они напоминают мне, что время летит, зима поет последнюю песню, а ветер с Адриатики, скитаясь по земле, уже настраивает весенний перезвон сосулек.

И я закрываю глаза, чтобы снова поговорить с Раданом.

— Скоро ты вернешься?

— Скоро,— отвечает он.

Странное существо человек. Однажды что-нибудь внушит себе — колом из головы не выбить. Сижу ли, сплю ли, во мне живет чувство, будто я лечу, лечу, как птица, со свистом рассекая ветер. А иногда просто так: раскину руки, махну ими и лечу. Вижу под собой партизанские горы, блестящие на солнце речушки, поляны в весенних цветах, развевающиеся по ветру девичьи косы. И все это неудержимо мчится куда-то. Молодость к молодости, цветы — к цветам, бабочки — к бабочкам. Любовь — к любви. И я начинаю припоминать полузабытые девичьи взгляды, робкие или настойчивые, ищущие или отталкивающие. Мои безмолвные усатые друзья в стеклянном дворце слушают теперь сказки только о любви. Я готов целыми днями расспрашивать отца о моих сверстницах, о путях, избранных ими, об их жизненных удачах и неудачах. Стоит мне вспомнить ласковое слово будто и забытой уже девушки, сказанное когда-то, и она подходит ко мне близко-близко, добрая и наивная, как полевой цветок. И только Мария приходит в мои сны как женщина. Такой, какой я ее запомнил в первый наш вечер. Реальность пережитого делает ненужной мечту. Все так же шумит вода у плотины. Грудной голос Марии слышится в вечерней тишине, а слова ее текут, текут... Я чувствую ее руку на моем плече. Вижу, как она приглаживает свои волосы. После такого сна мне как-то неловко, стыдно взглянуть на отца. Словно он знает все... Иногда мне хочется спросить о ней, но слова умирают раньше, чем сорвутся с языка.

Вот и сейчас я сгораю от нетерпения, но смелости спросить о Марии не хватает. Отец только что вернулся из села. С тех пор, как мы ждем Радана, и дня не проходит, чтобы отец не заглянул в корчму узнать новости. Слух о том, что я не виновен, уже гуляет по невидимым

дорогам любопытства. По этому поводу отец даже выпил со своими закадычными друзьями.

— Значит, говорят?

— Говорят! — отвечает отец.— Дине Кривой рассказывает, что от партийного секретаря слышал о тебе.

— А кто этот Кривой?

— Дине Бяговски... В сельмаге работает.

— Но когда он окривел?

— А ты разве не знаешь? — смеется отец. — Во время твоей отлучки он овдовел и взял да и женился на Марии. Ладно, но она, ты же знаешь какая, стала встречаться со счетоводом из кооператива. И где? В подвале корчмы. И ты знаешь, какую злую шутку черт сыграл?.. Однажды сучок возьми да и выскочи из половицы как раз в тот момент, когда в подвале была Мария со счетоводом. Дине случайно их увидел. Вечером за ужином, не говоря ни слова, он влепил Марии такую оплеуху, что она прямо-таки обалдела. Но не успел он замахнуться второй раз, она схватила вилку и нечаянно выколола ему глаз. Как ни старались врачи, глаз спасти не сумели. Вернулся Дине из больницы и тотчас выгнал Марию. Советовали ему судиться с ней, но он не захотел марать руки... А она? Будто ничего и не случилось, гуляет по-прежнему...

Не знаю почему, но рассказ отца заставил меня почувствовать себя еще более неловко.

Отодвигаюсь в тень и закрываю глаза, чтобы проделать свою обычную прогулку с Раданом.

— Долго ли мне ждать тебя?

— Уже совсем недолго...

Радан приехал в село. Отец не дождался, когда он придет на мельницу, сам пошел искать его. Вернулся через час, довольный, если не сказать — окрыленный. Я не виноват в смерти Митё! Поначалу считали, что это я его выдал, но в конце концов выяснилось, что Митё не знал явок. Люди, которые могли бы связать его с партизанами, к этому времени — после моего ареста — сами ушли в горы. И Митё скитался по кукурузным полям в надежде напасть на след партизан, связаться с ними, но его заметил хозяин поля и выдал.

«Убийство Митё совпало с арестом Костадина, с его показаниями на допросах, и поэтому, поторопившись, мы

осудили его на смерть. Не сбеги он за границу, все дело пересмотрели бы, и он уже был бы с нами...»

Эти слова отец запомнил дословно.

— «Арестом» он сказал или «добровольной сдачей»?

— Арестом!

— Ты уверен?

— Уверен...

Это «уверен» отец произнес как-то нетвердо, чем сильно смутил меня... Но ничего. Пути назад нет. Первого мая я должен выйти из подземелья...

Закрываю свою тетрадь. Сегодня первое мая тысяча девятьсот пятидесятого года. Шесть лет тому назад в подземелье вошел молодой человек с чуть тронутым сединой чубом, а сейчас выходит старик с побелевшей головой, с раздутыми от ревматизма суставами, весь пропахший землей и с лицом цвета земли, беззубый и полуслепой. Он был рабом страха и потому потерял здоровье, но вера его в торжество правды сохранилась.

Я опускаю руки и направляюсь к выходу...

Я иду к солнцу...

1953 г. — с. Дебыр
1966 г. — Хисар

СОДЕРЖАНИЕ

Георгий Караславов. Танго. *Перевод М. Михелевич* 7

Эмилиян Станев. Тихим вечером. *Перевод М. Михелевич* 103

Камен Калчев. В грузовике. *Перевод Л. Баша* 139

Йордан Радичков. Бурка. *Перевод Н. Глен* 163

Добри Жотев. Коммунист. *Перевод М. Михелевич* 179

Веселин Андреев. Одна ночь, один день. *Перевод Н. Глен* 185

Эмил Манов. Веточка миндаля. *Перевод К. Бучинской* 203

Слав Хр. Караславов. В обнимку со смертью. *Перевод А. Блинова* 219

Р24 Рассказы о подвиге. Повести и рассказы. Пер. с болг. М., «Худож. лит.», 1976

271 с. (Б-ка Победы)

Произведения современных болгарских писателей — Г. Караславова, Э. Станева и других — посвящены периоду Сопротивления болгарского народа против фашизма. Писатели создают героические образы борцов-антифашистов, не теряющих достоинства и мужества даже в самых трагических ситуациях — под арестом, в тюрьме перед казнью; рассказывают о простых людях, становящихся участниками борьбы.

Р $\frac{70304-064}{028(01)-76}$ 165-76 И(Болг)

РАССКАЗЫ О ПОДВИГЕ

Редактор Н. Глен

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Титова

Корректор Н. Усольцева

Сдано в набор 28 VII 1975 г. Подписано в печать 5 II 1976 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. 8,5 печ. л. 14,28 усл. печ. л. 13,926 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 135. Цена 1 р. 14 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26